

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

Корректурa: Л. Н. Подистова

1/2018

Содержание

ПРОЗА

- Юрий КОЗЛОВ. Белая буква.** Повесть. 3
Михаил ТАРКОВСКИЙ. Что скажет солнышко? Повесть. 99

ПОЭЗИЯ

- Анна ПАВЛОВСКАЯ. Неоткрытый космос.** Стихи. 94
Инна ДОМРАЧЕВА. «Копилась в воздухе вода...» Стихи. 134
Серафима САПРЫКИНА. Нестрашный пока еще суд. Стихи. 137
Ирина КУРТМАЗОВА. «Вот покидают город птицы...» Стихи. 141

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Владимир АЛЕКСЕЕВ. Слово о книгах, нарицаемых «редкие»,
и о судьбе их в стольном граде Новосибирске.
К 50-летию Отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН.** 144
Михаил СПИВАК. Кристально чистый коммунизм. 164

Народные мемуары

- Константин ГАПОНЕНКО. Праздник.
Из жизни советской школы.** 168

Из почты «Сибирских огней»

- Татьяна ГРУНЭ. Оптимистическая трагедия.** 183

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Тамара ДРАНИЦА. Заметки об экзистенциальном реализме
Александра Москвитина.** 188

- Авторы номера** 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Шуклин.

Юрий КОЗЛОВ

БЕЛАЯ БУКВА

П о в е с т ь

1.

О литературном русском языке размышлял, сидя поздним вечером в кафе на двадцатом этаже гостиницы «Лида», приехавший в Белоруссию на международную научно-практическую конференцию писатель Василий Объемов. Современному состоянию русского языка, еще недавно подобно парниковой пленке покрывавшего необозримые просторы СССР, и была посвящена конференция. После ликвидации парника пленка расплзлась по разделенному пространству лохмотьями. Из-под них воинственно вылезали острия, лезвия и пики других языков. Уже клубился над некогда ответственно сберегаемой общей речевой почвой отвратительный туман разно-, а в конечном итоге *безъязычия*, прорывались сквозь мутные клочья три отчетливых звука: грозное рычание, тупое мычание и трусливое блянье. То были три источника, три составные части доречевого и, получалось, постречевого самовыражения человеческих особей.

Объемова удручало то, что «великий и могучий» ветшал и грязнился, как истоптанный коврик, даже там, где у него, казалось, не было для этого причин, а именно в самой России, пока еще не отказавшейся от родного языка. И здесь его, как кроткую домохозяйку в темном подъезде, настигали языки-мигранты. Хищный гортанный клекот летел из дворов, со строек, из супермаркетов, поликлиник, общественного транспорта, не говоря об автосалонах, банках, кофе-хаусах и судебных присутствиях. Русский язык стелился под ним, как заяц под крестовой орлиной тенью, не обогащался тюркско-кавказско-таджикскими заимствованиями, а, напротив, обдирался как липка, как тот самый заяц, когда беркут вонзает в него кривые желтые когти.

Но не только мигранты, гастарбайтеры и трусливые природные носители уродовали великий и могучий. Его накрывала, душила, держала за жабры, если уподобить язык сказочной золотой рыбке, презревшая орфографию и грамматику Сеть. Косяки пользователей плотно застре-вали в виртуальных ячеях уже цифровой разновидности без-, а точнее,



извращенноязычия. Там тоже рычали тролли; мычали, тупо разглядывая бесконечные водопады фотографий, фейсбучные стада; испуганно блеял, чуя надвигающуюся беду, офисный планктон.

Компьютерная цифра черной змеей жалила белую лебедь книжной буквы. Лебедь-буква рвалась в синее пушкинское небо, но не было неба в Сети, потому что Сеть сама определила себя небом. Даже в терминологии — «облака тегов», «облачный сервис», «облачный хостинг» — Сеть вызывающе и нагло копировала небо, совсем как (если верить священным книгам) грядущий Антихрист — Спасителя.

Языки как люди, задумчиво смотрел в темное осеннее, напоминающее экран выключенного компьютера окно писатель Василий Объемов. Когда человек (народ) полон сил и надежд, его речь расцветает, как весенний луг. На этот луг приходят священные коровы смыслов. Вот только где (мысль, как дурной солдатик на плацу, вдруг сбилась с ноги) скрываются эти самые смыслы, неужели... в вымени? Когда человек (народ) устает, изнашивается, вернул мысль в строй Объемов, язык сохнет и колетя, как сорняк. Священные коровы уходят с такого луга, пометив его навозными лепешками и брезгливо поджав вымя.

С этого, решил он, я и начну свое выступление. Кажется, Горький, посмотрел в темное окно писатель Василий Объемов, полагал мериллом цивилизации отношение к женщине. А вот мериллом адекватности государства — мысленно он уже стоял на трибуне, строго и в то же время доброжелательно (он был опытным лектором) вглядываясь в лица слушателей, — следует считать отношение власти к народу и языку.

Перед Объемовым привычно обозначился неуничтожимый (и *неупиваемый*, если вспомнить дружеские посиделки после круглых столов, заседаний и обсуждений, посвященных судьбе России) дискуссионный круг. С середины восьмидесятых, то есть уже большую часть жизни, он бегал по нему как цирковая лошадь. Когда-то — задорно вскидывая гривастую в султанах голову, сейчас — еле таская сбитые копыта.

Нечто тревожно-мистическое наличествовало в четвертьвековом (с момента распада СССР) дискурсе о судьбе России. За столько-то лет можно было бы прийти к чему-то конкретному. Своей (в смысле определения приемлемого сценария) обреченностью он напоминал дискурс о неотвратимости конца света.

Как будто некие просветленные, но грустные исследователи наблюдали за развитием диковинного мутанта. В силу очевидного атавистического вырождения (а как еще характеризовать первоначальный, беспощадный к «малым сим», то есть к народу, капитализм?) и дьявольского уродства мутант, казалось, не имел шансов выжить. Но злобная тварь не просто выжила, а сама стала жизнью, присосалась к *природным и трудовым* (определение другого писателя — Глеба Успенского) богатствам тысячелетней России, выплюнув, как обглоданную кость, народ на голый берег. Более того, тварь эта словно остановила само время, превратила его в клейкий — из костей народа — студень, слегка присыпанный кристал-

лами образованного сословия — *солью земли русской*. И жрала, жрала этот студень, не ведая насыщения, стыда и страха.

«Бытие определяет сознание, а деньги определяют бытие» — по такой формуле существовала страна. Однако беда была в том, что у лишенного природных и трудовых богатств народа отсутствовали деньги, а потому не они, а ненависть к тем, кто их у него отнял, определяла бытие народа. Встречную ненависть — мошенника к лоху, который почему-то не уходит, а топчется рядом, смотрит собачьим каким-то, ожидающим чего-то взглядом, — испытывали к обобранному народу и новоявленные владельцы богатств. Но если они твердо определяли жизнь как деньги и как могли (в основном уродливо и истерично) наслаждались ею, то народ все еще не был готов окончательно смириться с тем, что его, народа, жизнь — это безденежное ничто в мире, где за все надо платить. Бытие, сознание и деньги в России, таким образом, определялись ненавистью.

Правда, народная ненависть вынужденно охлаждалась, разбавлялась насущной необходимостью выживать, длить безденежное ничто. Кажущаяся пассивность, социальная обезволенность народа принималась властью за неисчерпаемую покорность. «Неужели и это стерпишь?» — изумлялась власть, вводя «санитарный» (на пользование унитазом) или «тротуарный» (на износ под ногами пешеходов уличной плитки) налог. «Стерплю!» — бодро, как солдат Швейк садисту-врачу на медкомиссии, отвечал народ.

Никто не знал, когда из куколки народного смирения выпростается огненная бабочка революции. Да и выпростается ли? Вдруг куколка не возвратно окаменела? Вдруг уже растворилась в клейком студне?

Марксистская историческая наука основывалась на поступательном в плане общественного и экономического прогресса движении цивилизации — от первобытнообщинного строя к рабовладению, феодализму, капитализму, социализму и, наконец, к коммунизму как к пределу мечтаний человечества. Как должно вести себя общество, двинувшееся в обратном направлении — из социализма в капитализм, марксистская историческая наука не знала. Как раб, вдруг оказавшийся среди неандертальцев в племенной пещере? Или как клерк, узнавший, что отныне он собственность директора конторы и тот может безнаказанно убить его, допустим, за опоздание на работу?

Какой, к черту, народ, какой литературный язык, расстроился Объемов, зачем я приехал на эту конференцию? Разве только, посмотрел по сторонам, узнать, как тут у них, в *предполье* Европы (термин еще одного писателя — создателя теории этногенеза Льва Гумилева), обстоят дела с народом, языком, деньгами и... революцией?

Объемов был единственным посетителем кафе, где ему был заказан устроителями конференции ужин. В данный момент он ожидал, что принесет из неосвященных кухонных глубин шустрая черноволосая, южнославянского обличья буфетчица. Она успела сообщить, что на се-

годня был заказан еще и обед, но он его пропустил, поэтому, если он проголодался, ужин может быть *усилен* (она так и сказала). Прислушавшись к звяканью тарелок и гудению СВЧ-печи — буфетчица почему-то орудовала в кухне не включая света, — Объемов прикидывал, возможно ли усилить ужин двумя-тремя рюмками водки — хорошо бы в счет пропущенного обеда, а если нет, примет ли буфетчица российские деньги?

Дело в том, что писатель Объемов приехал на конференцию в Лиду своим ходом — на машине из соседней с Белоруссией деревни в Псковской области. Там он жил летом в оставшемся от родителей, неровно обложенном белым кирпичом бревенчатом доме. От деревни до границы с Белоруссией было двадцать семь километров.

Дом требовал ремонта, но Объемов тянул, не зная, нужен ли ему вообще этот дом — с дощатым, продуваемым ветром сортиром во дворе, маловодным колодцем в крапивных зарослях, полуразвалившейся русской печью, непросыхающим, чавкающим глиной погребом. Каждый раз, вылезая из пасти погреба, Объемов выносил на галошах (только в них или в сапогах можно было там перемещаться) по килограмму рыжей глины на каждой ноге. В эти мгновения ему вспоминались знаменитые слова отказавшегося эмигрировать и вскоре отправленного на гильотину деятеля Великой французской революции Дантона: «Нельзя унести Отечество на подошвах своих сапог!» Можно, мрачно возражал французскому революционеру русский писатель Василий Объемов, еще как можно. И ведь сколько еще Отечества останется в погребе! На миллион сапог, не меньше.

На участке, помимо дома, имелась древняя покосившаяся баня (издали она напоминала черный параллелограмм) под серо-зеленым от наростшего мха и нападавших веток и елочных иголок шифером. Словно в надвинутой на лоб косматой папахе, угрюмо высилась она на пригорке. Самое удивительное, что баня до сих пор исправно функционировала, и Объемов иногда парился в ней, предварительно натаскав ведрами в бак над печью дождевой воды.

Другие участники конференции должны были сначала прибыть в Минск, а уже оттуда на автобусе переместиться в Лиду. Объемову показалось как-то не с руки нестись из деревни в Москву, вместе с другими членами российской делегации выдвигаться в Минск, а после снова возвращаться в Москву, а из Москвы — в деревню. Он рассудил, что приехать из деревни — проще. Эта простота сказывалась и на внешнем виде Объемова. Он не держал в деревенском доме приличествующей международной конференции одежды. А потому выглядел сейчас как писатель, не только победительно (или пораженчески, большой разницы тут не было) переживающий нищету, но еще и стилистически застрявший в конце девяностых годов, когда простые граждане России ходили в необъятных, как свалившаяся на них свобода, штанах, тусклых футболках и куртках с покатыми плечами. Гадкая и совершенно неуместная надпись «Sexy boy» украшала футболку Объемова. Он прикрывал ее полой курт-

ки, как если бы скрывал во внутреннем кармане пистолет. Буфетчицу, впрочем, это мало беспокоило. Должно быть, в гостиничный буфет заглядывали разные посетители.

Объемов не любил суеты, полагал естественным состоянием для писателя одиночество. Вынужденные — под чужую дудку — путешествия нарушали гармонию пусть убогого, но привычного и устоявшегося бытия. Добровольные, напротив, скрашивали и разнообразили прижизненное (и, вероятно, пожизненное) ничтожество и одиночество — удел большинства русских писателей в первой половине XXI века. Словно сам Господь Бог переворачивал для успокоившегося в ничтожестве, обретшего в нем самодостаточность путешественника страницы огромной, с картинками, живой книги. Чужая дудка стесняла и раздражала. Своя (Боже-ственная?) навевала иллюзию, что мир не так уж и безнадежен, что еще не все потеряно, есть порох в пороховницах и песня до конца не пропета. Собственно, это и было истинной и, по мнению великого реформатора Мартина Лютера, правильной верой в Бога, потому что больше человеку не во что было верить в его стремительно пролетающей жизни.

Объемов с удовольствием и без спешки (потому и не успел на обед, о котором, впрочем, не подозревал) проехал через всю Белоруссию, глядя на желтеющие осенние леса, ухоженные городки и поселки, пробивающееся сквозь облака, как сквозь тонкое рваное ватное одеяло, слабеющее солнце.

Он слышал, что у России и Белоруссии какое-то союзное государство. Однако могуче оборудованная — в терминалах, развязках, пунктах досмотра и смотровых вышках, не хватало только собак и колючей проволоки — граница невольно наводила на мысль об *исчисленных сроках* этого государства. Пока что машины свободно сновали в обе стороны, а камуфляжные и фуражечные люди по обе стороны границы занимались какими-то своими делами. Никто не проявил ни малейшего интереса к семилетнему объемовскому «доджу-калиберу», не потребовал предъявить паспорт или приобретенную за семьсот пятьдесят рублей в одной из многочисленных приграничных будок автомобильную страховку.

Объемов сверял маршрут с картой, уточнял путь у знающих людей на заправках, думал, как и положено в путешествии, о чем-то не сильно серьезном и необязательном. Даже внезапный вечерний, простучавший по крыше машины ледяными пальцами град на подъезде к Лиде не смутил Объемова, не смазал благостную *карту будня*. Он легко отыскал гостиницу — она находилась в центре города на берегу озера, напротив тщательно отреставрированной, как будто вчера возведенной краснокирпичной крепости с башнями, — поставил машину на платную охраняемую стоянку, отметился на ресепшен, отнес сумку с вещами и книгами в незамысловатый, как честная жизнь, номер.

После чего отправился ужинать в кафе на двадцатый этаж, где его поджидала приветливая буфетчица в вязаной кофте и обтягиваю-



щих (не по возрасту!) коротких черных брючках. У нее был выпирающий утюжком живот, которым она, хлопоча вокруг стола, несколько раз как бы невзначай натыкалась на Объемова. Это его не то чтобы смутило, но слегка озадачило. Он и в мыслях не держал разгладиться под этим утюжком. Ладно, выпьем водки, рассудил Объемов, а там видно будет.

Он давно заметил, что зрелые, как они классифицируются в неисчерпаемых, как вещь в себе, порноглубинах Интернета, женщины (а буфетчице, точно, было за пятьдесят) часто становятся странно и, на первый взгляд, немотивированно экзальтированы даже в абсолютно ничего не обещающем, бытовом, можно сказать внеполовом, присутствии мужчин. На суровом и зачастую тоже внеполовом склоне лет женщины за пятьдесят фантазируют и мечтают, как девочки, только взбирающиеся на сияющую вершину этого опасного и скользкого склона.

Самый искренний, вдохновенный, поэтический, но при этом решительно никак не связанный с реальностью монолог о любви Объемов услышал (неволью) много лет назад в... дощатом, разделенном на две секции «М» и «Ж» сортире в деревне Костино Дмитровского района Московской области. В этой нечерноземной глуши он трудился летом в строительном отряде. Была такая практика в СССР — в обязательном порядке отправлять студентов после первого курса на *стройки пятилетки*. Кому выпадал героический БАМ, железная дорога Тюмень — Сургут, газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, а вот юному Объемову выпало мешать раствор в бетономешалке при возведении трансформаторной подстанции на краю полузаброшенного, с васильками и жаворонками поля.

Помнится, как-то ночью он задумчиво курил, устроившись на корточках над очком в секции «М», смотрел сквозь широкие просветы в досках на яркие звезды в бессмертном небе. Но тут послышались девичьи голоса, в соседней секции «Ж» ударила дверь.

«Я его люблю, люблю! Ты не представляешь, Нинка, какое это счастье — просыпаться утром и знать, что он есть! Я сразу начинаю думать о нем, что он сейчас делает, с кем разговаривает. Вижу Славкино лицо, глаза, слышу голос. Понимаешь, он как будто все время со мной! Весь мир — это он! А когда он идет навстречу по коридору, мне хочется зажмуриться, чтобы не ослепнуть, — знаешь как бухает сердце? Я... не знаю, как раньше жила, когда не знала, что живет на свете такой человек... Славка». — «Да, Мань... — неопределенно отозвалась подруга. — А сам-то он как?» — «Не знаю, Нин, он есть — и все, больше мне ничего не надо!»

После чего отвлеченный от созерцания звезд Объемов услышал мощный фыркающий шум (видать, девушки хорошо напились за ужином чая), фразу: «Черт, надо же, трусы перекрутились», удар двери и рассыпчатый затихающий топот. Он, естественно, узнал влюбленную ночную посетительницу дощатого заведения — комсорга их группы. Знал Объемов и «человека Славку» — мрачного, не по годам пьющего, сутулого паренька в неснимаемых очках с выпуклыми стеклами. Он был уди-

вительно молчалив и неулыбчив. Угреватое, словно посыпанное перцем, лицо его оживлялось, только когда в обеденный перерыв собирали деньги на портвейн, решали, кого послать в магазин. Славка, как пионер, был *всегда готов*, но его не посылали, потому что до магазина было километра три, а Славка ходил медленно и как-то бочком. Даже делая скидку на провинциальный бэкграунд Маши (кажется, она была из Липецка), Объемов не представлял, как можно ослепнуть от созерцания Славки. Разве только если в солнечный день смотреть ему в очки как в увеличительные стекла...

Неужели, он поискал взглядом юркнувшую, как мышь в нору, в кухонный сумрак буфетчицу, я сейчас... выступаю в роли Славки? По части выпить — точно. А вот по части любви... Объемов давно превратил себя в объект собственного же насмешливого наблюдения, полагая, что таким образом спасается от маразма. Больше ему, по причине неизбежного одиночества, наблюдать было не за кем. Интересно, есть в кухне... туалет, подумал Объемов.

Судя по тому, что он по-прежнему был в кафе один, а освещена была только стойка бара, он сделал вывод, что гостиница не переполнена постояльцами. Предполье Европы определенно не казалось привлекательным для разного рода искателей лучшей жизни и западной толерантности.

Буфетчица вынырнула из кухонных глубин с приколотым к кофте бейджем «Каролина». Объемов сначала подумал, что это название гостиницы, да потом вспомнил, что гостиница называется «Лида». Каролиной, стало быть, звали буфетчицу. Она не возражала усилить ужин водкой, но за стойкой, выбирая, из какой бутылки налить в графинчик, вдруг как-то задумалась. Объемов быстро подкрепил просьбу двумя российскими сотенными купюрами.

— Тогда я вам... от души налью, — обрадовалась буфетчица, ставя перед ним одну за другой тарелки с усиленным ужином.

— Я столько не съем, — предупредил Объемов.

Похоже, невостребованные едоками в гостиничном кафе ветчинные и сырные нарезки, щедро сдобренные неестественно белым майонезом салаты, запаянные в пленку, как в прозрачные доспехи, сосиски приближались к исчерпанию срока годности.

А, собственно, что здесь такого, расправил плечи писатель Объемов, каждый мужик хоть раз в жизни побывал Славкой, а некоторые — так... (он подумал про брачных аферистов) много-много раз. Кто сказал, что зрелые женщины не могут влюбляться с первого взгляда? Перед его глазами замельтешили картинки из соответствующих разделов интернетовских порнохабов. При чем здесь это, ужаснулся он.

Вдруг я ей просто понравился, оторвался от неуместных, абсолютно, как давние мечтания комсорга их группы в секции «Ж», не связанных с реальностью видений Объемов, с отворачиванием посмотрел на свою дремучую — когда успела выгореть на солнце? — куртку. Предложение



усилить ужин водочкой в счет пропущенного обеда даже с присовокуплением двухсот российских рублей вряд ли могло усилить симпатии шустрой буфетчицы к незнакомому посетителю в позорной, исключаящей всякие романтические иллюзии куртке. Однако бесповоротно смириться с этой мыслью не позволяли остатки мужского самолюбия.

Или она от меня чего-то хочет? Но чего? Я абсолютно неперспективен по всем направлениям. Разве только (тут включилось писательское воображение: оно почему-то неизменно работало у Объемова в режиме изначального, на грани шизофрении, недоверия к окружающим людям, от которых он ожидал любых, в том числе труднообъяснимых с точки зрения здравого смысла, мерзостей) она... хочет меня отравить. Зачем? А в экспериментальном порядке: возможно, ей надо кого-то отравить, а на мне проверит действие яда...

Писательское воображение было весьма изобретательно — как сталинских времен следовательно в поисках доказательств несуществующего заговора. Но без него жизнь Объемова превратилась бы в пустоту. Собственно, литература и была для него поисками доказательств *несуществующего* (не только заговора, а чего угодно), точнее, существующего исключительно в его сознании. Другое дело, что найденные им доказательства не убеждали массового читателя в существовании объемовского несуществующего. Это была персональная беда Объемова, как, впрочем, и многих других писателей, чьи произведения отскакивали от сознания читателя как мячики и улетали неизвестно куда.

Бред!

Надо быть добрее и проще, вздохнул Объемов, смутно припомнив строчки из Уолта Уитмена: *«Если ты увидел человека и тебе захотелось поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним?»* Примерно так. Тем не менее воображение не желало отключаться, зловеще мерцало, как вышедший из повиновения, не реагирующий на кнопки компьютер. А может, так? *Если ты встретил буфетчицу и тебе показалось, что она хочет тебя отравить, где гарантия, что она не хочет тебя отравить?*

Гарантии не было. Был закон больших чисел. В соответствии с ним подавляющее большинство буфетчиц честно (насколько это возможно в их профессии) делали свое дело, не являясь последовательницами Екатерины Медичи.

Выходило, что не столько усиленно ужинающий Объемов, сколько Каролина следовала совету (пока что насчет поговорить) великого американского поэта, о существовании которого она наверняка понятия не имела. И, скорее всего, не следовала другому — в духе Екатерины Медичи — коварному плану (насчет отравить).

Но это уже были детали. Они показались Объемову совершенно малозначащими, после того как он молодецки хлопнул стопку водки и закусил кисленькой (явно перегостила в уксусе) селедкой с лучком. Тут же истаяла, как будто ее и не было, мысль об отравлении. Я идиот, привычно

констатировал писатель. Самокритичное признание не вызывало у него никакого душевного дискомфорта.

Наливая вторую рюмку, он вознамерился пригласить к столу весело порхавшую за стойкой буфетчицу. Однако не успел, потому что в кафе заглянул неопределенного возраста господин с широкой, но короткой бородой, напоминающей истрепанную щетку на деревянной ручке, которую он как будто недовольно держал в зубах. Тоже на конференцию, дружелюбно (он и ему был готов предложить выпить) посмотрел на господина Объемов, отметив братскую потертость его плаща и непрезентабельность ботинок на толстой подошве. Тот, мазнув злым взглядом по столу, сухо сглотнул, дернув рубильником кадыка на горле, и вышел из кафе, чуть сильнее, чем требовалось, захлопнув за собой дверь. Молодец, завязал, вздохнул Объемов, а я вот никак...

После второй рюмки буфетчица и вовсе предстала грациозной, доброжелательной бабочкой, почти что ангелом, снизошедшим с небес по его грешную душу. Это было необъяснимо, но Объемов уже не возражал быть отравленным. Только... чтобы без мучений. По эвтаназийному, так сказать, варианту. Иногда собственная жизнь казалась ему исключительной ценностью и он был готов защищать ее всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Иногда же, например как в данный момент, после двух рюмок водки, в городе, где он никогда прежде не был, в обществе дамы, которую никогда прежде не видел, он был готов легко расстаться с жизнью. Объемов сам не вполне понимал столь резких перепадов в своем отношении к священному и бесценному дару Божьему. Должно быть, его измученное, генерирующее ненужные массовому читателю смыслы и образы сознание определялось еще чем-то, помимо бытия. Быть может, такой вот внезапно-пронзительной (или пронзающей) алкогольной ясностью. Мир как будто ужимался в точку, а безмерно заострившаяся мысль Объемова упиралась в эту точку как копьё. Однако же, упершись в истину (во что же еще?), копьё всякий раз ее калечило, превращало в какого-то жалкого уродца, от которого брезгливо отворачивались нормальные люди. Массовый читатель, чьей любви он алкал, вдруг увиделся ему в образе того самого Славки, в которого безнадежно была влюблена комсорг Маша в деревне Костино. Объемов мучительно вглядывался в угреватое, тупое, в выпуклых очках лицо массового читателя, и ненависть слепила его, потому что он понимал: ничто не заставит это существо взять в руки его, писателя Василия Объемова, книгу. Славка никогда не полюбит Машу.

Копьё в очередной раз сразило истину. Вместе с ней в бубновое (прихоть плотника) очко дощатого сортира с шумным фырканием устремились мечты Объемова.

Вслушиваясь в льющуюся, как... вода из крана (возвысил над бубновым очком сравнение Объемов), речь буфетчицы, он подумал, что жизнь, в сущности, прожита. Он написал все, что хотел, точнее — что



смог. Славы (Объемов не устал изумляться величию и могуществу русского языка, играючи отвечающего на все задаваемые и незадаваемые вопросы) не было и не будет. Впереди то же, что и сейчас: одиночество, болезни, безденежье и тоска. А еще — изумление перед непреходящей лживостью и мерзостью мира, от которого он тем не менее ждал признания, потому что признание являлось одним из условий существования пишущего человека, как неотъемлемой, но почти всегда отпавшей частицы словесного стада.

Только признания быть не могло. Словесное стадо двигалось динозавровым путем к концу времен, подсвечивая дорогу светящимся маячком айфона. Оно решительно не замечало путающегося под ногами писателя Василия Объемова. Ледокольного таланта, чтобы взломать мир, вывести человечество на чистую воду, Господь ему не дал. Таким преобразившим мир талантом обладал Сын Божий, даровавший людям прощение и жизнь вечную. Тоже ледокольным — но внутри другого, земного измерения — талантом обладал Сталин, преобразивший Россию наказанием. Как иначе можно расценивать многотысячные лимиты на выявление и уничтожение врагов народа, спускавшиеся в конце тридцатых годов из центра на места? Злые семена падали на подготовленную почву. От местных агрономов потоком шли требования увеличить квоты. А что, если, привычно травмировал истину копьем Объемов, это и есть... высшая справедливость? Сказано же одним из апостолов: *нет наказания без преступления!*

Вот почему, успокоился Объемов, литературе не дано перевернуть мир. Ей дано вырождаться. Путь ее — от жгущего сердца людей глагола к веселящему зажавшегося обывателя-потребителя комиксу. Однако я, гордо расправил плечи над столом с закуской и остатками водки в графинчике, отказываюсь следовать этим путем! Господь дал мне талант тихий, лепечущий, носимый ветром над неясными смыслами, одним словом, не замечаемый миром талант. Я могу писать что угодно, но в вакууме, в темной душевой пустоте — там, где слова и мысли складываются, как тюки войлока, до лучших (или худших) времен. Скрывая меня в неизвестности и ничтожестве (Объемов ощутил размягчающее, предшествующее слезам тепло в глазах), Господь простирает надо мной сберегающую руку, которую я, как вздорная собачонка, пытаюсь... тяпнуть. Что же мне остается, тупо уперся он взглядом в графинчик. Недостойная возраста суета, гневные статьи на полуживых оппозиционных сайтах, редкие поездки по зачищаемому от русского языка, некогда общему литературному пространству. Когда не находится (он отдавал себе в этом отчет) более именитых и известных авторов. Или когда эти авторы ставят условия, какие организаторы мероприятия не могут выполнить. Не имеющее исхода ощущение проигрыша, мрачно подвел он итог тому, что остается. Страх даже не перед своим, а коллективным — вместе со словесным стадом — будущим, перед неотменимой катастрофой, от которой не убежать, не спрятаться, потому что она по душу и тело каждого. А там... *за точ-*

кой, заинтересованно смерил уровень водки в графинчике, — благословенная тишина, покой, абсолютное, то есть неподвластное времени и вирусам, вечное здоровье в земле или в урне с пеплом, исчезновение всех мыслимых и немыслимых тревог, предчувствий, рвущих душу и сердце переживаний, а главное, упоительная свобода от собственной принадлежности-отъединенности к (от) словесно-телесному(го) стаду(а). Там то, что выше и первичнее... всего, что было до моего прихода в мир и пребудет в нем после. *Великое отсутствие* — так Объемов определил извилисто, как дождевая капля по стеклу, скользящую, но никогда ни от кого (и ни от чего) не ускользающую точку. А вот водочка, с грустью посмотрел на графин, ускользает, еще как ускользает...

Объемову стоило немалых трудов преодолеть магнитное, точнее, вселенско-гравитационное притяжение точки, вернуться в реальность, вникнуть в то, что говорила буфетчица. Она сыпала слова как крупу в сухую кастрюлю, говорила на русском, но каком-то особенном, как бы уже и не вполне русском языке. Это был упрощенно-технический язык-передвижник, язык-переселенец, язык-выживало, помыкавшийся в новых государствах, ободранный недружественными границами, обтертый пластиковыми сумками с барахлом и продуктами, сточенный в оптовоярмарочных, автобусных, вокзальных, таможенных, полицейско-миграционных и прочих терках. Впрочем, он еще хранил фантомную память о советских школьных уроках литературы, прочитанных отрывках из хрестоматии, заученных в далекие пионерские годы стихотворениях. Он давно шел (куда?) своей дорогой, однако еще тянул за собой исчезающую тень СССР, где все были хоть и скромно, но равно обихожены государством и никому (разве только носителям пресловутого пятого пункта) не были закрыты пути вперед, а если удачно сложится, то и наверх...

Вдова офицера-летчика. Шестнадцать лет назад — уже при *Батке* — муж разбился на истребителе. Только-только присвоили майора. Второму пилоту приказал катапультироваться, а сам до последнего пытался спасти машину. Самолет упал на поле с подсолнухами, никто внизу не пострадал. А мужа... не нашли — как и не было его в кабине. Сказали, всхлинула, он, как это... аннигилировался, то есть бесследно испарился. Манекен из магазина одели в форму, на лицо положили фотографию в рамке, похоронили с почестями. Ольга Ильинична, наша клубная библиотечка, нагнулась, чтобы фотографию поцеловать, да как-то неловко, сбила, а там манекенная морда с кретинской такой подленькой улыбочкой, словно что-то знает, да никому не скажет. Какая-то в том полете испытывалась секретная, биогравитационная, что ли, установка. От СССР осталась, не успели в Россию увезти. Ну а наши взялись испытывать. Вроде бы самолет должен был сделаться невидимым и перенестись через время и пространство куда намечено. Она была запрограммирована на самоуничтожение, если что. Вот мой Лешка и... самоуничтожился. Еще подписку о неразглашении взяли, сволочи!



Объемову как-то некстати припомнились рассказы о похищении Гагарина инопланетянами, телепередачи о неопознанных летающих объектах. Буфетчица, похоже, входила в состояние психоза как в древнегреческую реку, в которую якобы нельзя войти дважды. В реку — нет, а в психоз — сколько угодно. Человеческая жизнь вдруг увиделась писателю Василию Объемову в виде коридора, по бокам которого в разные стороны приглашающе вращались винтовые ушастые двери. Люди шмыгали в них как мыши. Некоторые, прокрутившись в этих дверях, возвращались, ошалевшие, в коридор, а некоторые исчезали... где?

...Представили посмертно к герою республики, продолжала буфетчица, не позволяя Объемову однозначно определить, где она — в коридоре или в пространстве за винтовыми ушастыми дверями, но дали только орден за мужество. Здесь, под Лидой, самая современная советская авиабаза. К каждой взлетно-посадочной полосе подведен под бетоном топливный терминал, чтобы сразу всем взлетать без задержки. Такого нигде в СССР да и в Европе не было. До НАТО за десять минут могли долететь. Говорят, Путин сейчас просит у Батяки в аренду, а тот упирается, потому что Европа не разрешает. Сказали, санкции снимут и визы для белорусов отменят, если Батяка откажет. А по мне, так лучше бы пустил: скольким людям нашлась бы работа. Тут и запчасти делали в мастерских по ремонту, и свое хозяйство со свинофермой имелось. Раньше вокруг жизнь была, а теперь только два предприятия работают — лакокрасочный завод и комбинат химудобрений. База пустая стоит, пока охраняется, а офицерский городок разобрали на блоки в конце девяностых. Теперь там лес, грибов много. С грибами ведь как? Год на год не приходится, а там всегда. Подосиновики, белые, а по осени рыжики. Она и солит, и маринует, только есть некому...

— Хотите, завтра принесу? — предложила буфетчица. — Вы ведь здесь будете обедать?

— Не знаю, — пожал плечами Объемов. — Я еще не смотрел программу.

— Принесу, — как о деле решенном сказала буфетчица. — И с собой дам банку, куда мне их девать?

— Всегда есть куда. Родственникам, детям, — посоветовал Объемов.

...А она одна здесь живет. Дочь в Одессе, у нее семья, своя жизнь, работала в фирме по установке домофонов, недавно сократили. Зять — водила, упертый хохол, и раньше злой был на москалей и жидив, а после Крыма совсем озверел. Живут плохо, на четверых — у них двое детей — меньше семи тысяч гривен выходит. Если бы он курятину из фур ящиками не таскал, вообще бы голодали. Она здесь, в Лиде, через день работает — и то получает почти четыре тысячи. Хотя там у них все дешевле, а здесь уже почти как в Европе. До Польши час езды, Литва вообще под боком. Народ туда-сюда снует. Бензин, правда, в Белоруссии дешевле, но его только две канистры разрешают, хорошо, если на обратную дорогу хватит, не по два же евро за литр брать.



В речь буфетчицы, как цветная тесьма в косу, вплетались белорусские и украинские слова. Объемов обратил внимание, что она, хоть и живет в Белоруссии, почему-то оценивает уровень достатка в гривнах и евро, а не в белорусских или российских рублях.

...Последний раз к дочери и не заезжала. Сразу в Умань, там дом, где она жила в детстве. Раньше деревня была, гуси траву щипали, везде цветы, а теперь городская окраина — ни цветов, ни гусей. Мать и отец померли, а дед живой, восемьдесят пять, в разуме, не болеет, сам о себе заботится. В магазин ходит, баню топит, две теплицы держит на огороде. Руки золотые, всю работу по дому делает. Следит за собой: бороду подстригает, волосы из носа, чтобы как клыки не торчали, дергает, пятки напильником трет — потом весь пол белый, как в муке. У него две пенсии: от хохлов тысяча триста гривен и еще от немцев двести пятьдесят евро — за то, что работал в оккупацию на их продуктовом складе, а потом в нашем лагере сидел. Она в этом году почти все лето у него жила. Дед — молодец! До сих пор курит, самогон пьет, книги читает. Телевизор вообще не смотрит, не держит дома телевизор. Раньше смотрел, а однажды вынес в огород и... из ружья прямо в экран. Участковый приходил: чего, дед, хулиганишь? А он: лучше так, чем по-настоящему, пусть эти, которые там мордами светят, живут, а телевизор не жалко. Она хотела новый, плоский купить, скучно вечером — он не разрешил. Сказал, лучше книги читай. А она от книг давно отвыкла. Какие книги, когда такая жизнь? К новым не подступишься, самые дешевые как бутылка водки, а старые — про людей, каких уже нет. Может, только этот, который топором старуху зарубил, остался и... размножился. Каждый второй сейчас такой — зарубит и не чихнет. Дед как мужик, наверное, еще... способен. Ходит одна к нему, шестьдесят пять, худенькая такая, чистенькая, губки в ленточку, носик остренький, в очках, в школе завучем работает. Никак на пенсию не выпрут: некому в районе детишек учить. Якобы за старыми журналами, у деда в подвале подшивки «Роман-газеты», когда-то выписывал. Лохматые такие: когда наводнение было, подвал подтопило. Просушил, не выбросил. Я ему: дед, я тебе не сторож, только не вздумай этой указке ничего отписывать — убью! Она к тебе не за журналами ходит! В них мыши туннели прогрызли, хоть метро запускай! У нас чернозема сорок соток! Евро он тоже не тратит, копит на счете. К нему летом немецкие журналисты приезжали, на камеру снимали: он последний остался в Умани, кто видел Гитлера, когда тот в августе сорок первого по рынку ходил. Еще Муссолини был, но тот помалкивал, видать, чуял беду. Дед и его запомнил: глаза как черносливы, лобастый, губастый, как бык, челюсть лоханью.

— Какой еще... лоханью? — с трудом выпутался из липкой словесной паутины Объемов.

— Какой-какой, — недовольно пробурчала буфетчица. — В какой новорожденных поросят купают!

— А их... разве купают? — растерянно спросил Объемов.



— У нас — нет, — отрезала буфетчица. — Немцы привезли, приказ на ферме вывесили: за грязных поросят — расстрел!

— Это... Гитлер на рынке объявил?

Некоторое, даже противоестественное, уважение к фюреру немецкого народа, мгновенно ухватившему *быка за рога*, с математической точностью вычислившему формулу приобщения неарийского населения на занятых вермахтом территориях к традициям европейского животноводства, ощутил писатель Василий Объемов. И только потом до него дошло, что буфетчица порет дикую чушь.

— Какой Гитлер? Какой рынок? Что он там делал?

— Ходил, смотрел, с народом общался. Дед сказал, что переводчик переводил, высокий такой, чуб из-под фуражки как пена и с царским Георгиевским крестом на кителе: дед определил, потому что его отец в первую германскую воевал, у них два таких же в красивой коробке из-под царских еще конфет вместе с документами лежали. «Русалка» назывались, я в эту коробку свою любимую куклу Бусю спать укладывала, думала, что ночью русалка со дна морского конфеты пришлет и хоть Буся их попробует. Наверное, из казаков-белогвардейцев был переводчик. Но дед и без переводчика все понимал: у него в школе учительница была из колони-сток, ее сразу, как война началась, наши арестовали. Гитлера на аэродроме уже «юнкерс» ждал, генералы под крылом выстроились. А он увидел людей на площади, велел задержаться, прошел по рядам, посмотрел, чем торгуют. Подсолнухи его заинтересовали: там одна баба огромные, как тазы, подсолнухи (в тот год урожай был бешеный, никогда больше такого не было) меняла на сахар. Советские деньги уже не ходили, немецких еще не было, а румынские люди брать не решались — не знали, что это за деньги такие. А дед, ему тогда десять лет было, на мешках сидел. Баба, когда в туалет приспичило, туда его посадила, чтобы вроде как присмотр был. Волосы светленькие, глаза голубые, любопытные, смысленный, наверное, был парнишка. Она Гитлеру сразу мешок хотела с перепугу всучить, но тот не взял, сказал только, что никогда таких больших не видел. Здесь земля, переводчик перевел, как музыка Вагнера. Потом Гитлер деда на мешках заметил, потрепал по голове, сказал: запомни, пацанчик, этот день. Долго будешь жить, увидишь новый мир, за который мы сражаемся, вспомнишь меня... Как в воду смотрел, — задумчиво добавила буфетчица.

— В какую... воду? — запнулся Объемов.

— Я про новый мир, — хлопнула глазами буфетчица, — который сейчас.

— За этот мир Гитлер не сражался, — возразил Объемов. — Он бы точно ему не понравился.

— А что дед будет жить долго, угадал, — быстро нашлась буфетчица.

Похоже, она не сомневалась, что любые произнесенные слова автоматически, на лету наполняются смыслом, а поэтому не имеет большого значения, какие именно слова вылетают у нее изо рта.

— Тут не поспоришь, — развел руками Объемов.

Он вдруг засомневался в существовании уманского деда. Частицей ландшафта стремительно меняющегося мира показался ему загадочный дед. Белоруссия уже не Россия, а наследница Великого Литовского княжества, той самой *Белой* (европейской) Руси, которую кроваво и тупо задавила Русь *черная*, московская, татаро-монгольская и угро-финская. Украина ревет и стонет от ненависти к России. Европа — в маразме, мигрантах, толерантности и отказе от христианской веры. А Гитлер... Гитлер, конечно, душегуб, злодей, преступник номер один, как справедливо указывали советские историки, но ведь и к нему сейчас отношение меняется. В Прибалтике, например, или на той же Украине... И про Румынию он что-то такое читал. Уманский дед, подумал писатель Василий Объемов, сродни тыняновскому поручику Кижэ или товарищу Огилви из «1984» Оруэлла. Эти персонажи — не из текущей жизни. Они фантомы жизни новой и страшной, которая в данный исторический момент замещает привычную текущую, давит и месит ее, как скульптор глину. Однако не стал делиться с Каролиной сложной и спорной мыслью.

— Ленин тоже, — почти весело подмигнул ей Объемов, — в воду смотрел, а что видел?

— Что? — растерялась буфетная дама.

— Коммунизм! — назидательно произнес писатель. — А где он?

— Где? — Она, как изваяние, замерла над его головой с пустой тарелкой в руке.

— Там же, где и тот мир, за который сражался Гитлер, — многозначительно понизил голос Объемов. — Нигде и... везде! — осторожно увел голову из-под летающей тарелки.

— В Умани возле кино «Салют» стоял памятник Ленину, — легко, как черная бабочка, перелетела с Гитлера на вождя мирового пролетариата буфетчица. — Сломали. Только нога в штанине как кочерга осталась торчать. Ботинок в желтый потом покрасили, а штанину — в голубой. Голову лысую в парк, в павильон ужасов, откатали.

— Не повезло Ильичу.

Объемову вдруг сделалось как-то тревожно. Как и всегда, когда он слышал то, что не хотел слышать, или был вынужден говорить о том, о чем не хотел говорить, но о чем постоянно и безытогово думал.

— И Гитлеру тоже.

Зачем я это сказал, расстроился Объемов, почему я все время об этом думаю, с кем... вообще разговариваю? Наверное, так было в сталинском тридцать седьмом. Люди не смели говорить о необъяснимых репрессиях, да только, о чем бы они ни говорили, они по умолчанию говорили о них. Ему вспомнился школьный физический опыт, когда на пластинку сыпали железную пыль. Ее можно было сыпать как угодно, но когда пропускали ток, пыль мгновенно укладывалась в один и тот же, напоминающий совиную морду рисунок.

Казалось бы, ничто (кроме алкоголя) не могло сблизить (ментально) русского писателя Василия Объемова и неизвестной национальности



буфетную даму по имени Каролина. Однако дама была абсолютно трезва, да и Объемов выпил пока что весьма умеренно. Стало быть, не алкоголь, а невидимое напряжение нового (совиного?) мира воздействовало на пыль произносимых Объемовым и Каролиной слов. Совиная морда урюмо смотрела на них с пластинки нового мира.

Объемов допускал, что Гитлер превратился в миф, что он, как и Сталин, по мнению генерала де Голля, *не умер, а растворился в будущем*. Хотя Объемов сильно сомневался, что де Голль это говорил. Сомневался он и в подлинности знаменитого, как будто списанного из монолога Петра Верховенского в романе «Бесы» Достоевского, плана Даллеса по поэтапному уничтожению России. Или цитируемого на застекленных уличных стендах (в преддверии выборов) умозаключения Бисмарка, что Россию одолеть военным путем невозможно, победить ее сможет только внутренний враг. Даже если Бисмарк ничего подобного не произносил, в данном изречении, по мнению Объемова, заключался глубокий конспирологический смысл. Потенциальному избирателю предоставлялся шанс самостоятельно определить — не сам ли этот внутренний враг победительно и не таясь декларирует свои намерения, принимая потенциального избирателя за конченого идиота? Гораздо большее доверие вызывала другая (подтвержденная) цитата «железного канцлера»: *«Россия опасна мизерностью своих потребностей»*. По воле управляющего ею внутреннего врага, творчески дополнял цитату Объемов.

Но все равно странно было рассуждать на эту тему с малосведущей в историко-политологических изысканиях буфетчицей, в независимой Белоруссии, спустя без малого семьдесят лет после смерти фюрера немецкого народа, истребившего в этой самой Белоруссии, кажется, треть населения.

А может, очень даже не странно, подумал Объемов. Миф обретает необходимую для преобразования действительности динамику именно тогда, когда спускается с выморочных научных высот в пышущую живой глупостью и жизненной силой толщу масс. Они или реагируют на него, начинают, как брага, пузыриться и бродить, чтобы затем взметнуться в революционно-военный змеевик (это неизбежно) и сдаться по капле в новом качестве в подставленную посуду, или отвергают, точнее, не вступают в реакцию, оставаясь в первозданной, с библейских времен определенной как труд и повиновение управляемой тишине. Временно невостребованные массами мифы, подобно штаммам бактерий, рассеиваются в книгах и среди безразмерных пространств Интернета, заражая умы отдельных отщепенцев. Они везде и нигде.

Объемову не нравилось будущее, где растворенные Гитлер и Сталин были готовы материализоваться подобно кристаллам в перенасыщенном соляном растворе. В нестихающих диспутах о судьбе России Гитлер был темным, как ночь, как дым из концлагерной трубы, кристаллом, а Сталин незаметно, но упорно напивался белокрылым ангельским светом. Объемов сам видел в одной кладбищенской часовне икону с «отцом наро-

дов». Генералиссимус, втоптавший церковь в пыль, так что она до сих пор не могла отряхнуться, кощунственно стоял в длинной до пят шинели, как митрополит в рясе, рядом с Богоматерью, угрюмо уставившись на оробевшего младенца Христа.

Наверное, внутри соляного раствора в очереди на кристаллизацию скрывался и Ленин. В данный момент Ильич пропускал вперед Гитлера и Сталина, но это была очередь без порядковых номеров. Фюрер и «отец народов» были понятны и (каждый в свое время) бесконечно любимы массами, в то время как Ленин... Способны ли вообще массы, то есть малые сии, без понуждения понимать и любить человека с собранием нехудожественных сочинений в пятьдесят четыре тома? Даже если этот странный человек задался неисполнимой целью превратить малых сих в больших? Сделать тех, кто был никем, — всем. Новый (совиный) мир стремился к простым, как смерть, в духе Гитлера и Сталина, решениям, а потому Ленин с его беспокойными мыслями об электрификации, коммунизме, отмирающем государстве, главное же, о том, что делать и кто виноват, был сове, как говорится, мимо клюва.

Однако как-то эти три кристалла таинственно взаимодействовали, возможно, предуготовливая раствор к переходу в новое, неизвестное человечеству качество. Объемов склонялся к мысли, что это будет всерастворяющая существующий мир кислота. Призрачная кристалльно-кислотная совиная тройка пронеслась, шелестя крыльями, перед его испуганным взором и растворилась в темных законных белорусских небесах. В ночи и в водке, наполнил очередную рюмку Объемов.

Все-таки не молдаванка и точно не белоруска, подумал он, закусывая белой от укуса селедкой, про взявшуюся протирать за стойкой пивные стаканы буфетчицу. Точно — украинка. Наверное, из Галиции, там много Каролин. За такие воспоминания ее бы зацеловали на Майдане. Сколько, она говорила, было годков в сорок первом мифическому деду — десять? Ему бы в пионеры-герои, а он — под юбку к бабе, меняющей подсолнухи на сахар. Где он всю войну работал — на немецком продуктовом складе? Значит, не голодал! И силушку сберег, если к нему очкастенькая завуч — губки в ленточку — бегают, и пенсию от Меркель получает! Парень не промах! А что телевизор в огороде расстрелял и подшивки «Роман-газеты» хранит — это... правильно, наш человек, как-то сбился с мысли Объемов.

— Дед с немцами, которые фильм снимали, по Умани ходил, показывал место, где стояла баба с подсолнухами. Там сейчас бензоколонка. Они ему пятьсот евро заплатили.

— Мало! — возмутился Объемов. — Кто живого Гитлера видел — по пальцам пересчитать, сколько их осталось?

Он вдруг замолчал, как подавился, вспомнив, что однажды (и не через вторые руки, как сейчас, а напрямую) общался с одной такой личностью. Фюрер как будто навязывал ему свое общество.



Зачем?

Писателю Василию Объемову одновременно хотелось и не хотелось исследовать процесс возвращения мифа, выяснять, говоря по-простому, откуда у мифа ноги растут. Они отрастали вполне естественно, как хвост у ящерицы, в соответствии с природой мифа. Пока что это были замаскированные, как хвост и сам возрождающийся миф, ноги. Внимательному и пытливому наблюдателю он (если) открывался в виде *голого короля в новом формате*. Этого короля окружающие изначально полагали голым и, следовательно, невозможным для публичного появления в толерантном мультикультурном пространстве, а потому — в упор не видели. Он не существовал, не мог существовать, поскольку после Освенцима нельзя было сочинять стихи о розах. В исторических музеях разных европейских городов Объемову доводилось читать немецкие листовки времен Второй мировой войны. На обратной стороне там обычно уточнялось, что если кто, сдаваясь в плен, предъявит листовку, то ему гарантируется гуманное отношение, а если предъявитель листовки до начала войны проживал на оккупированной в настоящее время вермахтом территории, то ему, возможно, будет позволено вернуться домой и заняться мирным трудом во славу тысячелетнего рейха. Сдавшихся с этими листовками советских бойцов расстреливали тысячами, точно так же как и тех, кто сдался без листовок. Голый король не видел между ними разницы. Ему было плевать, кто считал его голым, кто одетым, а кто вообще его не видел. Приговор обжалованию не подлежал. Это был опыт, вокруг которого, как кот вокруг плошки со сметаной, кругами ходил, облизываясь, новый мир.

Но так дело обстояло раньше, когда король был в силе. Сейчас, не существуя, он составлял другие адресные листовки.

На немецком языке: немцы не хотели войны, их втянули в нее, чтобы погубить, согнать со столбовой дороги на безнациональную и постхристианскую обочину, перемешать с различными позорными меньшинствами, чтобы немцы навсегда забыли про *триумф воли*. И вообще, они хотели добра, а Сталин и русская армия вынудили их превратиться в зверей.

На всемирном, как некогда латынь, английском: Гитлер был хорош, потому что, проиграв войну, на долгие годы (во всех смыслах) опустил Германию, превратил в дойную корову для новой объединенной толерантной и мультикультурной Европы. Гитлер был плох, потому что перед тем, как самому быть уничтоженным, он не смог уничтожить СССР.

На русском: Сталину нет и не может быть прощения, за то что он сделал СССР великим и могучим, оснастил ядерным оружием, добился того, что никакая свинья не могла просунуть рыло в его социалистический огород. Однако войну выиграл не Сталин, как главнокомандующий, и не русский, а обобщенный, проживавший на территории тогдашнего СССР советский народ. За что теперешний, опять же обобщенный, но уже российский народ ему благодарен не меньше, чем за разрушение проклятого СССР. А больше ни за что не благодарен, потому что все остальное — рабство и позор!

— ...А потом он посмотрел в небо на самолеты, которые летели над Уманью бомбить Киев, — буфетчица подошла к столу, поправила в металлическом держателе красные, свесившиеся набок, как петушиный гребень, салфетки, — и... Но это, — приложила палец к губам, — тайна!

— Кто?

Объемов вдруг ясно осознал, что перед ним сумасшедшая, причем опасно сумасшедшая. С подобных, подумал он, ложных социально-исторических синдромов и начинаются революции. Они — невидимо горящие под ногами торфяники. Все спокойно, и вдруг почва проваливается и привычная жизнь летит в огненную пропасть. Чтобы в России, ладно, пусть не в России, а в Белоруссии, которая еще недавно была Россией, буфетчицы вели с клиентами беседы о Гитлере... Надо сматываться.

Но в графинчике еще оставалась водка, а буфетчица, хоть и поблескивала нехорошо глазами, пока не проявляла агрессивности. Интересно, подумал Объемов, если я не буду уточнять, что сказал Гитлер, она... разъярится или, наоборот, сникнет?

Не угадал. Буфетчица, качнув затянутыми в черные штаны бедрами, как сдвоенным маятником, скрылась в кухне, напевая себе под нос. До Объемова донеслись слова «ридна», «кохана» и, кажется, «дивчина».

Наверное, это я сумасшедший! Он схватил графинчик за длинное горлышко, решительно — до последней капли — вылил водку в рюмку. Какое мне дело, что сказал в Умани Гитлер, если я точно знаю, что это бред! Не мог он ходить по рынку, прицениваться к подсолнухам! Объемов ни к селу ни к городу припомнил, что Гитлер вроде бы сносно знал французский язык и будто бы даже одна девушка во Франции родила от него сына, которого он, правда, так и не увидел, потому что в восемнадцатом году немецкие войска покинули Францию... Странно, что потом, когда они туда в сороковом году триумфально вернулись, недоказанный сын никак себя не обозначил, хотя, казалось бы... А что, если и в Умани... ходил, ходил по рынку, а потом шасть к подсолнуховой бабе...

Графинчик в руке Объемова играл на свету, искрился рубчатыми боками. Как граната, усмехнулся про себя, особенно если взять да бросить его в стену. Он не сомневался, что летали, летали в этом заведении графинчики (хорошо, если в стены, а не в пьяные хари), не могли не летать. «Гитлер в Умани» — отличное название для пьесы, все действие — на рынке среди лотков с продовольственным ассортиментом военного времени, со свинными, бычьими и бараньими головами (образы народов) на прилавках. С жужжащими то тихо, то нестерпимо мухами в виде маленьких черепов со скрещенными костями — лазерными точками по всей сцене, чтобы у зрителей кружилась голова. Четыре персонажа: Гитлер, переводчик из белых казаков, баба с подсолнухами, мальчишка, научившийся от колонистов немецкому языку... Каждый про свое. Гитлер — про новый арийский мировой порядок. Казак-переводчик — про великую и неделимую Россию. Баба — про мужа, детей, коллективизацию и *голомор*. Мальчишка — про... что? Про Украину, так сказать, сердцем



воспринявшую спустя семьдесят лет... Нет, это в лоб, примитивно. Тогда про свою будущую жизнь после Великой Победы, про конец СССР, про эту... в очочках, у которой губки ленточкой, про то, что у него все еще *встает*, про немцев, которые приедут в Умань через семьдесят лет снимать фильм о... тебе, Гитлер! А в финале — короткие монологи голов (народов), что есть война, революция, человеческая жизнь и идеология. Хор подсолнухов — как у древних греков: воля богов, мимесис, рок, фатум, судьба!.. Но кто поставит, какой театр возьмет? Сволочи!

— Что сказал Гитлер? — грозно спросил в кухонное пространство Объемов, потрясенный величием внезапного драматургического замысла.

Он был похож на взметнувшийся посреди пустоши дворец с башнями, мансардами и висячими садами Семирамиды. В моменты мгновенной ослепительной жизни таких замыслов Объемов обретал мгновенную же уверенность в себе.

— Он сказал: «Es ist noch zu früh», — донеслось до него сквозь шум туго бьющей в металлическую раковину струи воды.

— «Еще... рано»? — мобилизовав все свое случайное знание, точнее незнание, немецкого языка, неуверенно перевел Объемов.

— Ja, genau so*, — подтвердила буфетчица.

— А ты... откуда знаешь немецкий? — растерялся Объемов.

— За два-то года, пока драила сортиры в Лейпциге, — усмехнулась она, — научилась. Я, кстати, в Ильичевске пищевой техникум с отличием окончила! Три года по распределению на сухогрузах при пищеблоках плавала. Так что... можем.

— Рано... Что он имел в виду?

— Понятия не имею, — сухо, без прежней доброжелательности, скрипуче, как если бы двигала по полу стол, ответила Каролина. — Он не уточнил. За что купила, за то и продаю. Он долго в небо смотрел. Может, что самолеты рано полетели, а может, — добавила совсем мрачно, — что-то услышал... оттуда, понял, что поспешил.

— Однако людей не насмешил. Спасибо! Было очень вкусно. — Объемов выпил на посошок, выхватил из петушиного в железном держателе гребня красную салфетку, вытер привычно скривившиеся губы. — Пойду к себе. Я точно вам ничего не должен?

Он снова перешел с ней на безличное «вы». Наметившаяся между ними уитменовская близость разлетелась на кусочки, как если бы была тем самым пущенным в стену пьяной рукой графинчиком. Морской (три года на сухогрузах), сухопутный (сортиры в Лейпциге), воздушный (вдова пилота) — трехстихийный! — бэкграунд буфетчицы придавил Объемова, лишил комфортного ощущения собственного интеллектуального превосходства. Я что-то выдумываю, мучаюсь, вздохнул он, а бестселлеры... Они, как жизнь, везде. Пусть даже это странная жизнь после смерти, как сейчас в этой... Умани. Нет жизни — нет бестселлеров!

* Да, точно так (нем.).

Но разве не имеет права на существование мой бестселлер об исчезновении жизни? Я всю свою жизнь сочиняю исчезающий бестселлер, да, похоже, жизнь моя исчезнет раньше, чем он будет написан.

— На боковую?

Буфетчица вышла из кухни, зигзагом обогнула стойку, остановилась, блестя черными вороньими глазами, у стола, из-за которого только что поднялся Объемов. Что ей Гитлер, с неожиданной тоской подумал Объемов, да ее бы... с такой-то внешностью в первый же день в ближайший концлагерь! Хотя Одессу, кажется, держали румыны.

— Не знаю...

Он зачем-то посмотрел на часы, но без очков не разглядел, который час. Стрелки как будто растворились в неясном, как исчезающая в тумане жизнь, циферблате.

— Я бы прогулялся по городу, но дождь...

— В дождь хорошо спится. — Она начала собирать на поднос пустые и непустые тарелки. (Объемов так и не прикоснулся к вздыбленному бордовому винегрету и к куриному рулету в желе, как в желтом увеличительном стекле.) — Я сама после девяти только и думаю, как доползти до кровати... — Буфетчица непроизвольно зевнула, едва успев прикрыть рот рукой.

— Да? — ответно и тоже непроизвольно зевнул Объемов.

Дарвин прав, успел подумать он, щелкнув челюстью, человек, точно, произошел от обезьяны. Он понимал, что надо уходить, и почему-то медлил, более того, мелькнула мыслишка, а не махнуть ли еще на сон грядущий водочки? Как она сказала — в дождь хорошо спится? Спитесь или спитесь? Какая, в сущности, разница?

— Устаете на работе? — с неискренним участием поинтересовался он.

— Совсем не устаю. Какая тут работа? Через день, посетителей мало. Сегодня вообще вы один. Не в этом дело.

— А в чем?

— В том, что спать интереснее, чем жить.

— Как это?

Объемов чуть было не уточнил: «С Гитлером?» Но сдержался. Он с юных лет исповедовал принцип: если не знаешь, как отреагирует собеседник, лучше молчи. Это спасало от многих возможных неприятностей. Хотя и не всегда. Молчание было свободно (в любую сторону) конвертируемой валютой.

— А вот так, — ответила буфетчица. — Во сне я... живая, где-то хожу, что-то вижу, встречаюсь с разными людьми. То в Одессе, то в Витебске, то вообще... — вздохнув, посмотрела на нетронутые тарелки с винегретом и затаившимся в дрожащем янтаре куриным рулетом, — в Париже, — призналась почему-то шепотом. — Я там, кстати, не была. Хотела из Германии на автобусе съездить — не получилось. Шапирюзу — мою напарницу (мы тогда в Лейпциге, в парке «Белантис», где египетская пирамида, работали) сомалийцы изнасиловали в сортире. Он



на отшибе стоял, вокруг деревья, кусты, даже днем темно. Она как чувствовала, боялась заходить. Но они ушли, а один, в приличном пальто, задержался, вроде он не с ними. Украл, наверное, где-то пальто. Мадам, мадам, ребенку, моему сыну, плохо, потерял сознание, побудьте с ним, а я в медпункт за врачом. Шапирюза раньше в универмаге на кассе сидела, привыкла людей по одежде оценивать, а потом... у нас в договорах было записано, что беженцам надо помогать. Если он на улице у тебя что-то спросил, а ты не ответила, он тебя фотографирует на телефон и идет в полицию. Хорошо, если только штрафом отделаешься, могут и с работы попереть. Она, дура, зашла, этот, в пальто, следом, ну и остальные из-за деревьев выскочили. Уже вечер был — как их разглядеть? В общем, по полной. Она месяц в больнице лежала. Еще и зажигалкой прижгли. Я не в Париж, а в полицию на допрос. Они решили, что это я сомалийцев на Шапирюзу навела, чтобы работать на две ставки. Хотели рабочую визу закрыть. В общем, пролетел Париж... А во сне он мне понравился, — добавила после паузы каким-то странным, как будто уже спала, голосом. — Дома углами стоят, как утюги, глядят улицы, как брюки, всюду сирень и... негры. Один, здоровый бык, штаны спустил и прямо на скамейку... из шланга. Они так в парках всегда делают. Я бабушкину древнюю частушку вспомнила: «Из-за леса, леса темного привезли его огромного...» Совершенно меня не стеснялся.

— И что там, в Париже? — неожиданно заинтересовался Объемов.

Дело в том, что ему тоже видеть сны было интереснее, чем жить. И города в его снах были реальнее настоящих. Некоторые — настолько, что Объемов путался, во сне или наяву он их посещал. Он не сомневался, что в общечеловеческой сети снов существует портал несуществующих городов, где у каждого пользователя открыта собственная страничка. Писатель Александр Грин совершенно точно брал названия — Гель-Гью, Лисс, Зурбаган — из альтернативного географического атласа.

— А я туда, не поверишь, — тоже перешла на «ты» буфетчица, — на симпозиум приехала! Это здесь я никто и звать никак, а во сне... — подмигнула Объемову, — уважаемый человек. Правда, не понять, из какой оперы. Серьезные проблемы разруливаю, и все по уму, по справедливости. А как проснусь, все через... — огорченно махнула рукой. — Хотя, — продолжила задумчиво, — и во сне меня поначалу обижали, не хотели разговаривать.

— Негры? — подсказал Объемов.

— Одежда выдавали в одном учреждении. — Она как будто не слышала глупого вопроса. — Всем пожалуйста, а мне нет! Так обидно! Наверное, замерзла ночью, вот и приснилось. Но ведь не дали! А недавно... когда же это... да позавчера, на авиабазу попала. Я, когда в техникуме училась, там практику проходила, стояла в столовой на раздаче. Как в космонавты отбирали: характеристика, допуск, анкета. С Лешкой познакомилась. Капризный был, рис, говорит, у тебя непроваренный и салат с песком. Я ему: не по званию претензии, лейтенантик, ешь что дают!

С первого раза у нас не задалось. Сразу захотел полный обед с десертом! Послала его. Однако адрес оставила. Письма писал, пока я на сухогрузах плавала, а потом за мной приехал. Проняло его. Капитаном уже был, командиром звена. Нам сразу квартиру дали, определили меня в столовую завпроизводством. Больше на раздаче не стояла. А во сне опять... понизили. Все мимо меня с подносами. Молоденькие, красивые, совсем не состарились. Лешка в очереди, только на погонах почему-то пять странных каких-то, ушастых таких звездочек. Наверное, там у них другие звания и знаки различия. И еще заметила, что в зале столы в четыре ряда, а на окнах жалюзи. Такого не было. В три ряда всегда столы стояли, тюлевые занавески, каждую неделю стирали.

— И все? — разочарованно спросил Объемов.

— Не все, — вздохнула буфетчица. — Он со мной... по-немецки заговорил.

— Кто?

— Да Лешка! И куртка на нем была странная — военная, но не наша, точно, не наша. С тремя карманами на груди. И не на пуговицах, не на молнии — на железных таких квадратиках. Как он ее застегивал? От борща и котлеты с пюре отказался. Два компота попросил.

— Пить хотел?

— Не знаю. Поставил стаканы на поднос, а потом сказал: «Вернусь с задания, получу премию — поедем в Умань дом покупать».

— Я удивилась: «С каких это пор стали пилотам премии давать, чтобы на дом в Умани хватило?» А он мне так серьезно: «Это не задание — миссия! Все уже решено, хоть никто об этом не знает». Что решено? Какая миссия? Лешка сроду такого слова не говорил... да еще по-немецки!

— А дальше-то что?

Объемов вдруг как будто увидел эту полуденную столовую, поднос с двумя стаканами светящегося на солнце компота, человека в странной куртке с тремя карманами на груди и застегками в виде железных квадратиков. Он тоже не представлял, как они застегиваются и расстегиваются. И еще у него возникло ощущение, что где-то он уже все это видел, слышал, а может, читал? Неужели... во сне, испугался Объемов. Перевел дух. Не во сне. Он точно не стоял в той очереди за пилотом с пятью ушастыми звездочками на погонах. Иначе бы знал, что дальше. А он не знал.

— Только задание будет долгим, сказал, выпил компот, выплюнул косточку на поднос, придется тебе меня подождать. Я хотела его полотенцем по морде, но тут сирена врубилась. Наверное, мировая война началась, все разбежались, я одна в столовой осталась, не позвали меня почему-то в бомбоубежище. Как это объяснить?

Он пожал плечами.

— Все равно, такое счастье... Хоть во сне... — Блеснув слезами, буфетчица взяла со стола графинчик, от которого никак не мог отлепиться взгляд Объемова, поставила на поднос. — Дед говорит, — продолжила уже другим, померкшим, как опустевший графинчик, как проводивший



его взгляд Объемова, голосом, — если спать становится интересней, чем жить, значит, дело к концу. Надо срочно что-то менять, чтобы не пропасть. А еще говорит, что если первая половина жизни дается человеку в радость, то вторая — в наказание. Хотя у него-то наоборот. Первая половина — война и лагерь, вторая — кум королю, живи и радуйся. Неужели отпишет дом... школьной крысе?

— Сколько ему, восемьдесят пять? — припомнил Объемов. — Уже не вторая, а... третья половина. Или третьей не бывает?

— Бывает, — охотно подтвердила буфетчица. — Она самая длинная, потому что это ожидание. Каждый чего-то ждет. А чего?

— От чего никому не отвертеться, — вздохнул Объемов, но по лицу буфетчицы понял, что она имеет в виду другое.

Ну да, посмотрел на Каролину, жизнь прожита, чего, кого ей ждать? Только улетевшего шестнадцать лет назад на истребители своего короля.

Он и сам давно и, как водится, безытогово размышлял на эту тему. Ему тоже казалось, что лучшая часть его жизни, как живая цветная река, перетекла в сеть снов или в сонную сеть, что только там, рассекая виртуальные подсознательные волны, он расправляет крылья (плавники?), принимает ответственные решения, полноценно и насыщенно существует. А как проснется — перемещается в нечто, точнее в ничто, в серый, вязущий по рукам и ногам туман, к однообразным бытовым хлопотам, мрачным мыслям, молчащим телефонам, бессмысленным новостям-перевертышам из радио, телевизора и компьютера. Похоже, в мире не осталось однозначных новостей. Любая заключала в себе собственное же отрицание, являлась одновременно новостью и антиновостью. Даже если сообщалось о смерти известной персоны, то часто оказывалось, что персона жива и здравствует. Непреложной, таким образом, оставалась единственная отсроченная новость, что все люди смертны и всему в мире (включая сам мир) рано или поздно настанет конец. Но интерес к ней, похоже, проявляли только писатель Василий Объемов, сотрудничавший с гитлеровцами дед из Умани и его странная внучка по имени Каролина.

Да, конечно, иногда Объемова выручают редкие путешествия, встречи с читателями в библиотеках, он заседает на круглых столах, иногда даже участвует в дискуссиях на второстепенных телеканалах, бывает, обнаруживает отклики на свои произведения в Интернете, но и поверх этой имитации или компенсации жизни как будто натянута непроницаемая купол. Из шапито выхода нет! Он сам однажды пережил паническую атаку во время ток-шоу, ощутив себя в замкнутом пространстве антижизни, выдающей себя за жизнь. Ни одну из обсуждавшихся проблем те, от кого это зависело, то есть власть или так называемая элита, не собирались решать. Это было прекрасно известно участникам ток-шоу, кормившимся вокруг власти или элиты, тем не менее они продолжали увлеченно фонтанировать словесной водой. Объемов не выдержал, гневно рывкнул в профессионально аплодирующую по команде расположившегося в затемненном

углу *хоровика* массовку: «Прекратите! Вы — ничто! Ваше будущее — позор!» Хоровик, помнится, на мгновение замер, а потом врубил музыкальный проигрыш, после которого неожиданная реплика Объемова сама превратилась в нечто среднее между ничто и позором. В ничтожный позор или позорное ничто. Стоявшие за двумя длинными столами напротив друг друга «говорящие головы» — известные люди — посмотрели на Объемова с сожалением. После этого случая его перестали приглашать на телевидение.

Куда ушла жизнь? Почему даже сейчас в незнакомом городе, где наверняка много такого, чего он не видел — да хотя бы могучая крепость на берегу озера! — ему хочется тупо завалиться спать? А что будет, холодея от ужаса, думал Объемов, если, не дай бог, накатит бессонница? Тогда в петлю! Среди его знакомых имелись многолетние бессонные люди. Они (многие, кстати, одного с ним возраста) непрерывно рыскали по аптекам, мучали врачей, заказывали транквилизаторы через Интернет, каким-то образом обходя строгие запреты на их продажу без соответствующих рецептов, любую беседу сворачивали на тему — какие таблетки реально помогают заснуть, а какие — обман и подделка. Лиценцы сна, подобно лезущим сквозь заграждения и колючую проволоку в Европу беженцам, стремились в вожделенную страну сновидений, проявляли недюжинную пассионарность в отстаивании неотъемлемого права человека на сон. Лестница человеческих несчастий, воистину, была бесконечной. На какой бы ступеньке ни стоял человек, всегда обнаруживался тот, кто стоит выше. Пусть я не живу, подумал Объемов, но я хотя бы сплю (пока), следовательно, я существую, а вот они...

— Не надо бояться, — осторожно приобнял он за плечи Каролину, неожиданную сестру по скрашиваемой сновидениями муке (она же мука) бытия — так определил Объемов их общее на данный момент психологическое состояние.

Он хотел сказать ей, что это та самая мука (она же мука), из которой Государыня-смерть (определение Анны Ахматовой) выпекает для каждого своего подданного персональный, то есть предназначенный только ему и никому другому, крендель, да подумал, что Каролина, как выпускница пищевого техникума, может воспринять эту мысль слишком буквально. Объемов и сам не знал, почему одним — шедевры выпечки с тщательным соблюдением временных и кулинарных технологий, а другим — стремительный фастфуд?

Но он недооценил Каролину.

— И про смерть дед тоже говорил, — мягко, как если бы они были из воска, подалась плечами под его руками буфетчица.

Объемов на автомате (как во сне) прижал ее к себе, опустил руку на талию, точнее, на рельефно выпирающий из-под черной блузки телесный обруч. Ему вдруг вспомнилось неизвестно зачем прочитанное объявление в неверном свете фонаря на столбе возле гостиничной автостоян-



ки: «Олеся. 27 лет. Ахнешь! Звони!» Там же висели и другие объявления с телефонами адвокатов, автомобильных и квартирных маклеров, практикующих на дому врачей-венерологов, а также безошибочно («Если не сбудется — деньги назад!») предсказывающих будущее экстрасенсов. Хотя, возможно, это явно неисполнимое обещание относилось к ожидающей звонков Олеся. Самое удивительное, что Объемов, оторвав хвостик с телефоном, зачем-то набрал номер и некоторое время слушал задушевно-ласковое, но в то же время деловито-коммерческое: «Да! Я слушаю... Говорите... Что же вы молчите?», пытаясь представить себе эту самую Олеся. Однако она вскоре отключилась, а он не стал перезванивать.

Рука соскользнула с талии. Буфетчица вздрогнула. Он понял, что совершил ошибку. Не следовало физиологически, то есть непроизвольно, ахать, в смысле — отдергивать руку от телесного валика, как будто его ударило током. Получился обидный для женщины «ах». Он попытался ободряюще улыбнуться Каролине, но улыбка вышла какая-то механическая. Ну и что, растерянно подумал Объемов, я пришел сюда поужинать, при чем здесь... *это?* Мы — о смерти, а не о...

— Дед сказал, что в определенный момент у человека пути души и тела расходятся, — спокойно, почти равнодушно, продолжила Каролина. Она не отреагировала на невербальный объемовский «ах», не сморщила брезгливо губы, мол, на себя посмотри, старая развалина. — Организм берет курс на смерть, потому что так велит природа, а человек, если слаб душой, ему подчиняется. Он, как капитан, чувствует, куда заворачивает корабль, а переменить курс не может. Не дай телу себя одолеть, говорил дед. А еще говорил, что цивилизация существует по физическим законам человеческого тела. Никакая война, говорил дед, случайно не начинается. Только когда уровень зла, страданий и несправедливости в мире зашкаливает. Он про это дело целую, советскую еще, школьную тетрадь исписал. Я читала, но не все поняла. Он вроде как у Бога спрашивал: если зло, страдания и несправедливость для человечества все равно что болезнь для человека, то почему против этого у Бога единственное лекарство — смерть?

— Потому что смерти нет, — ответил Объемов, — а есть жизнь вечная. Ты ходишь в церковь?

— А на обороте тетради, где таблица умножения, дед вывел математическую формулу: «Жизнь = Смерть + Бог». Как это понимать?

— Отличная формула, — согласился Объемов, — главное, универсальная. Можно ставить слова и знаки в любом порядке — суть не изменится. Спросила у деда, что это означает?

— Спросила. Он сказал, что внутри формулы человеческой цивилизации и отдельно взятому человеку предоставляется выбор: умереть в силе и разуме, так сказать на взлете, или — как гнилому овощу на вонючей свалке. Однако чтобы сделать этот выбор, надо... что-то совершить, переступить через себя, одним словом, решиться. Это опасно, потому что трудно угадать, что получится.

— Отречемся от старого мира, — продолжил Объемов, — отряхнем его прах с наших ног. Знаешь эту песню?

— Слышу отовсюду, — усмехнулась Каролина, — даже, — кивнула в сторону кухни, — из микроволновки, не говоря об этом, как его... блендере.

— А на что я должен решиться, если я и есть... больное тело? — с преувеличенным интересом, лишь бы загладить свое (тела?) отступничество, спросил Объемов.

Ему пришла в голову мысль, что организм берет курс не только на смерть, но и на физическую деформацию, говоря по-простому — уродство. Невидимый скульптор как бы комкает собственное творение, злобно облепляет ошметьями лишней плоти, метит, как леопарда, пигментными пятнами, превращая несчастного в ходячую (хорошо, если), а не лежачую прореху, как писал великий Гоголь, *на теле человечества*. Она права, опустил голову Объемов, я бродячая прореха на теле человечества, а человечество... прореха на теле Бога. Неведомый дед тоже прав! Господь, обливаясь слезами, штопает прореху по живому, потому иначе заштопать ее невозможно! У Господа нет для нас других ниток, кроме смерти!

— Тихо умереть во сне, — пробормотал Объемов, покосившись на свои обтрепанные, с узлами на шнурках кроссовки. — Вот счастье, вот... права!

Но Каролина, не дослушав, вдруг рассмеялась, прикрыв ладонью рот, где, по всей видимости, в моменты смеха открывались пропуски (прорехи?) в зубах.

— Я сказал что-то смешное?

Предполагаемый стоматологический дефект во внешности буфетчицы странным образом придал ему уверенности. Я еще могу мечтать, с хрустом распрямил спину Объемов, что женюсь на молодой, заведу детей, а вот она...

— Мне позвонили снизу, сказали, чтобы я записала фамилию кто придет ужинать. Извините, как ваша фамилия?

Началось, поморщился Объемов, сейчас выяснится, что никто для меня ничего не заказывал, и вообще, кто я такой... Бабушка злоба — она как... кислота разъедает мир, пятнает его... прорехами, куда проваливаются несчастные мужики.

— Объемов, — упавшим голосом произнес он. — Согласен, неожиданная фамилия. В словаре Даля...

— А мне, — прыснула в прижатую к губам ладонь Каролина, — слышалось, извините... Обь...

— Знаю, что тебе послышалось, — недовольно оборвал ее Объемов.

В неискоренимом стремлении собеседников переделать его фамилию на непристойный лад он усматривал изначальную испорченность рода человеческого. Объемов вдруг вспомнил, как в библиотеке пытался уточнить фамилию одного забытого писателя. Какую-то он тогда писал статью о советской литературе. На «Ш», сказал он симпатичной интеллигентной



библиотекарше, и вроде бы из трех букв... «Шуй?» — немедленно предположила та. Фамилия писателя оказалась — Шим.

— Я еще подумала, как же человек с такой фамилией живет? — продолжила Каролина.

— На девятом этаже, — открыл дверь в холл Объемов, — в девятьсот седьмом номере.

2.

Еще сквозь серебристые двери спускающегося лифта он услышал копытливый (по Есенину) стук каблуков по обнажившейся плитке. (В коридоре на третьем этаже меняли ковровое покрытие.) Победительную уверенность, ножной размах, отчаянную (а пропади все пропадом!) женскую отвагу услышал Объемов в этом стуке. Так могла идти неведомая Олеся по вызову вознамерившегося ахнуть постояльца. Объемов надеялся увидеть хотя бы ее восхитительную спину, но каблучный стук растворился в лязгающем хлопке двери. Мой удел, горестно вздохнул он, домысливать за жизнью и ахать в пустоту. Коридор с голой, как в больнице или общественном туалете, плиткой мерцал в скупом ночном освещении, как будто по нему бежала сиреневая лунная волна. Она угадала, мрачно подумал про буфетчицу Объемов, моя настоящая фамилия — Обь... только это не я кого-то... а меня... Причем давно и навсегда! Ему вспомнился пожилой профессор-интеллектуал из американского фильма «Уик-энд в Париже», в четырех словах подведший итог своей многотрудной и богатой событиями жизни: «Этот мир меня поимел!»

Вопрос, почему это произошло, был не из тех, ответы на которые плавают как осенние листья в пруду. Они скрыты в толще времени и событий, как алмазы в кимберлитовой трубке. Но может, и нет там никаких алмазов, одна пустая порода. Человек, однако, редко готов себе в этом признаться. Рое тупо и рьяно, изводя себя и мешая жить окружающим. Хотя ответ (любой) на этот вопрос никоим образом не меняет ситуацию к лучшему, а всего лишь, как некий божественный GPS, фиксирует точку нахождения неудачника на карте бытия.

О, как горестна, бесприютна и гравитационно-неотрывна эта подлая точка! Мимо проносятся длинные, как если бы дьявол дразнил голытьбу презрительно высунутым языком, лакированные машины. Из-за ресторанных столиков сквозь звон бокалов и серебряный звяк приборов доносится обнадеживающий женский смех. В банковских хранилищах, искрясь, пересыпаются, как... крупа (неужели тоже дьявольская?), бриллианты, сухо шелестят в счетных агрегатах купюры со щекастыми американскими президентами и разными другими историческими личностями в треуголках, тюрбанах, чалмах, цилиндрах, сомбреро, а то и в леопардовых пилотках или шляпах со страусовыми перьями. Тяжело и устало (тысячелетия минули, все обернулось прахом, а они пребывают в вечной цене) светятся золотые слитки... А вот и преуспевший, но бодрый и подтянутый

(недостижимый идеал Объемова) серебряно-седой (сам Объемов был сед как-то клочковато и тускло) писатель в кашемировом пуловере с бокалом красного вина в руке и горестной (библейской?) мудростью во взоре возник на этой *мимо-картине*. Он спускался по каменным ступенькам особняка в отгороженный от шумной улицы высоким забором сад, то есть в свой персональный прижизненный, увитый плющом, засаженный красивыми кустами и деревьями рай. Этот писатель каким-то образом утвердился в прекрасном и яростном (в смысле недопущения посторонних) мимо-мире, обустроился в нем, как живая муха в податливом сладком янтаре. Он поимел этот мир, сумел влезть в дефис между ним и словом «мимо».

Но это не Объемов, нет, не Объемов... А точнее, это мимо-Объемов.

Здесь-и-сейчас-Объемов, если угодно стоп-Объемов, усиленно (по милости устроителей конференции) отужинав в компании свихнувшейся буфетчицы, сидел на кровати в лишенном излишеств гостиничном номере. Его положение было гораздо более прискорбным, нежели у миллиардов малых сих, дразнимых дизельным дьяволовым языком с мимо-картины. Те просто тупо существовали, вкалывали или бездельничали (не суть важно) и ничего не понимали, как аплодирующая по сигналу хоровика массовка на ток-шоу. А он, Объемов, все понимал и совершенно не нуждался в руководстве хоровика. Он-то знал, что для Бога нет лишних людей. Каждый человек для чего-то нужен Господу, если Он попустил ему появиться из материнской утробы на свет, возвестить о своем прибытии в мир тонким скрипучим плачем. Последующая жизнь миллиардов людей, собственно, и была растянувшимся или сжатым во времени по причине ранней смерти (не суть важно) скрипучим плачем. Этот плач отравлял атмосферу и, видимо, воздействовал на климат, иначе как объяснить ледниковые периоды, когда приветливое лицо Земли надолго скрывается под угрюмым ледяным забралом, а все живое погибает от холода и голода? Причем с какой-то сатанинской мгновенностью. До сих пор ученые не могут объяснить, почему вдруг исчезли косматые, отменно приспособленные к любым холодам мамонты. Некоторые из них вмерзли в лед с недожеванной травой в пасти. Откуда накатил на Землю этот космический холод?

Но победительно установившая в Божьем мире свои порядки невидимая сволочь из мимо-картины не хочет ждать климатических, то есть предназначенных свыше, перемен. Простые люди тяготят ее своим избыточным количеством, главное же, тем, что хотят жить, есть, пить, размножаться, пользоваться благами цивилизации, которых на всех уже давно не хватает. Поэтому из мимо-мира в стоп-мир, как в колонию бактерий, запущено невидимое соревнование программ исчезновения людей. Собственно, приговоренный мир потому и существует в нынешнем, относительно незверском виде, что пока не определена программа-победительница. А как только она определится, судьба мамонтов покажется стоп-людям завидной и счастливой.



Господь, продолжил гибридную — библейско-марксистско-атеистическую — мысль Объемов, вынужденно терпит такое отношение сильных мира сего к возлюбленным малым сим, а потом революционно перезагружает Бытие, как зависший компьютер, смывает зарвавшийся мимо-мир вместе с телевизионно-отупевшим стоп-миром к чертям собачьим. Объемов так и не пришел к окончательному выводу насчет этих чертей. Или у собак какие-то специальные (не такие, допустим, как у кошек или свиной) черти, или же эти черти — в образе собак, быть может, даже в образе людей с песьими головами. Но как тогда быть со святым Христофором, бережно перенесшим лунной ночью ребенка-Спасителя через реку? Этот уважаемый святой почему-то тоже изображался на иконах с песьей головой. А как, интересно, разговаривал святой Христофор, неуместно задумался Объемов. Неужели лаял?

Смытая Господом к непонятным чертям картина мира каким-то подлым образом довольно быстро (хотя в СССР социалистический пейзаж с заводскими трубами, колосющимися полями и счастливыми пионерами продержался семьдесят с лишним лет) восстанавливается, причем непременно в еще более грубом и отвратительном виде. В сущности, это и было, по мнению Объемова, историей, точнее качелями, на которых качалась туда-сюда человеческая цивилизация. Бог хотел одного, люди — другого, в результате получалось что-то третье, что не нравилось ни Богу, ни людям. Жизнь Объемова была горше жизни малых сих, потому что ему было известно, что остановить качели, прыгнуть с них невозможно. После Божественной — революционной, военной, климатической, да хоть метеоритной — перезагрузки все возвращается на круги своя, все надежды на лучшее слизывает дьявол язык. И еще Объемову было непонятно, почему он, Объемов, с его рентгеновским видением вещей, приписан к удобряющему мимо-картину навозу малых сих? Приписан к расходному материалу, а не к тем, кто его расходует? За что такая несправедливость?

Ему вспомнилось одно графоманское произведение, читанное в далекие редакционно-журнальные годы. Непуганый автор из глухой провинции осмелился вынести на суд читателей альтернативный, как принято сейчас говорить, образ ада. Казалось бы, тема, как могучие чугунные ворота, раз и навсегда отворена и затворена великим Данте, а вот поди ж ты... Самым непереносимым наказанием для грешника, к каковым новоявленный исследователь справедливо причислял подавляющую часть отошедших в мир иной людей, было угодить в круг, где новоприбывший (Объемов запомнил формулировку, как если бы она была выбита на мраморе или, как выразился один важный государственный человек, отлита в граните) «*все понимал, видел, чувствовал, а изменить ничего не мог*».

В пустой гостинице было непривычно — до звона в ушах — тихо. Никакие живые звуки не просачивались сквозь стены. Только за дверью в коридоре потрескивала, видимо, готовясь перегореть, лампа дневного

света. Спать почему-то не хотелось. От нечего делать Объемов включил совмещенное с часами радио на прикроватной тумбочке. Воистину, Белоруссия готовилась к великому будущему, а может, уже пребывала в великом настоящем, потому что по радио на русском языке (наверное, еще не успели перевести на белорусский) передавали спектакль по... «Путешествиям Лемюэля Гулливера» Джонатана Свифта. Должно быть, спектакль шел давно, потому что Гулливер уже успел добраться до страны благородных лошадей гуингнмов и странных безобразных существ йеху, существовавших в той великой стране на положении рабочего скота.

«...Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своему строению в точности напоминает человека... В большинстве стад йеху бывают своего рода правители, которые всегда являются самыми безобразными и злобными во всем стаде. У каждого такого вожака бывают обыкновенно фавориты, имеющие чрезвычайное с ним сходство, обязанность которых заключается в том, что они лизут ноги и задницу своему господину. В благодарность за это их время от времени награждают куском ослиного мяса. Этим фаворитов ненавидит все стадо, и потому для безопасности они держатся возле своего господина. Обыкновенно правитель остается у власти до тех пор, пока не найдется еще худшего; и едва только он получает отставку, как все йеху во главе с его преемником плотно обступают его и обдают с ног до головы своими испражнениями».

Ну вот, покачал головой Объемов, кто сказал, что в Белоруссии нет демократии? Он поднялся с кровати и тут же чуть не упал — так резко выстрелила в колено жившая там, как зверек в норке, боль. Зверек вцепился в колено острыми зубками, как бы указывая Объемову его место: лежать, вытянув ногу на кровати, и не рыпаться! Он бы и лежал, да только спектакль резко прервался, словно кто-то дико разгневанный позвонил сверху (возможно ли такое в Белоруссии?) с требованием остановить передачу.

После недолгой паузы сладкий женский голос запел:

Ой, рэчанька, рэчанька, чаму ж ты ня поўная,
 Чаму ж ты ня поўная, з беражком ня роўная?
 Люлі, люлі, люлі, з беражком ня роўная,
 Люлі, люлі, люлі, з беражком ня роўная.

А что, если, подумал Объемов (диничный юмор у него подобно плотине сдерживал напор отчаянья или сумасшествия, он не видел между двумя этими состояниями — сообщающимися сосудами — большой разницы), вместо доклада ограничиться одним абзацем из «Гулливера»? Зачем умножать сущности без необходимости, если великий Свифт еще в XVIII веке закрыл тему? Что, собственно, изменилось с тех пор? Ничего!



Закружилась голова. Сказались девять часов за рулем и... двести, никак не меньше, водки за время усиленного ужина. Трусливое (как определила буфетчица, точнее, не буфетчица, а лицезревший в Умани Гитлера дед) тело жаждало капитуляции, покоя. Белым флагом размахивало и рас-тревоженное сознание, оперативно, как в магазине обоев, подобравшее амнистирующую (и анестезирующую) мысль, что не изменить писателю Василию Объемову мир честным и талантливым словом, если ни Библия — главная книга человечества, ни «Путешествия Гулливера» не смогли это сделать. А вот «Майн кампф», вывернул, подобно носку, мысль наизнанку Объемов, изменить жизнь еще как смогла, правда, не всего человечества, а только немецкого и частично примкнувших к нему отдельных европейских народов... Обои мгновенно поменяли орнамент. Теперь там, как профиль Троцкого на выпущенных в тридцатых годах врагами народа спичечных коробках, угадывалась свастика.

Объемов видел такие — советские и германские — исчищенные коробки в Латвии, в одном из муниципальных музеев «советского тоталитаризма». Они лежали под стеклом рядом. Свастика была составлена из литых (крупшовской стали?) штыков. И вылезающая прямо из пионерского костра бороденка Льва Давидовича казалась острой, как... Неужели ледоруб, помнится, восхитился опережающей время гармонией между преступлениями *демона революции* и определенной ему мерой наказания Объемов. Экскурсовод с гордостью сообщила на неуверенном английском, что подобные музеи открываются в освободившейся от русского ига Латвии повсеместно. Он не сомневался, что пенсионного возраста даме, с подрагивающими руками, в растянутом свитере из секонд-хенда, было бы легче общаться с ним, единственным посетителем музея, на русском, но язык оккупантов был в независимой Латвии не в чести. С соседнего стенда на спрятавшегося в огне Троцкого строго смотрел голубоглазый юноша в форме Латышского добровольческого легиона СС. *«Именем Бога, я торжественно обещаю в борьбе против большевиков неограниченное послушание главнокомандующему вооруженными силами Германии Адольфу Гитлеру и за это обещание я, как храбрый воин, всегда готов отдать свою жизнь»*. Фрагмент присяги был переведен с латышского не на английский, как пояснения к прочим экспонатам, а — видимо, для просвещения таких посетителей, как Объемов, — на русский язык.

Объемов прекрасно понимал, что телесная и умственная капитуляция неизбежна, что время и возраст перетирают человеческую особь в пыль. Этот процесс невозможно обратить вспять. Отсрочить, смягчить, замедлить правильными лекарствами и здоровым образом жизни — да, но не обратить вспять. Остаться в разуме, умереть без мучений — большего, по мнению Объемова, человек не смеет просить у Создателя. Хотя он знал человека (когда-то тот работал с ним в той самой редакции, которую народный философ осчастливил оригинальным образом ада),

маниакально противостоявшего естественному процессу старения, посягнувшего на отцовское право Создателя распределять черпаком кашу жизни по мискам возлюбленных детей своих.

Во времена СССР нуждающимся сотрудникам редакций газет и журналов иногда удавалось получать от государства квартиры. В счастливый олимпийский — одна тысяча девятьсот восемьдесятый — год вышло постановление ЦК КПСС, один из пунктов которого предписывал улучшать бытовые условия молодых работников идеологического фронта. Квартиры в новом доме на окраине (сейчас район считался почти центральным) получили Объемов и этот самый его сослуживец с позванивающей, как колокольчик, фамилией Люлинич. Тогда, впрочем, оба они были относительно молоды и жизнь им казалась такой же бесконечной, как советская власть с бетонными памятниками Ленину, перевыполняющими планы заводами, межконтинентальными ракетами, старцами на трибуне Мавзолея и границей на замке. Колокольчикам Объемова и Люлинича — неважно, кто что под этим понимал, — казалось, еще звенеть и звенеть...

Потом их пути разошлись, но, встречаясь в магазине или на остановке возле дома, они здоровались, обменивались случайными и не всегда достоверными сведениями об общих знакомых, обсуждали последние новости. Объемов привычно ругал власть и жаловался на жизнь. Люлинич никогда не жаловался, только каменел лицом и смотрел куда-то в сторону. Они давно развелись с женами, новых семей не завели. Объемов кормился скудными литературными заработками. Люлинич работал в малобюджетных и малоизвестных газетах, периодически закрываемых властями за пропаганду экстремизма и социальной розни, однако всякий раз возрождающихся под новыми названиями. Когда из-за затянувшегося экономического кризиса и этим газетам выходить стало неважно, Люлинич переместился на патриотические сайты. Власть их тоже была, как мух мухобойкой, но они размножались быстрее.

Окна квартиры Объемова смотрели на забранную в бетонную оправу, как глаза мотоциклиста в овальные очки, восьмерку пруда, вокруг которого со временем образовалось что-то вроде парка с детской и спортивной площадками. Белая сирень мощно разрослась в этом парке, и поздней весной Объемов подолгу стоял на балконе, глядя на кусты сирени, напоминающие сверху нездешних белых овец. Было в них что-то ангельское, если, конечно, ангелы занимаются овцеводством. Иногда поднимался ветер, и ангельское стадо как будто волнисто двигалось куда-то, оставаясь на месте.

С балкона он и стал замечать бывшего сослуживца в спортивном костюме, каждое утро в любую погоду изнурявшего себя бегом вокруг пруда, а затем упражнениями с гантелями и какими-то другими сложными гимнастическими приспособлениями, которые он извлекал из огромной сумки. Завершив упражнения с принесенным инвентарем, Люлинич, как вепрь, кидался на тренажеры, не пропуская ни единого. Особенно почему-то ему нравилось висеть, широко разведя ноги, вниз головой на кольцах.



Каким-то образом Люлиничу удавалось продевать ноги в кольца, а потом из них выскользывать. Глядя на него, Объемов кощунственно вспоминал святого Андрея — покровителя русского флота, распятого именно так, как висел Люлинич.

Он одновременно завидовал могучей воле идущего по стопам Гарри Гудини Люлинича, но и сомневался в необходимости подобного самоистязания. Стоя на балконе, Объемов задирает голову вверх и словно видел свесившиеся с небес устало-натруженные *руки времени*. Этот скульптор мямл ходящих внизу людей, как глину, вылепливая из них смешные, а большей частью грустные фигурки. Одних превращал в лысых, пузатых, страдающих одышкой толстяков — «бродячее кладбище бифштексов», как когда-то написал Ремарк. Других — сушил, как хворост, вгонял в непреодолимую худобу. Они ходили — со спины молодые, с лица же — складчато-морщинистые, как яйца носорога. Это уже определение Хемингуэя, славно поохотившегося в свое время в Африке на львов, антилоп и, надо думать, носорогов.

Руки времени вытворяли что хотели, руководствуясь одной им понятной логикой. С таким же успехом (для одних) и неуспехом (для других) они могли вообще ничем не руководствоваться. Одни люди не знали, что такое утренняя зарядка и физические упражнения, мощно ели и пили, понятия не имели о холестерине, простатите, аденоме и атеросклерозе, но доживали до глубокой старости в разуме и отменной физической форме. Другие вели исключительно здоровый образ жизни, ходили к врачам, сдавали раз в полгода, а то и чаще на анализ кровь и мочу, мыли по сто раз на дню руки, шарахались от сосисок, чипсов, кока-колы и алкоголя, однако почему-то умирали раньше, чем самые отвязные чревоугодники и алкоголики.

Объемов обнаружил подтверждение этой раздражающей приверженцев стандартного взгляда на мир — дважды два всегда четыре! — мысли на примере... дров, которые раз в три года привозили ему в деревню на тракторе местные люди. Дрова прибывали в виде толстых чурбаков, колоть которые Объемов предпочитал сам. Ему нравилось это укрепляющее тело занятие. Где-то он вычитал, что колка дров оптимальна в плане распределения нагрузки на мышцы человека. Потому-то, делал вывод Объемов, великие люди (даже Ленин в Шушенском!) так любили колоть дровишки. Должно быть, им казалось, что вот так они расхреначивают тупой, опостылевший, не способный к революционному преобразованию мир.

Обычно он не успевал разрубить все чурбаки за один сезон, часть из них оставалась зимовать на участке. Когда он, счистив ржавчину с колуна, приступал к ним следующей весной, одни оказывались внутри с трухой и муравьями, а другие — из той же партии «однодеревцы», точно так же пролежавшие несколько месяцев на мокрой земле — необъяснимым образом окаменевшими, ссохшимися в желтый монолит. Колун от-

скакивал от них, как мячик от асфальта. Из них определенно можно было изготавливать те самые гвозди, которые поэт предлагал делать из революционеров-ленинцев. Так и прочие люди, делал Объемов очевидный вывод. Одним — крепкое здоровье до смерти, другим... понятно что, как бы они себя ни изнурили бегом и упражнениями.

Продолжая «топориную» (неологизм Солженицына) тему, одни чурбаки он сравнивал... с женщинами, каких держал на примете и какие были бы очень удивлены, а возможно, и оскорблены, узнав о его эротическом планировании. Он загадывал: со скольких ударов та или иная расколется под напором его страсти? Другие чурбаки олицетворяли писательскую славу. Сколько лет должно пройти, зверски обрушивал колун на деревянные, как если бы они были издателями, критиками и читателями, головы Объемов, прежде чем общество по достоинству оценит его произведения, воздаст автору по заслугам, прольет на него золотой гононарный дождь?

Случалось, олицетворявший женщину и казавшийся несокрушимым чурбак раскалывался с одного удара, а следующий (литературная слава) держался, как будто был из стали. Объемов видел в этом противоречивую правду жизни. С женщинами еще туда-сюда, с признанием — никак.

Люлиничу, похоже, не хотелось быть глиной в руках времени, он вознамерился сыграть в игру «сам себе скульптор». Однажды, прогуливаясь в сумерках (любимое время) вдоль пруда, Объемов сказал работавшему на скамейке с тяжелой ушастью гантелей Люлиничу: «Пожалел бы себя». — «Рад, но не могу». Люлинич тяжело дышал, на красном лице дрожали капли пота, вены на изнуряемой гантелей руке напоминали синие провода. Меньше всего он походил на человека, получающего удовольствие от физических упражнений. Скорее на тянущего из последних сил баржу бурлака. «Что так?» — поинтересовался Объемов. «Хочу увидеть, чем все это закончится, — прохрипел на выдохе Люлинич, — как всю эту сволочь поволокут из их дворцов *на правеш!* Может, — перевел дух, — и мне, рабу Божьему, выпадет счастье поучаствовать...»

Однако время в подобных играх неизменно выигрывало, потому что у него на руках были непобиваемые (тяжелее любых гантелей) козыри. И вообще оно было хозяином всех заведений. Кто слишком рьяно, как Люлинич, «звенел» в своем заблуждении, тех оно выпроваживало из-за карточного стола (спортивного зала) с угрюмым, как в случае с Троцким и ледорубом, юмором.

«Ваш приятель из третьего подъезда сегодня утром помер, — общила в один прекрасный (не для Люлинича) день Объемову сидевшая на первом этаже в стеклянной выгородке консержка. — Добегался. Прямо в грузовом лифте. Из сто шестьдесят второй армяне съезжали, а он в лифте упал, голову разбил о дверь. Кровищи — как из быка. Армяне не стали трогать. Вытащим, говорят, а потом доказывай... У них две “газели” у подъезда, половина вещей на улице. Вызвали “скорую”, потом



милицию, извиняюсь, полицию, перекрыли проезд. Полицейские злые приехали, армян мордами вниз на лестничную клетку, пока врач не сказал, что он от сердечной недостаточности... Таксисты с газельщиками внизу подрались: почему вещи на асфальте, где хозяева? В общем...»

«Беда...» — вздохнул Объемов, соображая, как ему реагировать на смерть Люлинича — интересоваться, сообщили ли родственникам, когда ожидаются похороны, или просто горестно вздохнуть и уйти.

«А вот не скажите, — неожиданно возразила консьержка. — Праздник».

Звали ее Аллой Петровной Белокрысовой, о чем извещала аккуратная табличка на углу стола, будто Алла Петровна была важной личностью и сидела не в подъездном «аквариуме», а на каком-нибудь совещании или симпозиуме.

Она отчасти оправдывала свою фамилию — остролицая, неразборчивого возраста, быстроглазая, с неподтвержденным, как у крысы из сказки Андерсена «Оловянный солдатик», правом интересоваться паспортами жильцов. Объемов давно присматривался к этой, с позволения сказать, консьержке, на довольствие которой сдавал каждый месяц триста пятьдесят рублей. У нее было три (из известных Объемову) занятия: читать книги, от которых активно, как если бы их хранение являлось (мысле) преступлением, избавлялись обитатели подъезда; поливать тесно стоящие на ненормально высоком подоконнике комнатные растения — от них жильцы тоже, хотя и не так бескомпромиссно, как от книг, избавлялись; метить почтовые ящики бумажными ленточками с неприятным словом «задолженность». Когда на улице был ветер, а кто-то открывал дверь в подъезд, ленточки трепетали на ящиках, как на квадратных бескозырках.

Какая-то эта консьержка была ускользящая, то приветливая и угодливо-прилипчивая, то в упор не замечавшая Объемова. И неожиданно для своего хоть и неразборчивого, но определенно не девичьего возраста шустрая. Однажды она прямо на его глазах, совсем как балерина из все той же сказки Андерсена, легко влетела, правда, не в открытую печь, где плавился оловянный солдатик, а на высокий подоконник, где теснились спутавшиеся ветками бездомные растения, чтобы открыть форточку...

«Праздник? — опешил Объемов. — Для кого?»

«Для всех, — пояснила Белокрысова, — а в первую очередь для покойника. Ничего не надо. Тишина. Он свободен. Я думаю, рай — это тишина».

«Тишина и... свобода», — тупо повторил Объемов. Ему снова вспомнилась бумажная андерсеновская балерина. Он подумал, что надо гнать эту крысу, пока она не подожгла дом, не развинтила газовую трубу, не впустила в подъезд банду террористов. А еще лучше проверить у нее самый паспорт. Как спастись, ужаснулся он, если лифты встанут, а черная лестница наглухо забита разным хламом?

В это время худой, прыщеватый, с забранными в хвостик волосами на затылке юноша в обвисших, как поруганное знамя, шортах (в моло-

дежных сетевых сообществах таких называют «задротами») с грохотом втащил в подъезд велосипед. Консьержка поинтересовалась, чистые ли у велосипеда колеса, но задрот, буркнув: «Отвянь, мать!», проигнорировал вопрос.

«Разве это правильно?» — осведомилась Белокрысова у Объемова, когда задрот, шевеля челюстью и перебирая ногами в садинах и синяках, как паук, загрузился со стонущим велосипедом в лифт.

«Что — правильно?» Вопрос показался Объемову по аналогии с собственной фамилией чрезмерно объемным.

«Что такие живут», — просто объяснила Белокрысова.

«Не торопятся на праздник?» — уточнил он.

«Лучше пусть бы ваш приятель жил, он хоть... сами знаете, — со значением произнесла консьержка, — чем этот...»

Худой, как велосипед, задрот не вызывал у Объемова ни малейших симпатий, однако так резко ставить вопрос он был не готов. А она, это... еще ничего, гадко, но отстраненно, как будто и не он вовсе, а какой-нибудь герой Достоевского (типа Свидригайлова или Ставрогина), подумал Объемов, худенькая, а грудь... Личико, правда... Он понял, что это реакция сознания на непривычную для него, сознания (в плане развития темы), ситуацию. Не сказать, чтобы сознание в данном случае проявляло себя с лучшей стороны. Так ветер, усиливаясь, первым делом поднимает с асфальта мусор.

«Что-что?» Объемов на мгновение как будто потерял равновесие, утратил координацию внутри собственной личности, явственно ощутил внезапную и необъяснимую власть Белокрысовой над собой. Похожим образом цыганки, мелькнула мысль, выманивают у доверчивых граждан деньги, а те потом не понимают, как это могло произойти. И не только цыганки. Дальше думать на эту тему не хотелось.

«Посмотрите вокруг, — между тем продолжила Белокрысова, — посмотрите на себя, на меня. Как мы живем? У нас отняли жизнь. Ваш приятель понимал... Так что еще неизвестно, кому больше повезло — кто уже на празднике или кто... — вдруг заговорщически подмигнула Объемову, — только собирается».

Кто посадил сюда эту ведьму, ужаснулся он, надо переговорить с участковым, со старшей по подъезду... Однако, вспомнив участкового (кажется, его фамилия была Гасанов, пару месяцев назад он, с трудом подбирая русские слова, показывал жильцам размытую серую фотографию бородатого, в глубоко натянутой на уши вязаной шапочке человека), вспомнив старшую (восторженную идиотку в пелерине, на шпильках, с тремя путающимися в поводках, нервно твякающими пуделями), отказался от этой мысли. Но все же сделал неуверенный шаг к «аквариуму». Белокрысова слегка сместилась в своем кресле на колесиках, и Объемов увидел черную резиновую дубинку, лежащую на тумбочке как раз под правой рукой консьержки. В девяностые годы такими дубинками, их тогда называли «демократизаторами», омовцы избивали демонстрантов,



протестующих против антинародной политики Ельцина. А еще Объемов разглядел на стене в закутке то ли фотографию, то ли репродукцию в рамке под стеклом, на которой, к немалому изумлению, узнал... Гитлера. Фюрер, молодой и стройный, в стильном черном кожаном пальто с поднятým воротником, пронзительно смотрел в глаза замордованным Версальским мирным договором соотечественникам. Ну да, никто не помнит, как он выглядел в молодости, подумал Объемов, поэтому и повесила. Кто догадается?

«Рахманинов, — отследила его взгляд Белокрысова. — Середина двадцатых. Редкая литография. Дочь купила в Буэнос-Айресе на блошином рынке».

«Великий композитор», — с трудом отклеил взгляд от литографии Объемов.

«Он еще сыграет свой ноктюрн», — сказала ему в спину Белокрысова. А когда Объемов шагнул в лифт, добавила: «С большим симфоническим оркестром».

3.

Глядя из окна на освещенную крепость (она напоминала огромный зубчато-башенный шоколадный торт), на ночное, цвета вяленой рыбы, озеро, на несущиеся по небу, как если бы эти самые вяленые рыбы вдруг стали летучими, облака, Объемов подумал, что у Люлинича не было шансов преуспеть в *своей борьбе*. Тело одержало полную и окончательную победу, смахнув с доски второго игрока. Люлинич обманчиво полагал, что тело можно наладить в обратный путь — от старости к молодости, от увядания к цветению, но не учел, что, дойдя до определенной, известной только ему, телу, точки, оно срывается, как стрела с натянутой тетивы, катапультируется в небытие. Поэтому, сделал несложный вывод Объемов, не следует насильно навязывать телу свою борьбу. Как и народу, невольно продолжил мысль, ту или иную идеологию. Не факт, что они (тело и народ) обретут *радость через силу*. Записав это в блокнот как возможный тезис для выступления на конференции, Объемов страным образом успокоился. Настроение улучшилось. Неправильные мысли вносят в сознание разлад, лишают человека покоя и уверенности, подумал он, ведут к психическим и вегетативным расстройствам. Правильные же, пусть даже чисто умозрительные, обезволенные, они... как бальзам, как влажный компресс на больную голову.

Но сознание (больная голова) в силу непонятных, точнее, понятных, однако по умолчанию оставляемых за скобками причин упорно, как алкоголик к спиртному, тянулось к неправильным мыслям. Объемов объяснял это тем, что неправильные мысли несли в себе заряд удручающей ясности относительно природы человека и общества в целом, были чем-то вроде негатива Божественной истины. Той самой, от которой человек бежал, как заяц от орла. В темных линиях и перекрестьях этого негатива

многие люди искали — и, самое удивительное, находили! — смысл, уродливую красоту и оправдание собственного существования. Их сознание смецалось с Божественного «кремнистого пути» с говорящими в небесах звездами на нехоженные тропы, где отсутствовали правила движения. Эти тропы вели в никуда, неизвестно куда, куда угодно, но только не туда, куда надо. Хотя случались исключения. Божественный ветер, а может, Божественная птица перенесли с нехоженных троп на общечеловеческое поле избранные зерна: Иисуса Христа, Мухаммеда, Будду, апостолов, святителей, пророков, страстотерпцев и прочих отличников божественно-политической подготовки. В колючем огненном кусте на нехоженой тропе вблизи поля, в неопалимой купине, скрывался и грозный Б-г иудеев. В этот куст могла сунуться только (неизвестно, Божественная или нет) огнестойкая птица феникс. Но это, похоже, пока не входило в ее планы. Избранная истина, таким образом, прорастала на свет из (огненной?) тьмы, оставляя во тьме тьму низких (не избранных), испепеляющих мир и людей истин. Собственно, в пространстве между тьмой низких (повседневных) истин и единственной избранной — и существовал Божий мир.

Объемов не уставал восхищаться совершенством системы противопожарной безопасности, мощью сдерживающих тьму безумия редутов, возведенных Господом в дурных человеческих головах. Чем-то это напоминало необъяснимое неприменение ядерного оружия в давно готовом, если не страстно желающем, пустить его в дело мире.

Входя в метро, он всякий раз радовался спокойствию и отрешенности разновозрастных и разноплеменных пассажиров в вагоне. Все сидели, уткнувшись в смартфоны, никто не рычал, не ревел, не бросался, ощерив зубы, на соседей. И в то же самое время Объемов явственно ощущал иллюзорность многонационального смартфонного покоя, как если бы под тихой речной гладью невидимо рвал воду в клочья острыми, как серпы, плавниками глубинный монстр. Смартфонные люди как будто не в метро ехали, а плыли в надувных лодочках по той реке... Господь, делал странный вывод Объемов, удерживал равновесие в мире посредством смартфонов, айфонов и прочих... гаджетов. (Отвратительное, враждебное русскому языку двухкоренное — гад и ад — слово!) Пространство между истинами вынуждало человека делать выбор в пользу одной из них. Пространство вне истины избавляло от этого. Гаджеты, таким образом, являлись средством перемещения в виртуальный мир вне истины, мир без выбора. В некую резервацию, отстойник определил Господь возлюбленных чад своих, чтобы принять окончательное решение относительно их судьбы. Объемов верил в бесконечную милость Господа, но у него не было никаких иллюзий насчет того, каким будет это решение.

...А потом он, похоже, задремал на неразобранной кровати под дробь дождя по подоконнику и душевные белорусские песни из приемника, потому что вдруг обнаружил себя двадцатилетним студентом-практикантом в редакции журнала «Пионер» на одиннадцатом этаже газет-

но-журнального корпуса издательства «Правда» в Бумажном проезде напротив Савеловского вокзала.

Будущего журналиста Васю Объемова определили на два летних месяца в отдел писем детского журнала, посадили за желтый, с выдвижными (через один запертыми) ящиками стол, выдали специальную электрическую машинку для вскрытия запечатанных конвертов. Машинка напоминала железную ладонь. На эту ладонь следовало положить письмо и слегка подтолкнуть его в сторону ворчливо крутящегося в глубине машинки круглого лезвия. Оно как по линейке срезало с конверта тонкую полоску, после чего письмо легко, как худая нога из просторной штанины, извлекалось из конверта. Но этой операцией дело не ограничивалось. На письменном столе Васи Объемова лежала стопа разграфленных фиолетовых картонных карточек. В них следовало вписать: имя и фамилию отправителя; его почтовый адрес с индексом; а также краткую информацию о содержании письма. Конверты и извлеченные из них письма прикреплялись к карточке скрепкой. Это называлось регистрацией поступившей почты. Каждое утро с распределительного почтового узла издательства «Правда» в редакцию журнала «Пионер» поступал прошитый веревкой бумажный мешок с сотней, а то и больше, писем от юных, взрослых, пожилых, а иногда и выживших из ума читателей.

Помимо Васи, учетчиками писем (так называлась эта низжайшая в редакционной иерархии должность) были еще две девушки: Света (от нее постоянно пахло потом) и Марина — жена офицера-подводника (она благоухала терпкими, с горчинкой духами). Была еще и третья учетчица (ушедшая в декрет), за чьим столом и расположился временно Вася. Сунувшись однажды в незапертый ящик стола в поисках стержня для шариковой ручки (карточки высасывали их, как фиолетовая пустыня), он обнаружил под аккуратно вырезанными из иностранных журналов фотографиями стройных дам в красивых платьях и неряшливо выдранными из советского журнала «Работница» пересохшими выкройками длинную пулеметную ленту «изделия № 2» Баковского завода резиновых изделий. Ну да, успел подумать Вася, перестала использовать и... сразу в декрет. Он покраснел, явственно ощутив знакомый запах этого оставляющего на руках белую пыль изделия, хотя наглухо запечатанные мятые квадратики с рельефным колечком по центру не могли его издавать. Это был фантомный, психический, тревожный запах. К двадцати годам Вася приобрел некоторый сексуальный опыт, неотъемлемой частью которого была неуверенность в надежности отечественного (индийские тогда еще не появились) изделия. Были, были в Васиной практике случаи, когда, контрольно опустив глаза долу, он обнаруживал вместо изделия одно лишь плотно прикипевшее белое резиновое кольцо в юбочке лохмотьев. И девушки, делившие с ним радость любви, даже если изделие по окончании любовной радости внешне выглядело молодцом, часто отправляли Васю в ванную для его проверки. И он стоял у зеркала над раковиной, тупо разглядывая наполненный водой пузырь с плавающими белыми головастиками, а заодно и собственную противно-самодовольную физиономию.

Впрочем, только первую неделю Вася смущался, перелетая в кабине, как бабочка или пчела, от запаха горячего девичьего пота к запаху разогретых женским телом духов с горчинкой и — фантомному запаху изделия № 2 Баковского завода. Вскоре они слились в единственный упоительный запах сексуальной вольницы (философы называли это дело *эросом*), преобразивший и наполнивший унылые крысино-канцелярские будни замещающего временно вакантную должность учетчика писем студента.

А как могло быть иначе в женском коллективе, гимном которого была сомнительная, неизвестного происхождения песня:

По аллеям тенистого парка
С пионером гуляла вдова.
Пионера вдове стало жалко,
И вдова пионеру дала.

Почему же вдова пионеру дала
В эту темную ночь при луне?
Потому что сейчас
Каждый молод у нас
Вечно юной Советской стране!

Вася и оказался таким вот несознательным пионером в перегретом разновозрастными женскими телами тенистом парке. Он даже взял на себя смелость изменить одну из строчек гимна: «Пионеру с вдовой стало жарко, и вдова пионеру дала». Лето в тот далекий год и впрямь выдалось жарким и дымным: под Москвой горели леса и торфяники.

А еще он припомнил (во сне), что этажом ниже располагался отдел писем самого многотиражного (кажется, более десяти миллионов экземпляров) журнала в СССР — «Здоровье», где трудилась рота, никак не меньше, девушек-письмоводительниц. Тенистый парк воистину не знал границ, и были эти границы отнюдь не на замке. Никогда больше в своей жизни писатель Василий Объемов не попадал в столь сладостные кущи *под сенью девушек в цвету*. Так назывался роман популярного в то время в СССР французского писателя Марселя Пруста. Даже в редакции журнала «Пионер» слышали о нем. На черном рынке этот непростой для понимания простого советского человека роман стоил в десять раз больше вытесненной на обложке цены. Но простой советский человек хотел его читать и был готов переплачивать. Это была одна из странностей или загадок социализма. Казалось бы, что за дело советской учительнице или советскому геологу до какого-то эстетствующего Свана, жившего сто лет назад в Париже?

Ну почему, почему, вертелся сверлом спустя годы в одинокой холодной постели писатель Василий Объемов, я был так труслив и сдержан в тенистом парке под сенью девушек в цвету? Почему не прочесал его вдоль и поперек широким бреднем? Но как легкий ветерок сквозило



понимание (опять же во сне), что потому-то и распахнулись приветливо перед ним ворота парка, что был он там временным, если не случайным гостем, с которого, как говорится, взятки гладки. Отрубил практику, и гуд-бай!

Он привередничал, пренебрег по эстетическим соображениям похожей одновременно на милого зайчишку и добрую сказочную лягушку девушкой с широко расставленными глазами из журнала «Здоровье». Не попадая своими глазами в ее, утыкаясь в белый шлагбаум лба, Вася вспоминал строчку Велимира Хлебникова: «*На серебряной ложке протянутых глаз я прочел разрешение войти*», изумлялся размеру этой самой даже не ложки, а... поварешки. Девушку все звали Зямой. Вася как-то не удосужился узнать ее имя и фамилию. Зяма и Зяма. Однажды они стояли в очереди в столовой и она рассказала ему, что вступила в переписку с маркшейдером из Сыктывкара, написавшим в «Здоровье» о постельных неладах с женой. Зяма в ответном послании на бланке редакции привела слова Антуана де Сент-Экзюпери о том, что любить означает смотреть в одном направлении, посоветовала ему быть выше презренной физиологии. Но маркшейдер не внял, прислал ей заказным с уведомлением письмом... сперму в полиэтиленовом контейнере с просьбой исследовать ее в секретной космической лаборатории на наличие неведомых, отрицательно заряженных *спермоионов*. Маркшейдер утверждал, что таинственные спермоионы угрожают существованию человечества как биологического вида. С их помощью инопланетные пришельцы по своей программе трансформируют ДНК человека. Получив дозу, баба становится невменяемой, рождает скрытого мутанта, а ничего не подозревающие мужики заражаются этой дрянью через... изделие № 2! Глядя на Васю широко расставленными стрекозьими глазами, Зяма поведала, что вечером в Доме культуры «Правды» будут показывать фильм «Точка, точка, запятая...», она пойдет, потому что живет через два дома на улице Правды, мать уехала на дачу, а ей скучно. Но Вася лишь неопределенно пожал плечами. Название фильма почему-то навело его на мысли о наполненном водой резиновом пузыре, где плавали белые точки, точки и запятые, вполне возможно, отравленные инопланетными спермоионами. Круг замкнулся. Вот так глупо он поставил точку в отношениях с Зямой, пронес мимо рта длинную серебряную поварешку.

А с опытной замужней красавицей Мариной, любительницей терпких духов с горчинкой, он лениво встречался в подвальной мастерской иллюстрировавшего тексты журнала художника на Башиловской улице, иногда даже не предупреждая ее, что не придет. Марина, нервно теребя рукава красивого белого свитера, ждала его среди подрамников и неоконченных рисунков, откуда на нее задорно смотрели салютующие пионеры в красных галстуках. Потом, наверное, найдя по пятнистому, как шкура гиены, дощатому полу, сидела на низкой раздолбанной тахте (художник называл ее *спермодромом*), грустно глядя на черную гроздь висящего на стене допотопного (из Смольного, шутил художник) теле-

фона. Утром в редакции Вася только разводил руками в ответ на упреки Марины: не получилось, звонил — не дозвонился, потом уже было поздно. И она прощала его, и он, идиот, думал, что так будет всегда...

Только значительно позже, переместившись из тенистого влажно-го парка в сухую и скупую (на ответное женское внимание) лесостепь, а может, и полупустыню, писатель Василий Объемов понял, что период наибольшего благоприятствования со стороны женщин предоставляется мужчине на короткий срок и в исключительных обстоятельствах. Как ипотека, проценты за которую превышают лихо истраченный кредит. Формула «тело — товар — любовь» сезонна, пока тело молодо и... глуповато. Потом товарная востребованность тела растворяется во времени и пространстве, ее не вернуть физическими упражнениями, какими, например, занимался Люлинич. Почему он его вспомнил во сне?

Каждое утро срезанные машинкой с почтовых конвертов полоски, как бумажная вермишель, наполняли мусорную корзину. Стопки писем, увенчанные фиолетовыми карточками, раскладывались по папкам. Стихи к стихам, рассказы к рассказам, рисунки к рисункам. Некоторые сообщения — о конфликтах и интригах в пионерских отрядах и октябрятских звездочках (были и такие!) — передавались в отдел пионерской жизни, где их внимательно изучали сотрудницы. Если затронутые в письме вопросы представлялись важными, в журнале появлялась установочная статья, разъясняющая подрастающему поколению, что делать, кто виноват и как надо жить.

Когда папки наполнялись, за письмами наведывались литконсультанты. Детские рассказы забирала тонкая, как удочка, седая прокуренная дама со следами былой, но какой-то измученной красоты. «Боже, опять про войну и Павлика Морозова, — помнится, вздохнула она, быстро перебирая письма, когда Вася увидел ее в первый раз. — А вот еще про... вожатого. Он что? Съел... ежа? Каким образом? Хотя... я как-то отведала рагу из ежа с запаренной хвоей на гарнир. Под Благовещенском, в тайге на лесоповале, в поселке Свободном в новогоднюю ночь. В Свободном не было ни одного свободного человека. У меня начиналась цинга. Мне тогда было столько же, сколько вам сейчас, — посмотрела сквозь табачный дым, как сквозь колышущуюся сиреневую пелену времени, на Васю. — Меня, кстати, после этого праздничного ужина собирались расстрелять за издевательство над негнибачимым сталинским наркомом товарищем Ежовым. К счастью, его вскоре сняли с должности, и мне добавили всего лишь пять лет за хулиганство. Вам не приходило в голову, молодой человек, — внезапно сменила тему седая дама, — что еж — это скрытый символ социализма, его — по Карлу Густаву Юнгу — архетип? Наш народ сидит на нем голой жопой, а ежик-то, как в детском анекдоте, давно сдох и воняет...» Вася сразу вспомнил этот анекдот — как бабушка прятала внука от трамвайных контролеров под юбкой — и несколько смутился, живо и гадко представив себе благородную седую даму в образе



той народной бабушки. А себя... неужели в образе внука? Он хотел возразить, что на бабушкин век точно, да, пожалуй, и на его тоже, советского ежика (в рукавицах или, как сейчас, в мягких варежках) хватит, но заметил, что Марина за спиной узницы сталинских лагерей выразительно крутит пальцем у виска. «Интересно, как этот вожатый снимал с ежа шкурку? Не так-то просто ее стащить...» — между тем продолжила седая дама, закурив новую сигарету, и Вася понял, что Марина права.

Рисунки оценивала другая, столь же почтенного возраста особа, но широкая в кости, с тяжелым громким шагом, как будто вместо ног у нее были гири, и ледяным, пронизывающим собеседника взглядом. Когда ее знакомили с Васей, тот сразу вспомнил, как наврал редакционной кадровичке про то, сколько раз в неделю должен являться на работу. Вася закосил один библиотечный день, которого не существовало в природе. Он подумал, что, окажись на месте легковерной кадровички эта тетя с заиндевевшими глазами, номер у него бы не прошел. Перед ней робел даже главный редактор. Заслышав чугунную поступь в коридоре, он выходил из кабинета, чтобы почтительно поздороваться. «Смотрю, угрелся ты тут с бабьем, — заметила угрюмая особа Васе, когда они остались в кабинете одни. — Следи за шириной!» — «В каком смысле?» — растерялся Вася, только полчаса назад уединившийся с Мариной в подсобном помещении среди швабр, синих рабочих халатов, горнов, барабанов, коробок с пионерскими пилотками и знамен. Самое большое и мягкое знамя, бордовое, рытого бархата, с золотыми буквами (должно быть, *переходящее*), у них перешло на списанный письменный стол. «В прямом», — ответила суровая бабушка, указав пальцем на Васину ширинку, которая и впрямь, к его ужасу, оказалась расстегнутой. Нечего и говорить, что детский анекдот про ежика применительно к ней показался ему совершенно неуместным и даже кощунственным.

В редакции Васе объяснили, что пожилые дамы всегда вызываются за письмами в разные часы. Им нельзя встречаться, потому что эти встречи заканчиваются плохо. Одна из них просидела при Сталине двадцать лет в лагерях, как контрреволюционерка и дочь белогвардейца. Другая — до пенсии работала в *органах*, а именно в многотиражной газете центрального аппарата НКВД-МГБ-КГБ на Лубянке, рисовала там карикатуры на врагов народа и мягкотелых следователей. Однако лагерница почему-то была убеждена, что мнимая карикатуристка сама была следователем, причем отнюдь не мягкотелым.

Детскими стихами занимался суетливый, спившийся, с трясущимися руками поэт с замотанным в шарф горлом. Он носил его в любую погоду, наверное, даже спал не разматывая. Шарф походил на петлю, а сам поэт — на сорвавшегося с виселицы бродягу из романов Диккенса. Его, как рассказали Васе, постоянно хотели выгнать (он вечно путал адреса, имена детей, терял письма), но как только доходило до дела, начинали жалеть. Всем без исключения юным стихотворцам этот, с позволения сказать, литконсультант советовал внимательно изучить статью Маяков-

ского «Как делать стихи?» и ознакомиться с поэмой Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». В одном из писем оба совета у него, как капельки ртути, слились в «Как делать стихи на Братской ГЭС?». Руководительница детского литературного объединения из куйбышевского Дворца пионеров, получив ответ и обдумав неожиданное предложение, направила в редакцию благодарность «За вклад журнала в пропаганду советской культуры и коммунистического отношения к труду среди школьников младшего и среднего возраста». Поэта можно было вызывать за письмами в любое время. Иногда, когда он был, как сам выражался, «при деньгах», то есть в выплатные дни, он угощал девушек и Васю коньяком из фляжки, которую профессионально прятал при малейшем шуме в коридоре, и шоколадными конфетами. «Запомни этот день, сынок, — сказал он однажды, нацеживая Васе прыгающей рукой в стакан коньяк. — Скоро тебе будет этого не хватать». И кивнул на изгибисто, со сладостно-неприличным стоном потянувшуюся (руки за голову, ноги широким циркулем) да так и застывшую в этой позе Свету. Окно было открыто, и запах пота практически не ощущался. Потом поэт перевел затуманенный взгляд на Марину, явившуюся в тот день на работу в мини-юбке. Раскинувшись в кресле, она курила сигарету, забросив ногу на ногу, так что мини-юбка на ней превратилась в юбку-невидимку. «Очень, очень скоро, сам не заметишь, — прошелестел одними губами поэт, — поэтому запоминай, запоминай...» — «А еще я запомню... твой шарф», — неизвестно почему подумал Вася, но оказалось, что произнес эту странную фразу вслух. «Точно! — обрадовался поэт и посмотрел на него как на внезапно поумневшего младшего брата. — Когда-то он был разноцветный, с блестками. А сейчас?» — «Трудно сказать», — пожал плечами Вася. Ему было противно смотреть на прожженный, в пятнах и табачных крошках шарф. И все-таки он почему-то смотрел. У шарфа не было цвета. «Это жизнь. Поэтому... запоминай, — повторил поэт, — и... лети, беги, ползи». — «Куда?» — удивился Вася. «Не знаю, но прочь, прочь, пока... дышишь, пока он тебя не придушил», — полез в карман за фляжкой поэт. Рука прошла мимо, однако он этого не заметил, продолжая нащупывать фляжку в воздухе, как если бы воздух был большим и пустым карманом.

За каждый ответ литконсультанты получали по рублю. Иногда, если в редакции обнаруживались неизрасходованные по статье «работа с письмами» деньги, а ответы радовали логикой и легкостью слова, гонорар увеличивался на двадцать пять копеек. За два ответа, произвел в первый же день нехитрые математические вычисления Вася, можно было купить бутылку водки «Кубанская» (два рубля шестьдесят две копейки) или, чуть доплатив, бутылку белого вина цинандали (за два семьдесят).

Раскладывая ответы по конвертам, Вася, случалось, вникал в их содержание. Ему было трудно отделаться от мысли, что ремесло литконсультанта (особенно когда он читал торопливые, часто в винных и помидорных потеках, а один раз с присохшим хвостиком кильки, отписки



поэта) ему очень даже по плечу. Через неделю работы в редакции он сам был готов сочинить статью «Как делать ответы на письма?». Даже и на Братской ГЭС.

Его час пробил, когда узница сталинских лагерей наконец получила от компетентных органов (волокита длилась не один год) разрешение на поездку во Францию к сестре. Год назад эта увезенная в Гражданскую на последнем пароходе из Крыма сестра овдовела и дети определили ее в дом престарелых под Парижем. В ее комнате, сообщили они, вполне можно временно установить вторую кровать для тети из СССР. Французские родственники обещали оплатить пострадавшей в сталинские годы тете двухнедельное (с питанием) пребывание в доме престарелых и обратный билет в Москву.

Марина уговорила главного редактора поручить отвечать на письма Васе. Редактор вытащил наугад из прошитого белой веревкой утреннего почтового мешка несколько конвертов с детским почерком, велел Васе подготовить по всей форме (на редакционных бланках) ответы и принести ему. Внимательно изучив ответы и даже кое-что исправив (стандартное обращение «Дорогой друг!» он почему-то заменил на официально-фамильярное «Здравствуй, Дима Соловьев!»), редактор сказал, что до конца месяца Вася будет отвечать бесплатно, так сказать, набивать руку, а с первого августа его оформят по договору на месяц стажером отдела писем. По рублю, уточнил редактор, мы тебе все равно не сможем платить, у тебя нет законченного высшего, попробуем по семьдесят пять копеек, если бухгалтерия пропустит. Он вызвал кадровичку и дал ей указание немедленно (задним числом) расторгнуть договор с отъезжающей в Париж старой белогвардейской шпаной и заключить — с подающим надежды молодым журналистом и комсомольцем Василием Объемовым. «Надеюсь, ты комсомолец?» — с подозрением посмотрел на Васю редактор. «Заместитель комсорга группы», — бодро повысил свой общественный статус Вася, забывший, когда платил последний раз взносы. «Как же так? — хлопнула глазами кадровичка. — Она же через месяц вернется!» — «Тогда заключим с ней новый договор, — разозлился редактор, — а с этим... расторгнем!»

Потом во сне писателя Василия Объемова пошел снег. Был он совсем нехолодный и очень крупный. Приглядевшись, Вася (во сне у человека возраста нет) увидел, что это не снежинки падают с неба, а... белые пионерские письма. За время практики Вася ответил, наверное, на сотни, но во сне по его душу поступили (повторно) лишь избранные места из переписки с юными сочинителями.

Рассказ о красивом взрослом «марсиане». Его прислала девочка, называвшая себя, видимо на марсианский манер, вибрирующим, как железная пила, именем Матилла. Васе не очень понравился этот взрослый марсиан, встречавший Матиллу после уроков в парке. Он посоветовал девочке обязательно рассказать о марсиане маме, записаться в кружок

юных астрономов, а главное, заняться спортом, желательно самбо, чтобы в случае чего...

Написанная недобрым извилистым почерком «Баллада о Снегуре в трех тетрадах. Первая тетрадь: Юность Снегура». Вася, не дожидаясь второй тетради, когда Снегур возмужает, посоветовал автору не прикидываться пионером, а отправить балладу в «Новый мир», «Октябрь» или «Юность». Где, демагогически вопрошал юный литконсультант, должна увидеть свет «Юность Снегура», как не в популярном молодежном журнале «Юность»? Автор, однако, оказался непрост. Видимо, уже рассылал (с предсказуемым результатом) «Снегура» по разным редакциям. От него пришел грозный ответ, графически исполненный дымящимися от гнева печатными буквами, напоминающими готовые к извержению вулканы. Располагались вулканические буквы почему-то поперек разлинованной страницы, волнисто выдранный из какой-то древней амбарной книги: «*Да проклянет тебя Солнце, литконсультант Василий Объемов! Слишком ничтожен объем твоей глупой башки, чтобы вместить величие Снегура — сына Вечного Льда и Бессмертного Неба!*» Некоторое время Вася размышлял над половой принадлежностью Бессмертного Неба. Мелькнула даже озорная мыслишка выяснить этот вопрос у автора, но он не решился, страшись пожать почтовую бурю. А еще некстати вспомнил маркшейдера с отрицательно заряженными спермоионами.

Почтовый снег между тем набирал силу. На Васю посыпались конверты от *Каспара Хаузера*. Пионер с непривычным именем и фамилией присылал в редакцию какие-то странные, не пионерские, а по большому счету и не советские рассказы. О мостах в Ленинграде, под которыми он якобы наблюдал ночные круговые крысиные собрания, когда крысы, подняв вверх хвосты как антенны, рассаживаются вокруг вожака сужающимися концентрическими кругами, мерно, как серые маятники, раскачиваются из стороны в сторону, а потом внезапно разрывают этого вожака в клочья. О вечерних полетах на воздушном шаре над остывающим куполом Исаакиевского собора. О путешествии в страну украденных зонтиков, где сутки измерялись молниями, часы — громом, а секунды — ударами каплей дождя по жестяным подоконникам. Вася втянулся в переписку с Каспаром Хаузером (тот жил под Москвой в Коломне, письма туда-сюда летали как птицы) и, помнится, полюбопытствовал, как же измеряются в стране украденных зонтиков годы и века? «Засухой и Великим потопом», — пришел озадачивающий ответ. Даже о своей неразделенной любви к прекрасной физкультурнице в сиреневом, как сумерки, купальнике поведал Каспар Хаузер, закончив печальный (как и положено) рассказ стихотворными строчками: «*Одиночество в любви — бег на месте. Догони!*»

Какие-то задел в Васиной душе тайные струны пионер Каспар Хаузер. Вася, вопреки неписанным правилам литконсультанта, написал ему — на двух страницах! — личный ответ. Он рассказал, как сам в детстве, когда родители уезжали на дачу, бродил до рассвета по переулкам вокруг за-



ключенной в подземную трубу реки Самотеки, ложился ухом на асфальт, пытаюсь услышать ее зов, потом вставал, смотрел на «запутавшиеся в проводах звезды». Даже о шарфе-петле на шее поэта-литконсультанта (одного неглупого, но слабого человека — так Вася замаскировал в письме коллегу) написал он Каспару Хаузеру. «Дело не в шарфе, — бодро выстукивал Вася на раздолбанной, извлеченной из подсобки, где хранились горны, барабаны и переходящее знамя, пишущей машинке “Olympia”, — а в том, что этот неглупый, но слабый человек сам не хочет (боится) стянуть его со своей шеи. Одиночество — не бег на месте, — продолжал он. — Одиночество — редкий шанс спокойно обдумать жизнь и принять правильное решение. Стяни с себя этот шарф, Каспар, и ты увидишь, что мир полон жизни! Он твой, Каспар! Возьми его! Ты сможешь!»

Закончив ответ, Вася вложил его в большой и гладкий (для официальных писем) конверт, крупными буквами написал адрес, посмотрел на часы. Было без пятнадцати два. Вася заторопился в экспедицию (место, куда со всех редакций стекалась готовая к отправке почта). Из экспедиции ее забирали два раза в день — в два и в шесть. Ему хотелось, чтобы письмо ушло к Каспару Хаузеру в два, а не в шесть.

«Куда летишь?» — остановил взволнованного Васю на лестнице ответственный секретарь журнала — молодой писатель по фамилии Иванов.

Они как-то выпивали и закусывали жареными перепелками в подвальной мастерской художника на Башиловской улице. Иванов был приветлив и дружелюбен. Марина смотрела на них, отошедших к окну, как-то озабоченно, покусывая губы и без конца разглаживая невидимую складку на свитере. В окно требовательно долбили клювами голуби. Похоже, художник их прикармливал, а потом, вероятно, ловил, и они превращались в тех самых перепелок, которыми его будто бы снабжал друг-охотник. Художник готовил из них очень вкусное жаркое. Иванов хлопал Васю по плечу, восхищался красотой и умом Марины, говорил, что Васе дико повезло, что она обратила на него внимание, вспоминал Гертруду Стайн и Хемингуэя, Зою Богуславскую (Вася не знал, кто это) и Андрея Вознесенского. Затем залпом выпил фужер вина, обглодал хрустящее крылышко перепелки, ободряюще подмигнул и ушел, скользяще поцеловав на ходу Марину в щеку. Вася остался, но Марина в тот вечер была рассеянна, отказалась угощаться жареной перепелкой, отвечала как-то невпопад. У него сложилось впечатление, что мыслями она не здесь и не с ним.

«Охота тебе с ним нянчиться?» — спросил Иванов, разглядев (его трудно было не разглядеть) адрес на глянцевом конверте.

«С кем?» — удивился Вася, в недоумении опустив глаза на конверт.

«Да с этим придурком, который подписывается Каспаром Хаузером».

«А... что?» — пожал плечами Вася, выигрывая время для осмысления слова «подписывается».

«Второй год долбит нас бредовыми рассказами, хоть бы сменил псевдоним, что ли? За кого он нас принимает?» — продолжил Иванов.



«За кого?» — Вася обычно так переспрашивал преподавателей на зачетах и экзаменах, когда не вполне понимал, что они имеют в виду, но чувствовал подвох. Иногда срабатывало. Мнимая тупость оборачивалась благом. Преподаватели подсказывали против собственной воли.

«За неграмотных идиотов, — объяснил Иванов, — которые не знают, кто такой Каспар Хаузер!»

«Собственно, об этом я и...» — пробормотал Вася.

«Не регистрируй его письма, — посоветовал ответственный секретарь. — Сразу в корзину!»

«Спасибо, что предупредил. Это последнее, — помахал в воздухе конвертом Вася. — Не пропадать же семидесяти пяти копейкам!» Однако пошел не в экспедицию, а на пятый этаж в библиотеку журнала «Огонек», где схватил с полки Энциклопедический словарь.

«Каспар Хаузер (нем. Kaspar Hauser / Casparus Hauser), 30 апреля 1812 — 17 декабря 1833. Известный таинственной судьбой найденный, одна из загадок XIX столетия, "Дитя Европы"... В психиатрии синдромом Каспара Хаузера называется психопатологический симптомокомплекс, наблюдаемый у людей, выросших в одиночестве и лишенных в детстве общения... Необычная судьба Хаузера нашла отражение в нескольких произведениях литературы и кинематографа. Поль Верлен написал от его имени стихотворение "Каспар Хаузер поет" (1881), отождествив себя с героем. В 1909 году Якоб Вассерман написал роман "Каспар Хаузер, или Лениость сердца", взяв за основу романтическую историю о королевском происхождении Хаузера. В Каспаре Хаузере автор вывел чистого сердцем человека, доброго и благородного от природы — своего рода вариант Алеши Карамазова. Чистым, непосредственным восприятием своего героя Вассерман проверял догмы религии, нравственные установления, человеческие взаимоотношения. Простодушные ответы Каспара ставят в тупик и приводят в отчаяние его наставников. Брошенный в водоворот жизни, он испуган огромным и жестоким миром, открывшимся перед ним. Так и не сумев привыкнуть к людям, к их морали, философии, он остается одиноким и непонятым».

Вассерман, Вассерман... Вася захлопнул словарь, озадаченный вербальной близостью собственного имени и неведомого немецкого писателя, о существовании которого он, как и о настоящем Каспаре Хаузере, еще десять минут назад не знал. Зато знал, что положительная реакция Вассермана на взятую из вены кровь означает сифилис. У Каспара Хаузера была отрицательная реакция на мир, то есть он был... здоров? Весь мир болен, а он один здоров?

Вернувшись в кабинет, Вася спрятал письмо в ящик стола. Он решил отправить его как отрезать — в последний день практики.

Неожиданные мысли о сифилисе, похоже, нарушили пространственно-временной континуум сновидений. Писатель Василий Объемов вдруг



(опережающе) увидел себя на трибуне конференции по состоянию русского литературного языка, а может, и какой-то другой, но точно литературной, потому что в первом ряду (сомнений быть не могло) сидели пожилые бородатые писатели с выраженным похмельным синдромом на лицах. Им-то в потные лбы, в растрепанные бороды, в прокуренные желтые зубы и бросил Объемов не стих, облитый горечью и злостью, но выстрадавшие (в жизни) и отшлифованные (во сне) до кристальной ленинской ясности слова: «*Писатель достигает высшей свободы самовыражения не тогда, когда его книги никому не нужны, а когда ему некому дать прочитать только что законченное произведение!*» Самое удивительное, что одна из бород успела выкрикнуть, а Объемов успел услышать: «У Лескова — “некуда”, а у тебя — “некому”, но ты не Лесков! Ты...»

Вася (во сне) так и не узнал, кем стал (во сне же, то есть почти что в снегу детских писем) писатель Василий Объемов, кроме того, что не стал Лесковым. Устремив взгляд поверх писательских лысин и бород, он увидел очередной падающий белый конверт. Если прежние конверты спускались вниз медленно и плавно, как бы подчиняясь неслышной (небесной?) гармонии, этот летел страшно и неотвратно, как белый (керамический, то есть усовершенствованный) нож гильотины. Вася едва успел от него увернуться.

Вскрывать гильотинный конверт необходимости не было. Он вскрылся сам, не дожидаясь машинки. Можно было лишь радоваться, что при этом гильотинный конверт не вскрыл — а ведь мог! — Васю.

Он сразу вспомнил его — густо заклеенный марками «XXIII Международный конгресс по пчеловодству. Москва. 1971. Почта СССР. 6 к.». На фоне желтых сот пчела выбирала нектар из полевого цветка. По верхней части конверта как будто протянулась медовая полоса. Помнится, когда он укладывал письмо на железную ладонь вскрывающей машинки, Васе показалось, что пальцы у него стали липкими, а по кабинету распространился запах меда, пересиливший запах пота Светы (к тому времени он уже не казался Васе горячим и будоражащим).

Но он сразу забыл про состязание запахов, вытащив письмо и прочитав название сочинения на свободную тему (так определил жанр пришедшего текста автор). Воистину, детское литературное творчество было шире существующих стереотипов.

Много лет назад стажер отдела писем журнала «Пионер» Вася Объемов, воспользовавшись советом ответственного секретаря, не регистрируя, отправил в корзину это, с позволения сказать, сочинение, подписанное псевдонимом *Белая Буква*. После Каспара Хаузера его стали злить тексты, подписанные псевдонимами. Он не порвал в клочья произведение Белой Буквы (по нежным завиткам почерка и изображению длинноволосой, в короне, принцессы на обороте последней страницы Вася определил, что автор — девочка), но изоциренно пропустил его через машинку. Превращенное в бумажную вермишель письмо как будто и не приходило



в редакцию. Хватит мне одного Каспара Хаузера, решил тогда он, задумчиво глядя на скучающую за своим столом Свету. Он обратил внимание, что в пасмурные дни запах пота усиливался и становился совершенно нестерпимым перед дождем. Сейчас, судя по всему, дело шло к грозе. Ей бы на метеостанцию, подумал Вася, работала бы живым барометром, чего она здесь сидит?

Он не знал, изменяются ли во времени и пространстве, то есть во сне, некогда прочитанные и забытые тексты. Восставшее из небытия, из бумажной вермишели, сочинение на свободную тему возникло перед его глазами. Вася словно читал его с компьютерного экрана. Рукописи не горят, вспомнил и дополнил великого Булгакова Вася, они сжигают тех, кто думает, что сжег их или... превратил в бумажную вермишель. А еще они, усмехнулся он, перейдя на современный телевизионный жаргон, *зажигают* сквозь пространство и время. Он попытался зажмуриться и чуть было не задохнулся от давно забытого запаха девичьего пота, как если бы в небе (по Булгакову!) собиралась жестокая гроза, а Света стояла у Васи за спиной и тыкала его носом в экран: «Читай!»

Весеннее волшебство (Сочинение на свободную тему)

Берлин. 30 апреля 1945 года (понедельник), 15:10. Рейхсканцелярия. Комната в подземном Фюрербункере. Бетонные стены. Простая железная кровать. Письменный стол. Над столом портрет композитора Вагнера у рояля в черном сюртуке. За столом по ж и л о й ч е л о в е к в полувоенном кителе песочного цвета держит заверенный печатями на гербовой бумаге документ — «Testamentsurkunde» (завещание). На столе позолоченный пистолет вальтер с золотой монограммой «А. Н.» на рукоятке.

Читает, поправляя очки, вслух: «Все, чем я владею, если это вообще имеет какую-то ценность, — принадлежит партии. Если она перестанет существовать — государству. Если же будет уничтожено и государство, то какие-либо распоряжения с моей стороны будут уже не нужны...» Кладет страницы на стол, передергивает затвор, снимает пистолет с предохранителя. Вопросительно смотрит на портрет Вагнера. Согласно кивает, как бы получив одобрение. Продолжает читать: «Исполнителем завещания назначаю... (Пауза.) Ему разрешается передать все, что представляет ценность как память обо мне или необходимо для скромной буржуазной жизни моим сестре и брату, а также матери моей жены и моим преданным сотрудникам и секретаршам...» Снимает очки, берет пистолет. Встает из-за стола, садится на кровать. Подносит вальтер к виску. Зажмуривается.

Громкий стук в дверь. Слышны женский и мужской голоса. Мужской голос звучит громко и требовательно. Человек в песочном кителе убирает пистолет в карман брюк, встает с кровати, открывает дверь. На пороге его личный адъютант — штурмбаннфюрер СС О т т о Г ю н ш е. За его спиной Е в а Б р а у н.

Г ю н ш е. В это трудно поверить, мой фюрер, но это случилось. Они здесь.

Г и т л е р. Русские?



Гю н ш е. Нет, мой фюрер. Инопланетяне. В саду канцелярии приземлился их корабль. По виду они... настоящие арийцы, говорят по-немецки. Хотя могут и по-русски. Вокруг корабля непроницаемый для снарядов купол. Это надо видеть, мой фюрер: снаряды отскакивают от него, как мячи от стенки.

Г и т л е р. Могут и по-русски? (*Пауза.*) Ну да, сейчас в мире только два языка. Но оба обречены. Мир будет говорить на английском.

Гю н ш е (*волнуясь*). Их общественное устройство схоже с нашим. Они одобряют германские расовые законы и идеологию. Они там... у себя, взяли власть несколько тысяч лет назад. Их цивилизация непобедима. Они могут все! Один из них положил руку на срезанную снарядом яблоню — ту, которую вы посадили весной тридцать третьего, «бребурн», — она мгновенно пошла в рост, зацвела, я видел, как вокруг нее летали пчелы, а потом... на ветках появились яблоки. Вот. (*Протягивает два больших спелых яблока.*) Попробуйте, они очень вкусные.

Г и т л е р (*глядя на яблоки*). Что им надо?

Гю н ш е. Они прилетели засвидетельствовать свое уважение и попроситься.

Г и т л е р. Почему так поздно?

Гю н ш е (*растерянно*). Поздно... что?

Г и т л е р. Для нас поздно. Если они могут все.

Гю н ш е. Доктор Геббельс сразу спросил, какую помощь они готовы нам оказать. Смогут ли они отбросить русских хотя бы за Одер?

Г и т л е р. Он не спросил, почему они не помогли нам раньше — под Москвой, под Сталинградом, под Курском? Хотя бы под Будапештом!

Гю н ш е. Они... наблюдали. Изучали людей — так они сказали. Они очень благодарны нам за... материал, который мы обеспечили им на полях сражений в неограниченном количестве. Они внимательно следили за генетическими, фармакологическими и антропологическими исследованиями наших ученых в... лабораториях Биркенау, Берген-Бельзене, особенно в Штуттгофе. Они восхищены полученными результатами. Они считают, что это прорыв в будущее. И еще сказали, что мы им очень помогли.

Г и т л е р (*равнодушно*). Поблагодарите их за яблоню и закройте, наконец, дверь. Уберите фрау Гитлер! Войдете сразу после... Если увидите, что... Вы знаете, что надо сделать. И уведите, наконец, отсюда фрау Гитлер!

Е в а Б р а у н разворачивается и уходит.

Гю н ш е (*торопливо*). Мой фюрер, я не сказал главного. Они готовы спасти...

Г и т л е р (*раздраженно*). Немецкий народ? Рейх? Европу? Вселенную?

Гю н ш е. Доктор Геббельс задал им и этот вопрос, мой фюрер. Они ответили, что человечество пока не готово принять наши идеалы. Превременная и необъяснимая победа Германии в войне, по их мнению,

нарушит ход истории. Германия слишком истощена, чтобы принять ответственность за судьбу человечества. Мы опередили время, слишком быстро и далеко забежали вперед. Надо остановиться, подождать. Через сто лет мир изменится, и тогда...

Гитлер. Меня не интересует, что будет через сто лет!

Гюнше. Они хотят спасти вас, мой фюрер.

Гитлер (с иронией). Каким образом? Спрячут в Антарктиде на секретной базе этого сумасшедшего Ричера? Возьмут на Марс или откуда там они прилетели? У меня мало времени! Я не могу ждать... сто лет.

Гюнше. Доверьтесь им, мой фюрер! Они все предусмотрели. Это единственная возможность сохранить вашу бесценную жизнь для нашего общего дела!

Гюнше вталкивает в комнату точную, как отражение в зеркале,
живую копию Гитлера.

Гитлер (оценивающе рассматривает двойника). Да, этот хорош, гораздо лучше остальных. Даже руки дрожат в моем ритме. И пигментное пятнышко на шее... У него тоже свистит в правом ухе? Отто, мы уже обсуждали этот вариант. Я не изменю своего решения. (Истукленно кричит.) Оставьте меня в покое!

Гюнше (выхватывает пистолет, наводит на Гитлера). Нет, мой фюрер, вы пойдете со мной! Они ждут. Ваша жизнь нужна несчастной Германии! Я не позволю вам...

Гитлер (спокойно и с иронией). Осторожно, Отто, не урони яблоки. И потом, ты ведь можешь (быстро обходит двойника, встает с ним рядом) нас перепутать.

Гюнше. Это невозможно, мой фюрер, они сделали вашу копию из вестового, убитого утром русским снарядом. (Кладет яблоки на стол.) Труп не успели убрать. Он здесь для того, чтобы... (Подходит к двойнику.) После того, как я положу ему руку на плечо (кладет руку на плечо двойника) и нажму вот здесь... (Нажимает большим пальцем на подбородок.)

Двойник молча садится на кровать, достает из кармана позолоченный вальтер с монограммой «А. Н.» на рукоятке, стреляет себе в висок и заваливается набок. Из простреленной головы льется, пульсируя, кровь, окрашивая подушку и покрывало.

Гюнше. Вы не можете здесь оставаться! Вас больше нет! У нас (смотрит на часы) осталось три минуты. С вами... (переводит взгляд на труп двойника, поправляется) с ним сделают все, как вы приказали. Канистры с бензином в саду под яблоней. Мы должны уйти, мой фюрер, пока сюда не вернулась фрау Гитлер.

Гитлер. Ты сказал (кивает на двойника), они сделали его из убитого вестового. Почему им не сделать нового вестового из меня? Из меня бы получился неплохой... вестовой.



Гю н ш е (*в отчаянии*). Мы теряем время, мой фюрер! Возможно, они сделают из вас вестового, но не здесь и не сейчас! Они не хотят оставлять вас в Берлине, даже превратив в другого человека, потому что вы все равно погибнете. Шансов нет. Они знают будущее! Они могут взять с собой только одного! Они бы взяли нас всех, однако это невозможно. Я не знаю, какую они используют энергию, но она у них на исходе. Так они объяснили.

Г и т л е р (*пристально смотрит ему в глаза*). Они сказали, что будет с тобой, Отто?

Гю н ш е (*растерянно*). Я... не спрашивал, мой фюрер. Моя жизнь не имеет значения, когда решается судьба Германии!

Г и т л е р (*уверенно*). Ты будешь жить долго. Я рад за тебя, Отто. Ты своими глазами увидишь, во что превратится Европа, и, может быть...

Гю н ш е (*умоляюще*). Время!

Г и т л е р. Вы обещаете, штурмбаннфюрер, что...

Гю н ш е (*перебивает*). Обещаю! Какое бы решение ни приняла фрау Гитлер. Возьмите яблоки, мой фюрер!

Г и т л е р. Одно. Второе отдайте Еве.

Выходят из бункера.

З а н а в е с.

Белая Буква

(9-й «Б» класс, школа № 169, г. Ленинград)

4.

Компьютерный экран, с которого Объемов (во сне) читал сочинение под издевательским названием «Весеннее волшебство», подобно занавесу в новомодном инновационном театре, разорвался на кольшущиеся ленты с прыгающими по ним, как блохи, белыми буквами. Какие-то буквы пытались воспроизвести слова, но Объемов не мог ухватить их пульсирующий смысл. Это его огорчало, потому что он понимал, что упускает нечто важное. Сосредоточившись, он не столько прочитал, сколько угадал, а может, и додумал два блошинных тезиса: «*Необходима моральная чистка национального организма*» и «*Космополитическая созерцательность должна исчезнуть*». Бред, вздохнул Объемов, моральная чистка еще туда-сюда, но космополитическая созерцательность — основа любого художественного творчества, как она может исчезнуть? Потом до него дошло, что это не ветер колеблет ленты занавеса, а ревет сирена.

Писатель Василий Объемов открыл глаза. В гостиничном окне вибрировала ночная радуга мигалок милицейских (каких же еще?) машин, несущихся по улице. Началось, успел подумать он, проваливаясь в стремительно истаивающий полусон перед окончательным пробуждением.

Полусон зачем-то вернул его на конференцию. Он обнаружил себя стоящим на трибуне перед угрюмым и недобрым, длинным, как вытянутое к горизонту поле, залом. В зале сидели уже не писатели, а другие люди с расплывающимися, как блины на сковородке, лицами. Определить их национальную и профессиональную принадлежность не представлялось возможным. Это были люди вообще, если угодно, человеческий материал, из которого кто-то что-то всегда хотел сшить, руководствуясь собственными мыслями о качестве материала и моде. Объемов мучительно старался зацепиться хоть за чей-нибудь заинтересованный взгляд, но встречные взгляды ускользали, как если бы глаза людей в бесконечном зале были на коньках или роликах.

На трибуне перед ним лежал блокнот, который он судорожно перелистывал, пытаюсь отыскать тезисы. Иногда на писателя Василия Объемова во время публичных мероприятий накатывал необъяснимый ступор и он не мог слова ступить без заранее подготовленных тезисов. Удивительно пусто было и сейчас в его голове. Одна только глумливая фраза прыгала в ней, как блоха: «Вас, ребята, весеннее волшебство точно не обрадует, потому что оно по вашу душу!» Неведомый портной как будто кроил из его сновидений тревожный водевиль с элементами футурологического триллера. В последнее время этот странный литературный жанр вошел в моду. Даже во сне, огорчился Объемов, я бегу за модой, хотя точно знаю, что не догоню. Поздно. А ребята бегут от весеннего волшебства, но не знают, что от него убежать невозможно. Догонит.

Изначальное недоверие к сонным тезисам Объемова (он пока и сам не знал, какие они, однако догадывался), как латекс, обволакивало зал, и Объемов ясно осознавал, что отчуждение между ним и залом непроницаемо и непреодолимо. Его слова опережающе превращались в тот самый бисер, каким (вместе с добрыми намерениями) вымощена дорога известно куда. Да как же они пустили меня на трибуну, искренне недоумевал Объемов. Он уже знал, как начнет выступление. С цитаты из Горького: *«Великая заслуга перед жизнью и людьми — сохранить в душе истинно человеческое в дни, когда торжествует обезумевшая свинья».*

...А потом он вдруг увидел себя на скамейке у своего деревенского дома в Псковской области. Он сидел, умиротворенно поглаживая по крепкой холке соседскую собаку Альку. Она частенько забегала к нему с краткими дружественными визитами, но главным образом чего-нибудь перехватить. Хозяин Альки — бывший совхозный тракторист, а ныне безработный селянин Жорик — сильно выпивал и, соответственно, слабо кормил Альку. Несколько дней назад Объемов варил в огромной кастрюле борщ, и вовремя подоспевшей Альке досталась огромная костыльщина, предварительно очищенная Объемовым от мяса, но не от пленок с хрящами. Из-за нее, помнится, не получалось прикрыть кастрюлю. Кость упрямо таранила крышку, как торпеда дно корабля. Алька, радостно урча, убежала с лохматой капающей костью, а теперь вот зачем-то сно-



ва ее притащила. Кость была обглодана до зеленоватой (видимо, Алька грызла ее в траве, а может, использовала траву как гарнир) белизны.

Намек понял, поднялся со скамейки Объемов, пошел в дом к холодильнику. Ничего подходящего для Альки там не нашлось. Пришлось отрезать кусок буженины. Она была свежая, розоватая, в нежном свещающемся сале, только утром привезенная с приграничного белорусского рынка в Езерищах. Рука дрогнула, непроизвольно уменьшив Алькину порцию. Собака, лязгнув зубами, проглотила буженину, он едва успел отдернуть бережливую руку. Облизнувшись, Алька подняла с земли зеленую кость, отошла с ней к забору и там носом, как совком, старательно прикопала ее под кустом малины. После чего, повеселев, дежурно попрощалась, лизнув Объемову руку, и серой стрелой полетела по своим делам. Не добежав до калитки, вдруг остановилась, развернулась и, склонив голову, уставилась на Объемова. Тому даже показалось, что складки собралась на шерстяном собачьем лбу — так внимательно и задумчиво она на него смотрела. Потом Алька тяжело вздохнула, вернулась к кусту малины, раздраженно выкопала кость и, уже не оглядываясь, убежала с ней в зубах, нервно помахивая хвостом, то есть, если верить кинологам, обуреваемая сомнениями и обидой. Самое удивительное, что и Объемов обиделся на Альку. Как же так, это ведь он дал ей эту кость, а сейчас еще угостил восхитительной бужениной! Как ей в голову могло прийти?

...Наконец он обнаружил в блокноте злополучные тезисы, перевел дух, но язык во рту как будто окаменел. Длинный, полный угрюмых людей с блинными лицами (только самонадеянный шутник мог называть их ребятами... если только не с песьими головами) зал показался Объемову уже не полем, а объемистым бассейном, а тезисы — внешне безобидным бытовым прибором вроде электробритвы, фена или... машинки для вскрытия писем. Прочитать тезисы было все равно что швырнуть в бассейн электрический прибор! Он не раз видел, как это делают в фильмах плохие ребята. Правда, даже отпетые кинематографические злодеи не замахивались на бассейны — ограничивались ваннами, где имели несчастье находиться их обнаженные, а потому ограниченные в оказании сопротивления жертвы. При этом у Объемова не было сомнений, что безлицые ребята в полевом зале обречены — независимо от того, услышат они его тезисы или нет. Не было у него сомнений и в том, что убойная электрическая волна настигнет его на трибуне и он тоже противоречиво погибнет вместе с обреченными ребятами, которых хочет предостеречь. Проигнорировав его предостережение, они еще успеют его опережающе осудить за человеконенавистнические, по их мнению, тезисы. Это было совершенно невозможно, но Объемов вдруг показалось, что в зале сидят... подсолнухи. Раз так, приободрился он, чего бояться, худшее, что мне грозит, — пробуждение.

«Смешение рас и народов, — откашлявшись, обратился Объемов к растительной аудитории, — можно уподобить стихийно-насильствен-

ному переливанию крови без предварительного ее клинического анализа на резус-фактор, группу и различные заболевания. Результат подобного переливания — в лучшем случае бесплодие, то есть жизнь без продолжения жизни, в худшем — смерть». Эх, огорченно посмотрел в зал, знал бы раньше, что вы растительные, привел бы примеры из биологии — из Менделя, Вавилова, дедушки Мичурина... да хотя бы Лысенко! «Ничем хорошим, — быстро продолжил Объемов, не обращая внимания на зловещую тишину в зале, — это не закончится ни для тех, кому перелили, ни для тех, кого перелили. (Эх, надо бы — привили!) Каждый народ, — он с изумлением обнаружил, что это последний тезис (ему почему-то казалось, что их больше), — выбирает свой путь в небытие. Русский народ уходит в небытие не шелохнувшись!» И вдруг после паузы — не по писаному, а от себя (лающим каким-то, словно это он был с песьей головой, голосом): «Потому что небытие, тьма, хаос, смерть — колыбель новой жизни! Чтобы по-настоящему воскреснуть и преобразиться, нужно по-настоящему умереть!»

Возможно, подсолнухи в объемистом бассейне тоже не шелохнулись. Объемов забыл, точнее, никогда не задавался вопросом: как действует на растения электричество? Полусон, подобно космополитической созерцательности на разодранном, с прыгающими белыми блохами-буквами занавесе, исчез, растворился в моторном гуле и лязгающих шлепках по асфальту. Поднявшись с кровати и приблизившись к окну, Объемов увидел, что по шоссе мимо гостиницы на приличной скорости движется колонна бронетранспортеров, а замыкают ее два танка. Сверху они напоминали гигантских поторапливающих жаб.

Наверное, учения, пожал плечами Объемов, до западной границы рукой подать, НАТО, враг не дремлет, ночная проверка боеготовности. Он разобрал кровать, разделся, повозившись с кнопками на радиочасах (пару раз хотелось грохнуть об пол), установил будильник на восемь утра. Потом сунулся задвинуть шторы и тут же испуганно отшатнулся от окна.

Перед гостиницей, размальывая воздух винтами, висел вертолет, обшаривая прожектором, как длинной желтой рукой, фасад. Объемов на мгновение ослеп, забился пойманной рыбой в занавесках. Прожектор пронзил его лучом, как острогой. Объемов присел на корточках, ощущая себя нарушителем. Чего — он и сам не знал, но на всякий случай затаился в неудобной позе, пережидая, пока желтая рука отлепится от окна. Господа, это уже слишком, пробормотал он, опасливо выглядывая из-за шторы.

Из чрева вертолета тем временем свесились канаты. По ним заскользили вниз спецназовцы в блестящих шлемах и каких-то серебристых, как у космонавтов, скафандрах. Неужели, изумился писатель Василий Объемов, будут штурмовать гостиницу? Так сказать, в учебных целях.

Он выключил свет, лег в кровать. Хотелось сделаться незаметным, а еще лучше — несуществующим. Он успел заметить короткие автоматы



у спускающихся по канатам спецназовцев. Близость вооруженных людей его всегда тревожила. Определенно, в дружественной Белоруссии что-то происходило. Зачем, вспомнил Объемов, они читали по радио Свифта? Какая была в этом необходимость? Заменяли Свифтом «Над всей Испанией безоблачное небо»? Куда понеслась колонна бронетехники и примкнувшие к ней танки?

Объемов подумал, что, окажись он в Умани в августе сорок первого года, он бы ни за что не пошел на базар, где Гитлер приценивался к подсолнухам. А вот дед Каролины пошел и удостоился благосклонного внимания фюрера. Можно сказать, обзавелся охранной грамотой. Это тот самый парнишка, которого Гитлер трепал по голове, должно быть, говорили немцы, румыны, полицаи и прочие коллаборационисты, выпуская его из гестапо после облав. В конце войны, конечно, это уже не работало, точнее, работало в сторону возмездия. Было дело, наверное, врал парнишка, вытирая кровавые сопли на допросах уже в советских комендатурах, но я вцепился в его подлую руку зубами, в меня стреляли, я чудом уцелел, две недели прятался в подсолнухах... Потому-то, угрюмо и самокритично подумал Объемов, он получает от немцев и хохлов две (!) пенсии и шустрая завуч в очочках души в нем не чаёт. Меня-то уже давно все бабы послали, а пенсия...

И, как говорится, сглазил.

В дверь негромко, но требовательно постучали. Привычно струсив и растерявшись, Объемов все же сообразил, что спецназовцы не могли так быстро добраться до его этажа, а если и смогли, то не стали бы размениваться на вежливый стук, а вышибли бы дверь ногами. Похлопав по карманам куртку (на месте ли паспорт?) и задавленно прохрипев: «Одну минуту!», Объемов надел штаны и открыл.

— Не ждал?

Отодвинув его плечом, в номер решительно шагнула... Неужели Каролина?

— Сам пригласил!

Она тихо, без лязга, прикрыла за собой дверь.

— Я? — опешил Объемов.

Внешность Каролины претерпела существенные изменения. На ней был белый, до плеч парик. Каролина походила в нем на вернувшегося из боя и снявшего шлем с забралом немолодого средневекового рыцаря-альбиноса. На носу угнездились небольшие кругленькие очочки. Похоже, преследующая в Умани деда завуч (по Фрейду) не давала ей покоя.

— Девятьсот седьмой номер. Сам сказал.

— Да? И что?

Он случайно наткнулся взглядом на свое отражение в зеркале. Ему стало стыдно. Никакого женского интереса увиденное в зеркале существо не могло пробудить. Даже у зачем-то надевшей парик и очки буфетчицы Каролины.

— А то! Снимай штаны и ложись!

Она торопливо стянула с себя черные брюки, оставшись в растянутых (повседневных, по инерции отметил Объемов) трусах. Помнится, похожие трусы (с поправкой на тогдашние стандарты женского белья) были на учетнице писем журнала «Пионер» Свете, когда Вася Объемов, задерживая дыхание, чтобы не потерять сознание от крепкого запаха девичьего пота, раздевал ее... Он уже не помнил где, но точно не в мастерской художника-перепелятника. В университетской общаге на Ленинских горах — вот где! В соседней комнате еще гремел «Jesus Christ Superstar». Хелен Редди выводила ангельским голосом: «I don't know how to love Him»*, а Васе кощунственно слышалось: «I don't know how to love her»**.

За брюками последовала блузка. Грудь у Каролины выглядела более привлекательно, нежели исхоженные, в голубой сосудистой сетке, ноги. Ну да, рассеянно подумал Объемов, они все время на марше, а грудь — она барыня, отдыхает...

Немного подумав, Каролина освободилась и от трусов. Растянутые, они легко слетели на пол перед дверью. Он нагнулся, чтобы поднять, но Каролина запретила: «Пусть лежат где лежат!» Шмыгнула в кровать под одеяло. Кто же поверит, на лету просканировал ее обнаженное тело Объемов, что ты блондинка, кого ты хочешь обмануть дурацким белым париком? Подложившая под голову сразу две подушки, Каролина сейчас напомнила ему притворившегося бабушкой волка из сказки Шарля Перро. А я, стало быть, Красная Шапочка, грустно подумал он. Какой из меня охотник?

— Очки... — пробормотал, входя в роль, Объемов. — Они... чтобы лучше меня видеть?

— Я вообще-то обхожусь, — пояснила с подушек Каролина. — Только когда смотрю накладные или читаю... Быстрее! Ложись! — Ей явно было не до сказок.

— Я, это... в трусах, — зачем-то проинформировал он.

Поведение Каролины было странным, но чего в нем точно не звучало — так это сексуального мотива. Наверное, так раздевались разнополые узники концлагерей перед газовой камерой, подумал, снимая штаны, Объемов. Только ведь она... не собирается умирать, посмотрел на тревожно прислушивающуюся к звукам в коридоре Каролину, у нее есть какой-то план. Все это игра, а я...

— Совсем не нравлюсь? — скользнула оценивающим очкастым взглядом по объемовским трусам Каролина.

Никакого самовозрастающего объема внутри них не наблюдалось. Тишь да гладь, можно сказать, космический вакуум. Вопрос быстрой и страстной близости на повестке дня не стоял.

— А еще такая фамилия... — нервно хихикнула Каролина.

— Какая? — присел на край кровати Объемов.

* Я не знаю, как любить Его (англ.).

** Я не знаю, как любить ее (англ.).



— Какая-какая, Обь... — Она обхватила его за плечи, потащила под одеяло.

— Объемов, — поправил он.

— Какая разница? — И Каролина впилась в его губы сухим, как перестоявшая на буфетном столе салфетка, поцелуем.

За дверью послышались приглушенные мужские голоса, шум лифта. Потом снова стало тихо. Лифт проехал мимо девятого этажа.

— Все должно быть натурально, — скомкала поцелуёй, как использованную салфетку, Каролина, — иначе они не поверят. Но я не уверена, что у нас получится. Когда ты последний раз спал с бабой?

— Давно, — честно признался Объемов. — Коплю силы.

— И как копилка? Сильно пополнилась?

— Хочешь проверить?

До него вдруг дошла нелепость и какая-то издевательская карикатурность происходящего. Главное же — отведенная ему унижительная роль.

— Какого хрена? — заорал он, увернувшись от попытки Каролины снова заткнуть ему рот сухой салфеткой. — Чего тебе надо? Зачем ты здесь? Что все это значит?

— Лешка, мой муж... — едва слышно, умоляюще приставив палец к губам и указывая другой рукой на дверь, прошептала Каролина. — Он... здесь. Прилетел. Только он... не Лешка.

5.

— Прилетел?

Объемов, как ни странно, мгновенно вспомнил семейную историю Каролины — вдовы погибшего, точнее, пропавшего без вести шестнадцать лет назад пилота, вместо которого на военном кладбище похоронили манекен в форме майора ВВС Белоруссии. На его пластмассовое лицо еще положили фотографию растворившегося в небе Лешки. Героический муж Каролины велел напарнику катапультироваться, а сам увел самолет подальше от поселка в поле с подсолнухами. Люди не пострадали, а вот подсолнухам, наверное, досталось. Но останков Лешки, если верить вдове, среди обломков не обнаружили. Дальше шел какой-то конспирологический бред про испытание секретного — то ли биогравитационного, то ли пространственно-временного оружия.

— Они, — снова прислушалась к происходящему за дверью Каролина, — его ищут. Не могут найти, поэтому хотят через меня.

— Кто? — по инерции уточнил Объемов.

До него дошло, что все это не игра, а если игра, то с безвыигрышным для него и Каролины результатом. Лес рубят — головы летят. Лес почему-то увиделся встревоженному писателю Василию Объемову не как положено, в виде деревьев... а в виде обреченно помахивающих головами подсолнухов.

— Наши и... ваши, — с неодобрением посмотрела на него Каролина.

Так посмотрела, словно на нем лежала доля ответственности за «ваших», которых он, кстати, никогда не считал *своими*. Напротив, как мог клеймил и разоблачал в публицистических статьях. Да хотя бы за наплевательское отношение к русскому языку и литературе! Собственно, для того он и притащился на раздолбанном «додже-калибере» из псковской деревни на конференцию в Лиду, чтобы в очередной раз прокричать об их безумном воровстве и беспредельном презрении к народу, прокричать... в пустоту.

— Войсковая операция? — Объемова поразило, как быстро и осмысленно он включился в обсуждение невозможного события. — Откуда он прилетел? И... на чем?

И не просто включился. Писатель Василий Объемов уже опережающе работал с сюжетом. Лешка в последний момент успел катапультироваться. Приземлился на другом поле. Быстро закопал в землю парашют и... исчез на шестнадцать лет. А сейчас объявился! Естественно, его хотят поймать и допросить. Кто главный свидетель — с транзитным статусом соучастника — преступления? Естественно, Каролина! Может, они вместе все эти шестнадцать лет шпионили... На Россию, на кого же еще? Или на Украину? Это хуже. А я, покрылся холодным потом Объемов, ясен пень, связной, хорошо, если не резидент! Но она сказала «ваши», торопливо внес облегчающее собственную участь уточнение в сюжет. Если это совместная с «нашими» войсковая операция, значит, я... не шпион, а соратник! У Белоруссии и России, это, как его... союзное государство! Сволочь, с ненавистью посмотрел на ответно сверлящую его сквозь очки волчьим взглядом Каролину, зачем ты пришла, что тебе надо, зачем впутываешь меня в эту историю?

— Самолет приземлился на базе вчера ночью, на самой дальней, заброшенной полосе, — быстро заговорила Каролина, телепатически уловив невысказанные упреки Объемова и сделав правильный вывод, что откровенность — единственное средство удержать его от панического бегства, неотвратимого катапультирования из кровати, а может, и из гостиничного номера. — Радары не засекали, он из какого-то особого материала или чем-то покрыт, не знаю, а так — точная копия того, который разбился. Пастух стадо мимо гнал к ангарам, там вокруг еще зеленая трава, увидел, рассказал в поселке. Дети побежали. Потом военные приехали, оцепили, привезли аппаратуру. Везде в кабине — Лешкины отпечатки пальцев...

— Ты сама-то его видела? — перебил Объемов.

— Я сразу заметила, что за мной следят. Один злобный такой, с бородой: ты сидел — он в кафе заходил. И про тебя я тоже сначала подумала... А тут дочь позвонила, говорит, на съемную хату нельзя, уже вычислили.

— Дочь? — Объемов сам начал удивляться своей памяти. — Из Умани?

— Из Одессы. Я Олеську сразу вызвала, как узнала про самолет, сказала, чтобы никому ни слова и только на попутках. Если меня возь-



мут, так хоть она ему поможет. А я потом... С Украиной пока граница без проблем. Они ее точно в лицо не знают. Имя до паспорта у нее было Ольга, а отчество я по деду ей сделала — Андреевна. Фамилия вообще по первому мужу, тоже хохол был, только из Полтавы, и тоже сволочь — другую бабу в дом привел, стал с ней жить при живой жене. Так что никаких концов.

— Ты его видела? — повторил Объемов, пытаясь вспомнить, где он недавно слышал про Олеську.

Вспомнил! Не слышал, а читал. Объявление с отрывными телефонными хвостиками на фонарном столбе на гостиничной автостоянке: «Олеся. 27 лет. Ахнешь! Звони!» Уже ахнул, мрачно подумал Объемов, и... пусть анонимно, но позвонил.

Зачем-то спросил:

— Сколько ей лет?

— Кому? — удивилась Каролина.

— Олеське.

— Тридцать. А что?

— Убавила, — покачал головой Объемов.

Они притихли, услышав рассыпчатый каблучный стук по голой коридорной плитке. В дверь легко, как бросили горсть сухих горошин, постучали.

— Открой, — попросила Каролина. — Это она. Что-то случилось. Мы не договаривались, что она сюда.

— Не успею одеться, — растерялся Объемов, вновь утрачивая контроль (хотя бы мысленный) над реальностью.

— Быстрой! Я же голая!

— Хорошо, — пожал плечами Объемов, удивляясь такой неожиданной стыдливости.

Свесил ноги с кровати. Страх, возбуждение, желание что-то выяснить, куда-то бежать вдруг сменились в нем дебильной покорностью и обездвиженностью. Вот так и несчастная Россия, успел подумать Объемов, нащупывая вялыми, как снулые рыбы, ступнями тапочки, кто на нее рывкнет, ошарашит, наговорит с три короба, под того она и ложится... Особенно если он... то есть она (покопился на Каролину), в парике и очках... Так сказать, в пассионарном прикиде. Бери голыми руками.

— Ну! — поторопила Каролина.

Объемов, поправив трусы и слегка втянув живот, открыл дверь. В номер, едва не сшибив, влетела Олеська. Объемов уже устал чему-либо удивляться, а потому совсем не удивился, что она была натурально (видимо, это у них семейное) голая, но в туфлях на металлических шпильках, как ведьма Гелла из бессмертного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Впрочем, в отличие от Геллы, Олеська все же небрежно прикрывалась прижимаемым к груди ворохом одежды, из глубины которого пружинисто свесился бюстгальтер. Качающимися своими чашечками он напоминал маятник сюрреалистических часов, отсчитывающий... что?



— По объявлению? — ухмыльнулся, рассматривая бесстыдницу, Объемов.

— Что? — растерялась та, даже выронила одежду. — Мы... разве договаривались?

— Быстрей! В постель! — скомандовала с подушек Каролина. — Сейчас придут!

Олеся размашистыми крепкими бедрами, как бульдозер подтаявший сугроб, легко передвинула Объемова на кровать под приглашающе откинутое мамашей одеяло.

— Поехали!

Каролина сорвала с него трусы, завалила на себя, обхватив ногами, как клешнями, а над ними (каким-то образом, наверное затылком, сумел рассмотреть писатель Василий Объемов) римской статуей встала Олеся, больно уткнув ему в копчик острый железный каблук. Если и есть на свете мужик, успел подумать он, способный «поехать» в данных обстоятельствах, то это точно не я!

В следующее мгновение раздался оглушительный треск. В номер, как на серфинговой доске, влетел двумя ногами на двери раскоряченный спецназовец в серебристых доспехах, с автоматом и в черном обливном сферическом шлеме. Следом вошли люди в штатском. В одном из них — он был в широком, как саван, белом плаще — Объемов узнал злого бородача, ошибочно принятого им в кафе за завязавшего писателя, участника конференции по современному состоянию русского литературного языка. Второй снимал происходящее на видеокамеру. Третий непрерывно щелкал фотоаппаратом, озаряющим вспышкой интимно освещенный — лампой на прикроватной тумбочке — гостиничный номер. Он, конечно же, успел запечатлеть порнографическую скульптурную группу. Если бы не выставивший дверь спецназовец с автоматом наперевес, ворвавшуюся в номер команду можно было принять за белорусское подразделение полиции нравов. Объемов читал, что такая существует в Европейском сообществе, наряду с Интерполом, но постсоветские государства почему-то не хотят с ней сотрудничать.

— Ой! — Олеся прыгнула под одеяло, больно зацепив железным каблуком Объемова, едва успевшего перевалиться на спину.

Скульптурная группа распалась, точнее, перешла в горизонтальное положение.

Злой бородач в широком плаще (сейчас, впрочем, он выглядел не столько злым, сколько озадаченным) включил весь имеющийся в номере свет.

В настенном зеркале напротив кровати Объемов увидел три торчащие из-под одеяла головы: свою — со слипшимися в отвратительный гребень седыми волосами по центру, справа — очкастую, в белом парике голову Каролины, слева — русую, щекастую — Олеси. Боже милостивый, ужаснулся он, что могут подумать обо мне... гэбисты? Спецназов-

ца в серебристых доспехах и обливном шлеме он, как низшего по званию (и, вероятно, по интеллекту), в расчет не принимал. Трехголовая зеркальная картина навела его на гнусные, более того, оскорбительные для русского фольклора аналогии. Себя писатель Василий Объемов увидел в образе... Ильи Муромца. Поблескивающую круглыми выпуклыми очками Каролину — в образе почтенного Добрыни Никитича, кажется, наставника святого равноапостольного князя Владимира, а молодую шаловливую хохлушку Олесю — в образе застенчивого, но отважного Алеши Поповича. Как лихо она запрыгнула на кровать, загарпунила Объемова острым железным каблуком! Интересно, запоздало встревожился он, что она собиралась делать дальше, куда хотела вонзить каблук? Получалось, что гэбисты, контрразведчики, или кто там они, подоспели вовремя, в очередной раз подтвердив известный тезис Гете, что сила, предназначенная творить зло, иной раз свершает благо. Тридцать лет и три года, испуганно вжался задом в матрас Объемов, Илюша то ли сиднем сидел, то ли лежнем лежал, а потом... как вскочил! И пошли клочки по закоулочкам... Неужели пришпорила каблучница?

Но в данный момент стремительно вживающемуся в образ Ильи Муромца писателю нечего и думать было о сопротивлении... идолищу поганому. «Поехать», как призывала Каролина, не получилось, а вот пойти трусливо-позорным клочком по пенитенциарному закоулочку — еще как!

Над кроватью витал сильно сдобренный косметикой запах пота, невольно заставивший Объемова вспомнить Свету. Однажды во время грозы, когда находиться в кабинете стало невозможно, Марина отправила Свету домой, пообещав разобрать за нее оставшуюся почту. Как только та ушла и дышать стало легче, Марина позвала Васю к ее столу, выдвинула ящик, ткнула пальцем в теснящуюся там серебристую рать запечатанных дезодорантов. «Ей без конца дарят, дарят, — в отчаянье произнесла Марина, — почему она ими не пользуется?» — И после паузы: — Наверное, мстит окружающему миру». — «За что?» — спросил Вася. «Всегда есть за что», — грустно вздохнула Марина. Если бы сейчас здесь была Света, подумал, нашаривая под одеялом трусы среди брыкающихся женских ног, писатель Василий Объемов, поганому гэбистскому идолищу пришлось бы надеть респираторы. Станным образом он уподобил Свету коньяку или виски, набирающему с возрастом в дубовых бочках крепость и аромат. Такой у него получился неэстетичный оксюморон.

— Чем обязан, милостивые государи? — хрипло каркнул Объемов из кровати, подбадриваемый тычками Каролины.

— Проверка документов, — мимолетно мазнул в воздухе красным удостоверением бородач. — Здание блокировано. Есть сведения, что в гостиницу проникла группа террористов. Производится осмотр помещений. Тепловизор показал, что в номере находятся три человека. Террористы могли захватить заложников. Действовать пришлось быстро. Так что не обессудьте.

Спецназовец тем временем осмотрел туалет, заглянул в шкаф, за портьеры, даже, крикнув и переломившись в доспехах, сунулся под кровать. Разогнувшись, доложил:

— Чисто!

— Свободен, — сказал борода.

— Руки на одеяло, урод! — вдруг заорал спецназовец, натренированным глазом отследив невидимую пододеяльную возню с трусами.

— Ай! — взвизгнула Олеся. — Я описалась!

Борода, пропустив мимо ушей не понравившуюся Объемову новость, основательно устроился в кресле возле журнального столика, смачно шлепнув по стеклу папкой с бумагами.

— Я могу одеться? — поинтересовался Объемов.

В трусах он почувствовал себя увереннее. В голове даже зашевелились забавные мысли о нарушении прав человека и каком-то ордере, который будто бы кто-то должен был ему предъявить.

— Отдыхайте, товарищ, — с отвращением посмотрел на него борода. — После проверки вас переселят в другой номер и вы... сможете продолжить. Где ваш паспорт?

— В куртке, если я не ошибаюсь, во внутреннем кармане, — потянулся к стулу Объемов.

Закончивший осмотр его сумки оператор (одной рукой он брезгливо перебирал застиранные носки и футболки, другой зачем-то снимал это на видеокамеру) его опередил, прохлопал куртку свободной ладонью, выложил из кармана все, что там было, на стол. Неужели, заужавал оператора Объемов, решил документально — для истории! — запечатлеть нищету русского писателя? Или, мелькнула другая мысль, его морально-нравственное падение? Сразу вспомнились благообразный, седой, аскетично худощавый (наверное, соблюдал все православные посты) министр юстиции Ковалев, гонявший в бассейне голых девиц, и упитанный прокурор Скуратов, бессильно (несмотря на старания других — сухопутных — тружениц сферы сексуальных услуг) раскинувшийся на широкой кровати в похожем гостиничном номере. И пусть, злобно подумал Объемов, пусть покажут по телевизору — хоть кто-то узнает о моем существовании! Только ведь не покажут...

— Паспорт, удостоверение секретаря Союза писателей России, социальная карта москвича, пенсионная книжка, приглашение от министра культуры Белоруссии на научно-практическую конференцию по современному состоянию русского литературного языка, — перечислил извлеченные документы борода.

— Мой доклад открывает конференцию, — с достоинством добавил Объемов.

Борода неторопливо перелистал — не пропустил ни одной страницы! — одновременно проверяя на плотность, паспорт, отложил его в сторону. Прочие документы не вызвали у него большого интереса, а на красно-клеенчатое, с торчащим, как копые, пером (Объемов писал таким, об-



макивая его в чернильницу, полвека назад в школе), заполненное от руки удостоверение секретаря Союза писателей России с расплывшейся фиолетовой печатью вообще посмотрел с недоумением. Зато обратил внимание на привезенные в надежде подарить их уважаемым людям, допустим белорусским издателям, литературоведам, а еще лучше профильным чиновникам, книги. Особенно долго он изучал издание, обложку которого украшала фотография свирепо оскалившегося, бритого наголо Объемова в черной, с черепом и скрещенными костями, косынке на голове. На ней настоял художник издательства, уверенный, что это положительно скажется на продажах. «Агрессия и мужество, — помнится, заявил он, — это то, чего смертельно не хватает русскому читателю. Если нет в тексте, так пусть хоть будет на фотографии». Вдоволь налюбовавшись на агрессивного и мужественного Объемова, постранично протрусив книги за распотыренные обложки, борода переключился на Каролину.

Фотограф, порывшись в ее сумке (Объемов и не заметил, что она пришла с сумкой), протянул бороде паспорт.

— Грибоедова Анна Дмитриевна, — произнес тот, сверился с какой-то бумагой. — Доктор искусствоведения, ведущий специалист Российского государственного института архитектуры и дизайна по ландшафтам восточноевропейских усадеб XVII—XIX веков. Вы, как я понимаю, тоже приехали на конференцию?

— И уже об этом сожалею! — раздраженно отозвалась с кровати Каролина нервно-интеллигентным голосом, каким прежде, во всяком случае с Объемовым, не разговаривала. — Вы так встречаете в Белоруссии всех гостей или только тех, кто из России?

— Объясните свое присутствие в номере господина Объемова, — вежливо попросил борода.

— И не подумая, — надменно ответила Каролина, она же, как только что выяснилось, Грибоедова Анна Дмитриевна, о чем уведомил Объемова очередной пододеяльный кулачный тычок в бок. — Я не обязана обсуждать с вами, уважаемый... не знаю вашего имени-отчества и звания, свою личную жизнь. Василий Тимофеевич Объемов — мой старый и добрый знакомый. В отчете можете написать: «Присутствие в номере объяснила необходимостью согласования позиции российской делегации по итоговой резолюции конференции».

— Давно носите парик, Анна Дмитриевна? — поинтересовался борода.

Похоже, ему было плевать на многолетнее доброе знакомство доктора искусствоведения и секретаря Союза писателей.

— После второго курса химиотерапии. Тогда же мне пришлось обменять паспорт. Видите ли, болезнь вносит некоторые изменения во внешность человека.

— А предполагаемая близость смерти раскрепощает в желаниях, — продолжил борода. — Не сомневаюсь, вы победите болезнь, Анна Дмитриевна. Энергии, желания полноценно, по-молодому жить в вас хоть отбавляй. К тому же современная медицина творит чудеса.

— Где-то, — мрачно уточнила, поправив очки, Каролина, — только не в России.

— Мы осмотрели ваш номер на... пятом, кажется, этаже. Можете возвращаться. Если, конечно, захотите.

Борода поднялся из-за стола.

— Я знаю эту ярву! — вдруг подал голос спецназовец, указав на Олесю. — Работает по вызову. Приезжает с Украины. У нее месяца два назад был привод, расцарапала морду клиенту из Ставрополя. Мужик пригнал в Лиду вагон шерсти, а она...

— Не надо ля-ля! Он забрал заявление.

— Паспорт, — потребовал борода.

— В плаще, — кивнула на ворох одежды на полу Олеся.

Фотограф нагнулся, извлек, порывшись в косметичке, синий, с зубцем (или пикирующим соколом — и такое объяснение национального символа приходилось слышать от знакомых украинцев) паспорт.

— Что вы здесь делаете... в два часа ночи, Олеся Андріївна? — поинтересовался, взглянув на часы, борода.

— Забежала на огонек, — хмуро объяснила Олеся. — Он, — кивнула на Объемова, — меня пригласил, я пришла, а они тут с этой... очкастой, еще и рак у нее, твою мать!

— Пригласил, — повторил борода. — Каким образом?

— Простейшим, — пожала плечами Олеся. — По телефону.

— А вот это мы сейчас уточним! — неожиданно оживился, даже потер руки, как алкаш при виде наполненной рюмки, борода. — И если звонок не подтвердится... Ваш театр трех актеров... Как Станиславский — не верю! Что он говорил? Театр начинается с вешалки? Я вас всех повешу!

Оператор протянул бороде побитый, морально и физически устаревший телефон Объемова.

— Как только переехал границу, сразу списали триста рублей, — обиженно произнес хозяин телефона. — Не знаю, можно ли еще с него звонить.

— Когда вы с ней разговаривали?

— Последний звонок, — ухмыльнулся Объемов, — не ошибетесь.

Зачем я ей позвонил, он вспомнил гостиничную автостоянку, неверный свет фонаря, объявление на столбе. Ночь, улица, фонарь, Олеся... Ведь я и в мыслях не держал ее снять. Провидение. Он вдруг резко успокоился, как если бы воочию увидел ангела-хранителя, распростершего над ним, точнее, над кроватью с тремя головами непробиваемые крылья. Русская воля, подумал Объемов, это провидение, которое есть промысел Божий. Провидение — вне логики, вне математического и любого другого анализа и расчета. В этом загадка России, которую никто не может разгадать. Россия — единая и неделимая часть провидения.

Из вороха одежды Олеси на полу пробилась телефонная мелодия. Борода положил телефон Объемова на стол. Мелодия смолкла.



— Прошу вас соблюдать осторожность, Василий Тимофеевич, — поднялся из кресла борода. — Я скажу дежурному администратору, чтобы вам предоставили другой номер.

В дверной пролом просунулся черный шлем спецназовца:

— На этаже чисто, только в девятьсот первом какая-то пьянь облевалась. Думали, не дышит, «скорую» вызвали, вроде оклемался. Вонь дикая. Здоровый, гад, еле перевернули, пузо как унитаз, жрет, видать, в три горла.

— Это Серафим Лупан, — обрадовался Объемов, — поэт из Молдавии, он сочиняет стихи для детишек.

— Вы видели здесь этих людей? — Борода развернул лист бумаги с нечетким изображением молодой, похожей на певицу Софию Ротару женщины и удивительно напоминающего Гагарина авиационного майора в фуражке. — Это старая фотография. Сейчас они выглядят иначе.

— Майора точно не видел, — твердо ответил Объемов, — а вот даму... Она работает в кафе? Если не ошибаюсь, вы туда тоже заходили. Эти люди — преступники?

— Заходил. Правда, тогда мы не были уверены, что это она. Мало информации, столько лет прошло. Три раза разводилась, гражданка Литвы, каждый год осенью устраивается в Лиде на временную работу в кафе или столовые. Где сейчас живет, с кем общается — неизвестно. Мы направили в Вильнюс срочный запрос, однако не факт, что они быстро ответят. Прочесали все работающие точки общепита. Хотим задать ей кое-какие вопросы, но не можем найти, — развел руками борода. — Закрыла в двадцать три ноль-ноль кафе — и как сквозь землю. Если вдруг увидите, попросите позвонить вот по этому номеру. — Вырвал из блокнота лист, положил на стол. — Это в ее интересах. Они не преступники, — еще раз задумчиво посмотрел на ксерокопию нечеткой фотографии, — скорее объекты странного научного эксперимента с неясными последствиями. Спокойной ночи!

6.

Через полтора часа, лежа на широкой многоподушечной кровати в просторном двухместном номере — борода не обманул! — писатель Василий Объемов вспоминал «Тамань» Лермонтова. Направляющийся к месту службы «с подорожной по казенной надобности», Печорин случайно угодил в сообщество контрабандистов и огреб там по полной. Его обворовали (Объемов судорожно проверил, на месте ли бумажник). Ему непрерывно лгали (это Объемова нисколько не удивило, поскольку ложь являлась естественной реакцией организованной криминальной группы на проявляемый к ее деятельности сторонний интерес). Наконец, молодая контрабандистка не дала Печорину и чуть его не утопила. То есть она отказалась переформатировать посредством секса опасное любопытство Печорина в дорожный любовный роман, сохранила верность главному

контрабандисту Янко. Тот, в свою очередь, не взял в лодку боготворившего его слепого подростка. «На что ты мне?» — сказал Янко. Мир контрабандистов был прост, жесток и мобилен. Печорину повезло, что он уцелел.

И мне повезло, нагло примазался к герою нашего времени Объемов. Я тоже уцелел, мне всего лишь не дали, спасибо, что не обворовали и не утопили. Хотя тезис «не дали» нуждался в уточнении. Когда Каролина обхватила его венозными ногами-клешнями, а скульптурная Олеся (поразмыслив, Объемов разжаловал ее из римской статуи в советскую гипсовую парковую девушку, правда, без весла) воткнула в спину острый железный каблук, Объемов не поехал, потому что это было невозможно. А потом уже и не просил, потому что поезд ушел.

Несколько часов назад, заселяясь в гостиницу, усиленно ужиная в кафе, писатель Василий Объемов находился в одной реальности. Сейчас — в другой. Он, как и Печорин, угодил в нее случайно, путешествуя по казенной надобности. Но если Печорин не возражал сыграть с контрабандистами на собственную жизнь, у пугливого и осторожного Объемова подобное желание отсутствовало напрочь.

Потому-то, привычно, точнее с облегчением, вздохнул он, Россия и катится в пропасть. Объемов всегда с готовностью (а как иначе?) делился своими персональными недостатками с Родиной-матерью. Когда-то давно он даже написал статью о русском народе под названием «Коэффициент бездействия». По мнению Объемова, в русском народе коэффициент бездействия зашкаливал. Власть это прекрасно понимала, с давних времен вводила в стране различные ограничения для представителей других этносов, типа черты оседлости, квот на поступление в университеты, занятие управленческих должностей в преимущественно русских уездах. Энергичный инородец, попадая в расслабленную русскую среду, ощущал себя чем-то вроде испанского конкистадора среди не знающих цены золота (применительно к России — природных богатств) и сильно пьющих индейцев. Но власть в России — еще одна ее загадка! — никогда не ощущала себя русской, а потому не была последовательной в мерах по преодолению бедственного положения русского народа. Она охотно принимала от народа единственное подношение — покорность, злоупотребляла им и в итоге (после национальной, социальной и территориальной катастрофы в одном флаконе) сдавала страну новой власти — еще менее русской по мироощущению. Хорошо, если не победительно антирусской, как большевики-ленинцы в семнадцатом году. Или, наоборот, плохо, потому что большевики все-таки собрали Россию. А вот смогли бы ее собрать белогвардейцы или Учредительное собрание? Объемов был склонен согласиться с фельдмаршалом Минихом, утверждавшим в середине XVIII века, что Россия — страна, управляемая напрямую Господом Богом, потому что иначе объяснить ее существование невозможно. Похоже, промысел Божий относительно России и был самой главной ее загадкой, выражаясь языком Канта — загадкой в себе.



В признании этого очевидного факта нет ни гордыни, ни презрения к народу, прислушался к тишине за дверью Объемов (гостиница после спецназовского налета словно вымерла), потому что русский народ — это я! Или, если угодно, я тоже. И если я, писатель и... общественный деятель (ведь пригласили в Белоруссию на конференцию!), столько лет пребываю в ничтожестве и бездействии, значит, в таком состоянии пребывает вместе со мной русский народ! Народ — *красный гигант* или *белый карлик*, Объемов запутался в астрономических дефинициях (пришла на память даже такая, как *черная дыра*), а я — крохотный астероид на его орбите. Мой удел — крутиться сначала вокруг красного гиганта, потом белого карлика, сейчас... неужели черной дыры? Или оторваться и улететь в никуда — в сон, в вековечную мечту, в несбыточную надежду?

Мы спим, покосился на лишние подушки в головах Объемов, и видим во сне личность, готовую принять на себя бремя действия. Иначе Россия, вспомнил он свой недавний позор, не поедет. Как она поедет, если мы (он снова с дрожью вспомнил Каролину в очках и парике) сами себя обхватили жилистыми ногами, а в задницу нам (вспомнил Олесю) вонзила железный каблук подлая воровская власть? Проснуться шансов нет. Будильники отключены и спрятаны. Власть делает все, чтобы сон превратился в кому, чтобы Илюша Муромец никогда не проснулся.

Единственная надежда — несбыточная? — что некая, появившаяся неизвестно откуда личность взломает сон, как подводная лодка арктический лед. И тогда бремя действия волшебным образом преобразуется во время, точнее, в радость действия пробудившихся масс. Тогда зазвенят кимвалы новой общественно-экономической формации, кровь оросит надежду. А потом, отважно заглянул в будущее Объемов, после великой победы или сокрушительного поражения (это две разведенные во времени и пространстве стороны одной медали), надежда погаснет, растворится в ничтожестве подлого повседневного бытия, чтобы по прошествии времени снова воссиять и воззвать! Только вот, отстраненно и холодно подумал писатель Василий Объемов, крови для ее орошения с каждым разом будет требоваться все больше и больше. Кровь в этой радости всегда идет по нарастающей. Революция — смеющийся вампир, вспомнились ему слова отправившего немало людей на гильотину и в итоге самого сложившего голову под ее косым ножом якобинца Сен-Жюста. Объемов как будто увидел растянувшуюся в ночном небе кровавую ухмылку, как некогда Алиса в Зазеркалье увидела улыбку Чеширского Кота.

А еще, продолжил он мысль, внутри массового действия сама собой отольется новая форма для отливки новых людей. Кто-то отольется для радости, а кто-то уйдет в отвал. И не будет между людьми радости и людьми отвала мира и сотрудничества, а будет боль, ненависть и... новая революция. Вампир всегда смеется последним, потому что смеется и над победителями, и над побежденными. А еще — потому что по своему усмотрению меняет их местами.

Ты, строго, как Родина-мать с плаката, спросил себя писатель Василий Объемов, готов отлиться в новой форме? И сам же себе (Родине-матери) ответил: нет! Значит, пробуждение — не факт, предательски подумал он, переворачиваясь на другой бок. Кто сказал, что растворение в свободном ничтожестве, помноженном на усиленный ужин, не жизнь? Не всем охота отливаться в новой форме, идти на корм смеющемуся вампиру, пусть даже это неперемное условие грядущего... величия России. На кой хрен лично мне такое величие?

«Где ты?» — вдруг, как библейский Моисей в окрестностях неопалимой купины, услышал Объемов страшный для русского человека вопрос. Все, перепугался он, слуховые галлюцинации, рассеянный склероз! Но, собравшись с духом, как Моисей же, мужественно ответил: «Я здесь!» — а потом уже от себя честно закрыл тему: «Между формой и отвалом. И нет воли, Господи, выбрать».

Коэффициент бездействия, резко опустил планку странных литературно-обществоведчески-религиозных изысканий писатель Василий Объемов, уравнивается в формуле бытия (государства, народа, отдельно взятой личности) коэффициентом риска. В характере Печорина коэффициент риска едва ли не превосходил аналогичный у контрабандистов. Коэффициент риска у Объемова был величиной блуждающей, почти неразличимой внутри математической погрешности. Печорин ничего не выиграл, зато сломал контрабандистам игру. Объемов тоже ничего, кроме отвращения и презрения со стороны гэбистов (он надеялся, что им не придет в голову отправить видеозапись постельного допроса в Союз писателей), не выиграл. Но и не дал проиграть Каролине, Олесе, свалившемуся через шестнадцать лет с неба майору Лешке и... загадочному деду из Умани, если, конечно, тот был в курсах. Хотя, может, дед ни сном ни духом — шлифовал себе пятки напильником да поджидал, укрепившись виагрой, очкастенькую завучиху.

Игра контрабандистов была проста и, в принципе, понятна Печорину. Игра собравшихся полтора часа назад в гостиничном номере людей была Объемову непонятна. Похоже, и сами игроки не вполне ее понимали, действовали, как говорится, по прецеденту. Власть в лице охраны стремилась нейтрализовать потенциальных носителей секретной информации. Каролина и Олеся — уберечь от власти пропавшего без вести (по вине власти, кого же еще?), но спустя шестнадцать лет загадочно объявившегося мужа и отца. Печорин был лишним человеком для контрабандистов, подрывавших экономику николаевской России. Объемов оказался нелишним для избегавших контактов с госбезопасностью объектов странного научного эксперимента с неясными последствиями. Кажется, так выразился борода. Объективно лишний человек Печорин принес пользу России. Что принес России патриот Объемов, пока было неясно. А что, если, мелькнула нехорошая мысль, патриот сегодня в России и есть даже не лишний, а сверхлишний человек? Народ, сама собой продолжилась мысль, тоже лишний, однако его пока слишком много.



Я не струсил, рискнул, еще как рискнул, подбадривал себя, ворочаясь в кровати, Объемов, только непонятно... что я буду с этого иметь? Перебрав варианты, он пришел к выводу, что единственно возможный бонус для него — Олеся! Объемов даже нашарил на тумбочке телефон, чтобы ей позвонить, но потом устыдился. О чем он, когда на кону... Россия! Да и Олеся была бы полной дурой, если бы после допроса не отключила телефон, не вытащила из него симку.

А еще у Объемова неожиданно сложился сюжет (сейчас такое безобразие входило в моду) для рассказа «Тамань-2». Печорин не уехал по казенной надобности, а примкнул к контрабандистам, отбил дивчину у Янко, разобрался с конкурентами, создал настоящую морскую бандитскую империю. У слепого (Печорин его пожалел и приблизил к себе), как у болгарской Ванги, открылся дар предвидения. Он предсказал Крымскую войну и поражение России. Печорин тайно встретился в Севастополе с Николаем Первым, а потом...

Бред! Не мысль изреченная есть ложь, поправил Тютчева уставившийся в смутный и как будто слегка кружащийся потолок Объемов, а жизнь изреченная есть ложь! Я переутомился, он закрыл глаза, хорошо бы заснуть.

Но сон не шел.

...Когда легкие шаги гэбистов и тяжелые — спецназовцев в коридоре стихли, Каролина и Олеся стали одеваться, обидно не обращая внимания на писателя Василия Объемова. Он топтался между ними в позорных, купленных на рынке в городе Невеле (ближайший к его деревне райцентр) трусах, а они шуршали колготками, искали на полу обувь, равнодушно задевая его объемными бедрами. Их разговор напомнил контрабандистов из «Тамани».

— Сдурела? — спросила, защелкивая бюстгальтер, Каролина у Олеси. — Зачем пришла?

— Так он вырубился, захрипел, задергался, думала, концы отдаст. Куда я? Они зайдут, а я с трупом, да?

— Ладно, хоть живой, — согласилась Каролина. — Много ему накапала?

— Да нет, — пожала плечами Олеся. — Норму — чтобы встал и кончил. Он, наверное, больной. Или до этого принял.

— Ты же говорила, что с ней не общаешься, — зачем-то уличил Каролину в изреченной ранее лжи Объемов, — она с мужем в Одессе, а ты к ним ни ногой.

— Ага, — откликнулась Олеся, — второй год сидит, козел, без зарплаты. Кофейную машину, которую ты, мам, из Германии привезла, — повернулась к Каролине, — пропил! Сказал, чтобы я без денег не возвращалась.

— Не переживай, — махнула рукой мать. — Там в парке кафе закрывали, технику на улице выставили, бери что хочешь. Надо было все забрать и к вам на трейлере.

— Так это когда? — возразила Олеся. — Сейчас негры и арабы... в момент.

— А муж что, — растерялся Объемов, — знает про твои... проделки?

— Хер знает, что он знает, — ответила Олеся. — Мне какое дело? Детей кто будет кормить?

Объемов, окончательно растерявшись, взял со стола паспорт. С фотографии на него мрачно уставилась... Каролина в белом парике и круглых выпуклых очках.

— Грибоедова, — пробормотал. — Она... потомок?

К своему стыду, он запомнил, успел ли Грибоедов за короткую жизнь обзавестись детьми.

— Говорит, что по какой-то внебрачной линии, — забрала у него паспорт Каролина. — Позавчера приехала, ездит по области, осматривает усадьбы. Два раза у меня завтракала и ужинала. Образованная дама. Как начнет про литературу, про деревья и газоны — не заткнуть. Рассказывала, что Грибоедов женился на этой, как ее... грузинке...

— Нине Чавчавадзе, — подсказал Объемов. Это он помнил.

— Когда ей было то ли четырнадцать, то ли пятнадцать лет. Любил сидеть у камина и смотреть, как она играет с куклами. Он что, извращенец был, как его... педофил?

— Вранье, — возмутился Объемов. — Он был герой. Она всю жизнь по нему тосковала, отказывала женихам и умерла... от холеры.

— Анна Дмитриевна утром в Гродно с ночевкой уехала, — продолжила Каролина. — Я как войска из окна увидела, сразу вниз, а на выходе уже документы смотрят. Ну все, думаю, попалась. И Олеську подвела, мы с ней вместе должны были... А ты, — с подозрением посмотрела на дочь, — зачем так рано пришла?

— Думала, успею. Этот... боров, как фамилия... Горлопан?.. двести долларов обещал. Голос по телефону бодрый такой, а как увидела его...

— Не расплатился? — встревожилась Каролина.

— У меня всегда вперед, — хмыкнула Олеся, — но с него надо было больше. Думала, расплющит пузом.

— Как к тебе попал ее паспорт?

Объемов натянул спортивные трикотажные штаны. Мимолетно поймав в зеркале отражение, он подумал, что ему вполне подходит определение — баран. Так сказать, производное между нищим безработным козлом — мужем Олеси и похотливым боровом — детским поэтом из Молдавии Серафимом Лупаном, показавшим в Белоруссии свое истинное лицо.

— Легко, — нервно зевнула Каролина. — Увидела, что он лежит на ресепшене. Она сдала на регистрацию, а забрать, видеть, забыла. Пока дежурную в холле допрашивали, я цап — и в подсобку. А как фотографию увидела... Господи, это же я... — покосилась на Объемова, — ну, лет через десять. Взяла Олеськин парик, а очки один идиот в буфете на столе

оставил. Напился, скотина, все меня маринованными опятами соблазнял, торговать приехал из Великих Лук... Кому тут нужны его опята?

— Подожди, — заторопился Объемов, увидев, что дамы опасливо выглядывают сквозь дверной проем в коридор. — Почему вы пришли ко мне? Откуда ты знала, что я...

— Лешка сказал, — прислонила палец к губам Каролина. — Иди в девятьсот седьмой, он все знает и не выдаст. Так он сказал.

— Что знаю? Больше ничего не сказал? — сел на кровать Объемов.

— Сказал: «Мужик в теме».

— В какой теме? — вскочил с кровати Объемов.

— Понятия не имею, — ответила уже из коридора Каролина.

7.

В третий, заключительный день международной научно-практической конференции, посвященной современному состоянию русского литературного языка, участников повезли на автобусе в поселок Ивье, где только что завершилось строительство нового аэропорта для малой авиации. Торжественное его открытие планировалось через две недели. Международная авиационная комиссия должна была оформить новому аэропорту сертификат и утвердить частоту для работы диспетчеров.

Белоруссия, рассказал по дороге сопровождающий (явно из научной национально ориентированной среды), в ближайшем будущем превратится в Мекку экологического туризма. Великое княжество Литовское, сердцем которого являлась Белая Русь, было самой экологически чистой, свободной, благоустроенной и культурной территорией тогдашней Европы. Именно в то время Франциск Скорина разработал основы европейской христианской философии. Но после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году, развел руками сопровождающий, с белорусским ренессансом было окончательно покончено. Чернобыльская катастрофа нанесла экологии Белой Руси последний и самый страшный удар. Однако сейчас Белоруссия возрождается, возвращается к традиционным началам европейской Белой Руси.

— Не могли бы вы просветить нас насчет этих начал? — прервала с ближнего сиденья политизированного историсофа въедливая Анна Дмитриевна Грибоедова.

Каждый раз, видя или слыша ее, Объемов вздрагивал и опускал глаза, до того настоящая Грибоедова была похожа на Каролину. Анна Дмитриевна замечала это и смотрела на него с недоумением. Ей было трудно понять причину его стыдливого смущения. А Объемову было трудно перестать воспринимать Анну Дмитриевну как голую Каролину, обхватившую его крепкими жилистыми ногами. Мужик, приехавший в Лиду из Великих Лук торговать маринованными опятами и потерявший в буфете очки, сразу раскусил эту авантюристку! И ведь какую фамилию перехватила, запоздало негодовал, краснея, Объемов, — Грибое-

дова! Священную для русской литературы фамилию! Да в одной цитате из «Горя от ума» — «Чтобы иметь детей, кому ума не доставало?» — вся суть человеческой цивилизации!

Слегка похмельная (участников конференции угощали на славу) голова писателя шла кругом: настоящая, хоть и по боковой линии, Грибоедова — Анна Дмитриевна; лже-Грибоедова — Каролина; неведомый мужик, приехавший из Великих Лук в Лиду торговать опятами и соблазнявший ими Каролину... Интересно... Нет, строго осадил себя Объемов, мне совершенно неинтересно, чем закончилось амурное дело с маринованными опятами. При чем вообще здесь грибы? Но тут же сквозь тонкую пленку здравого смысла грибом выперло название авангардистской телепередачи безвременно скончавшегося композитора и музыканта Сергея Курехина «Ленин — гриб». Следом припомнилась народная примета, что многогрибье — к беде и войне. Будто бы летом 1914-го народ не знал, куда деваться от грибов, а в сорок первом грибы строем пошли с середины мая. Гитлеровские танки в конце июня вязли в грибной распутице. Это был вещий знак, репетиция того, как они завязнут в настоящей распутице в начале октября под Москвой. В конце концов, и собирающаяся приструнить белорусского историсофа Анна Дмитриевна Грибоедова увиделась Объемову в образе... гриба на длинной тонкой ножке с двумя круглыми улитками (очками) на шляпке.

— Охотно, — между тем ответил Анне Дмитриевне историсоф. — Вот эти начала: экология, свобода, порядок, культура.

— Вы забыли про пятое начало — народ! — скрипуче отозвалась та, сверкнув очками.

Улиточный гриб был явно (для самозванного историсофа) несъедобным. Осознав это, он сменил чреватую тему на бесплодную служебно-скудную:

— Аэродром построен для того, чтобы состоятельные клиенты из Европы могли легко и быстро на своих частных самолетах добираться до экологических жемчужин Белоруссии — ее лесов, озер и рек, а потом, насладившись отдыхом на природе, бесппроблемно возвращаться домой.

В автобусе писатель Василий Объемов устроился рядом с молдавским поэтом Серафимом Лупаном. Седой, в тонком летнем костюме и свежей рубашке, при золотых часах, к тому же еще, как выяснилось, депутат молдавского парламента, Серафим смотрелся олигархом, вздумавшим демократично прокатиться на экскурсию вместе с нищими литераторами.

Сейчас события двухдневной давности казались Объемову каким-то нелепым сном. Когда он с тяжелым сердцем пришел утром завтракать, в кафе на двадцатом этаже распорядился улыбчивый паренек, запутавший его пересчетом российских рублей в белорусские за сто граммов коньяка, не предусмотренного в оплаченном (уже не усиленном, а ослабленном) завтраке. Вчера вечером здесь была женщина, кажется Каролина, осторожно заметил Объемов. Паренек развел руками: «Я работаю



в ресторане на втором этаже. Меня попросили ее заменить, наверное, заболела».

В перерыве между заседаниями в центральной городской библиотеке имени Янки Купалы Объемов озадачил Фиму Лупана неуместным откровением. Мол, снял с фонарного столба на автостоянке телефончик, позвонил какой-то Олеся, а та не пришла. Фима благодушно улыбнулся в ухоженную седую бороду, никоим образом не осудив старого приятеля (они подружились сорок лет назад на Всесоюзном совещании молодых писателей), но и промолчал о своих ночных приключениях. Он никак не походил на человека, которого ночью откачивала «скорая помощь».

С давних времен Объемова изумляла и восхищала способность Фимы респектабельно и опрятно выглядеть наутро после самых диких и безобразных гулянок. Во времена СССР они часто пересекались на писательских съездах, семинарах и днях советской литературы в разных областях и республиках необъятного Советского Союза. После 1991 года размах подобных мероприятий резко сузился, утратил державную мощь, однако алгоритм их проведения остался прежним. Хмельная тень СССР все еще тянулась за писателями из России и их пишущими на русском коллегами из бывших республик, а ныне независимых государств. А может, этот алгоритм не зависел от того, при капитализме, социализме или феодализме (далее Объемов не заглядывал) существовало общество. «А вот у поэта — всемирный запой, и мало ему конституций», — еще черт знает когда провозгласил Александр Блок.

«Мне нельзя иначе, — помнится, объяснил свой феномен Фима полуживому после ужина на базе отдыха «Долина нарзанов» в Кабардино-Балкарии Объемову. — Детский поэт обязан быть чистым, красивым и добрым, особенно если он... пишет стихи о Ленине».

В автобусе Фима охотно прикладывался и давал приложиться товарищу к красивой серебряной фляжке с добрым молдавским коньяком. Приметливый Объемов заинтересовался эмалевым гербом на фляжке, разглядев в нем среди стрел и сабель... два кривых, в капельках крови клыка.

— Герб рода графа Дракулы, — объяснил Фима. — Его потомки заказали мне поэму.

— Для детей? — удивился Объемов.

— Влад Дракула теперь во всех румынских и молдавских учебниках, — с едва заметной иронией, совсем как раньше, когда на днях советской литературы, допустим в Хакасии, он читал на молдавском стихи о Ленине, улыбнулся Фима. — Пламенный борец за свободу Трансильвании против... русской тирании.

— Но ведь Русь тогда сама сидела под татарами, — напомнил Объемов.

— Ты забыл, — рассмеялся Фима, — Дракула был вампиром-долгожителем. Есть версия, что он дотянул до XIX века.

Жаль, подумал Объемов, что не слышит Анна Дмитриевна Грибоедова. Она как-то неожиданно задремала, прислонившись головой к окну.

Очки-улитки готовились соскользнуть с кончика носа, как с наклонного сучка. Самому ему не хотелось спорить с импозантным, легко переориентировавшимся с Ленина на Дракулу Фимой. Он даже засомневался, а вдруг это какой-то другой гостиничный боров чуть не задавил Олеся тяжелым, как унитаз, пузом? И еще: о Ленине ли читал в далекие советские годы стихи Фима на молдавском языке в залах, где никто, кроме него, не знал этого языка? (Некоторые лингвисты утверждали, что он произошел от блатной латыни.) Вдруг он просто материл вождя мирового пролетариата и советскую власть? А доверчивые слушатели ему бурно аплодировали. А сейчас Фима — депутат молдавского парламента — рассказывает на встречах с избирателями, как дурил русских лохов...

— Зачем нас везут в аэропорт? — спросил Объемов, возвращая кофляжечную фляжку.

— Скорее всего, на них повесили заключительный банкет, — объяснил Фима. — Но вообще-то, малая авиация — хорошее дело, за ней будущее. Надо посмотреть, какая там полоса.

— Зачем? — удивился Объемов. — У тебя что, есть личный самолет?

— Люди из Трансильвании раскопали интересные документы в монастырских архивах. Хотят видеть меня немедленно. Если полоса готова, они пришлют за мной самолет. Два с половиной часа — и я в Брашове, в замке Дракулы.

— К чему такая спешка?

— Я спросил, — пожал плечами Фима, — они ответили: «Дракула все делал быстро».

— Как Ленин, — ляпнул Объемов.

— Даже быстрее, — усмехнулся Фима.

Откинувшись в автобусном кресле, глядя на аристократически прогуливающих по убранным белорусским полям аистов и народно путающихся у них под ногами грачей, Объемов подумал, что все эти годы он недооценивал товарища, не придавал значения однажды вскользь произнесенной им по какому-то незначительному поводу фразе: «Жизнь — это результат». Сегодня результат был налицо. За Фимой потомки графа Дракулы были готовы прислать самолет, а Объемов на десятилетнем «дожде» собирался пилить через всю Белоруссию в свой разваливающийся дом в нищей деревне Невельского района Псковской области.

И аплодировали на конференции Фиме сильнее, чем Объемову, — почти как в советские времена, когда он читал в домах культуры стихи о Ленине. Особенно понравились местной и приглашенной творческой интеллигенции слова Фимы о том, что русский язык уходит, чтобы никогда не вернуться. Но мы, успокаивающе подмигнув Объемову, смягчил он угрюмый прогноз, литераторы разных национальностей, жившие в СССР, обречены доживать с этим языком, как с хомутом на шее, потому что творили, существовали в его среде в свои лучшие годы. Нам поздно переучиваться. Мы пленники, притороченные к стремени умирающего



всадника на издыхающей лошади. Фиму, похоже, увлекла конная тема. Неужели держит лошадей, подумал Объемов. Но следом за нами, продолжил оратор, идут поколения, которым русский язык не нужен. Они не будут его изучать даже не потому, что он для них генетически неприемлем, как язык порабощенных, а потому, что никто никогда не изучает язык проигравших и побежденных. Когда народ теряет волю и энергию, язык вырождается, превращается в одолеваемого рассеянным склерозом, забывающего собственное имя старика маразматика. У русского языка за пределами России будущего нет. Проблематично его будущее и в самой России — на территориях, населенных другими этносами. И все-таки я, завершил выступление Фима, буду до конца своих дней любить русский язык, говорить на нем и верить в его победу, как верили в нее советские люди в сорок первом году! В разгромившей фашистскую Германию армии команды отдавались на русском!

Оживленная дискуссия о печальной судьбе русского языка продолжилась на круглых столах. Объемов, естественно, опроверг Фиму (тот, правда, был на другом круглом столе и не слышал), приведя в пример немецкий язык, интерес к которому в мире, особенно в Европе, стабильно растет. Немцы что, не проиграли Вторую мировую войну, не пережили национальную катастрофу? Можно подумать, они сейчас осмелели? Нет! Безропотно принимают толпы беженцев, живущих за их счет, лапающих их фрау и фрейлейн и плевать хотевших на их порядки! Возражать Объемову взялся какой-то литовец, по всей видимости потомок прибалтийских нацистов. Он заявил, что разница между отношением к немецкому и русскому языкам заключается в том, что немецкий народ не был сломлен, бился против всего мира до последнего, *заархивировав в душе* (так выразился этот литовец) *синдром отложенной победы*. Русские же в девяносто первом году, обладая самой сильной армией в мире, сдались Западу без борьбы. Поэтому, сделал вывод фашиствующий литовец, русский язык не только язык проигравших и побежденных, но еще и язык сдавшихся, то есть тройне позорный язык. Объемов запустил в литовца блокнотом, тот в него — открытой пластиковой бутылкой с водой. Бутылка до цели не долетела, как из шланга веером окатила круглый стол. Больше всех досталось молодящейся украинской поэтессе. С нее потекла косметика. Поэтесса завизжала как резаная. Модератор оперативно закрыл дискуссию. Подготовившие выступления участники возмущенно задвигали стульями. Литовец как-то незаметно исчез из зала. Позже выяснилось, что он торопился в аэропорт на рейс... в Москву.

Сделав вывод, что больше его никогда не пригласят в Белоруссию ни на одно литературное мероприятие, Объемов странно успокоился, перестал гоняться за белорусскими начальниками со своими книгами, проникся неожиданной внутренней свободой. Следом за ощущением свободы к нему вернулось (как библейский блудный сын после долгого отсутствия) достоинство. Он перестал робеть, отважно провозглашал на банкетах тосты за русский язык и великую русскую литературу, потре-



бывал у организаторов конференции карту дорог Белоруссии, которую ему тут же испуганно принесли. Уже и строгая Анна Дмитриевна Грибоедова одобрительно поблескивала в его сторону очками-улитками, а украинская поэтесса уточкой отходила от него подальше. В последний день конференции писатель Василий Объемов, можно сказать, был счастлив — как человек, ставший самим собой.

8.

Гостей принимал директор аэропорта. Он сообщил, что подлетное пространство контролируют специально обученные соколы. Один такой сокол, действительно, стрелой пронесся высоко в небе. Его преследовала стая верещащих ласточек и явно не выдерживающая темпа погони ворона. Сведущий в орнитологии директор объяснил, что молодые хищные птицы не сразу осознают свою природу, первое время робеют нападать на других птиц, чем те пользуются, атакуя неопытных хищников большими стаями. Но потом, успокоил директор, все становится на места. Объемову стал ясен план вороны. Когда гонимый ласточками юный сокол обессилеет, подтянувшаяся ворона добьет его чугунным клювом, а заодно и полакомится свежатинкой.

Участников конференции сводили в дубовую рощу, где протекала небольшая речка, показали бобров, устроивших там хатки. Затем провели по взлетно-посадочной полосе. Она оказалась выше всяких похвал — прямая, ровная, без единого шва, как путь праведника в рай. Потомки Дракулы могли смело присылать самолет в Ивье.

Прощальный ужин, как и предсказал опытный Фима, организовали в светящемся металлом и серебристым пластиком зале нового аэропорта. Когда солнце зашло, над аэропортом образовался туман. Сидя за столом между Фимой и Анной Дмитриевной, Объемов вдруг вспомнил другой аэропорт — столицы Словакии Братиславы.

...Пятнадцать лет назад, тоже ранней осенью, он возвращался из Вены со съезда русскоязычных литераторов в Москву через Братиславу. Он попал на этот съезд случайно. Никто его, естественно, не приглашал. Русскоязычные литераторы (в основном выехавшие в Европу по брачным объявлениям, но не нашедшие там счастья дамы и натурализовавшиеся неудачливые бизнесмены) понятия не имели о существовании писателя Василия Объемова. Как, впрочем, и он о рассеянных по Европе русскоязычных литераторах. Но съезд проводился на российские деньги по линии то ли МИД, то ли фонда «Русский мир». Кто-то из ожидаемых гостей в последний момент не смог. Объемов удачно подвернулся под руку одному знакомцу — бывшему комсомольскому поэту, а ныне начальнику департамента в Министерстве культуры. Тот и отправил его в Вену, правда, ограничив в командировочных. Возвращаться Объемов почему-то должен был за свой счет.



Обратный билет из Братиславы стоил дешевле, чем из Вены, и Объемов решил сэкономить. За пять евро доехал на автобусе, не заметив границы, от венского автовокзала Эрдберг до братиславского аэропорта, который местные славяне называли по-простому — Иванка.

Пока Объемов бродил по Иванке (он прибыл с большим запасом времени), искал табло, интересовался номером регистрационной стойки, покупал в duty free (опять же из экономии) бутылку иорданского арака, стоившую дешевле виски и даже местной сливовицы, опустил непроглядный туман. Мир за пределами аэропорта как будто перестал существовать. Фары машин, как тупые спицы, скользили по непробиваемому белому полотнищу. По громкой трансляции объявили, что в связи с нелетной погодой аэропорт закрывается на восемь часов. Машины, мерцающая стоп-сигналами, красными бусами повисли на шее ведущего в город шоссе. Здание стремительно опустело.

Объемов в бешенстве (как гранату) выхватил из сумки бутылку. Он взял в duty free последнюю — из холодильника. Охлажденный и встряхнутый арак цветом и видом был один в один с поглотившим все туманом. Лечить подобное подобным, вспомнил Объемов бессмертный афоризм, напряженно размышляя, чем будет закусывать пятидесятиградусный арабский самогон?

После шибанувшего в нос анисом арака настроение улучшилось. Даже некая прелесть открылась Объемову в сидении в братиславском аэровокзале, в то время как многие его собратья по перу и думать не могли о путешествиях по Европе. Достав из сумки книгу Иоахима Феста «Гитлер» с черно-белой фотографией фюрера на обложке, он переместился поближе к окнам, где было светлее. Не то чтобы его сильно интересовал преступник номер один — книга случайно попала на глаза, когда он собирал дома сумку. Тут обязательно будет про Вену, рассудил писатель Василий Объемов, задумчиво взвешивая на руке солидный том (его всегда удручали лишние вещи в багаже).

Он начал читать Феста в самолете, но быстро заскучал. В Вене вообще хотел оставить «Гитлера» в гостиничном номере, да постеснялся. Люди из отеля могли подумать, что он случайно забыл важную для него книгу, и передать ее организаторам съезда. Те — дальше по цепочке в российское посольство. Там бы начали выяснять, кто такой Объемов и как он попал на съезд? Книгу, понятное дело, ему бы не вернули, а вот ненужную известность, как фашист, он бы, точно, приобрел. Хотя, в силу малозначимости его личности для работников российских загранучреждений, это ничем Объемову не грозило.

Кроме него у окон в опустевшей секции расположились две женщины: молодая негритянка с торчащими из головы, как разноцветные карандаши, дредами и одетая не по возрасту — в джинсах и кроссовках — пожилая представительница белой расы. Приглядевшись, он определил, что тугая, с трудом удерживающая себя на месте, пританцовывающая в кресле темнокожая девушка не чистая африканка, а, скорее всего, плод



любви негра и южноамериканской индианки (или, наоборот, краснокожего индейца и черной как уголь негритянки). Его как будто опалило пламя этой любви — так живо вообразил себе Объемов сцену близости родителей девушки. Она была произведением другого мира, и тот был мощнее и первобытнее мира Объемова. Он с тревожной грустью подумал, что морально и физически изношенная белая плоть не выдержит напора этого мира.

Мысль просквозила стороной, как косой дождь (по Маяковскому). У Объемова не было инструментария, чтобы ее развить, довести до логического абсолюта, а главное, сделать выводы и определить пути решения проблемы. Все обрывалось в вакууме между выводами и путями решения проблемы. Решение отсутствовало. Обобщенной белой плоти было предназначено существовать (доживать?) вне решения. Неужели, отстраненно ужаснулся писатель Василий Объемов, закон вечности в том, что нет ничего вечного? Миллионы лет по Земле ходили динозавры, и где они? Какая разница, какого цвета люди будут ходить по Земле через сто или двести лет? Тем более что меня-то уже точно не будет...

Вздыхнув, он вытянул ноги и погрузился в чтение Иоахима Феста.

«Интересная книга?» — вдруг услышал мелодичный, с акцентом голос. Оторвавшись от книги, он увидел, что старуха в джинсах и кроссовках сидит напротив него в кресле, уставившись в черно-белую фотографию Гитлера на обложке.

«Как вам сказать, — растерялся Объемов, — слишком много второстепенных подробностей, и еще мне не очень нравится перевод. Вы... говорите по-русски?» А что, если, с раздражением подумал он, забыть этого Феста в аэропорту, чтобы никто ко мне не приставал!

«Говорю, — подтвердила старуха, — но больше читаю. Отец вывез мою мать из *Совдепии*. Она жила в Омске, а он служил в Чехословацком корпусе, который захватил всю Сибирь и похитил золотой запас Российской империи. В Чехословакии при Масарике русский был в ходу».

Объемов внимательно рассмотрел неожиданную собеседницу. Не такая уж она оказалась и старуха. У нее было довольно гладкое, слегка помеченное пигментными пятнами подтянутое лицо, серые прозрачные глаза в птичьих лапках морщин и седые, словно заиндевевшие, волосы, забранные сзади в мотающийся плетью хвост. В аэропорту было тепло, но рядом с этой дамой ему стало холодно, как будто она шагнула из холодильника, забыв прикрыть за собой дверцу. Молодая старуха, вспомнилось гениальное определение Достоевского. Старуха, вернувшаяся с холода, перефразировал название знаменитого романа Джона Ле Карре Объемов. Дух каждой нации, вспомнил он мудрые слова этого писателя и шпиона, находит отражение в характере деятельности ее разведки. И, не удержавшись, снова перефразировал: «Дух каждой нации находит отражение в характере деятельности ее старух». Интересно, подумал Объемов, какая нация отражена в характере деятельности этой старухи?



«Я слышала его в Праге весной тридцать девятого, — кивнула на фотографию старуха, — но тогда он выглядел старше. У него были мешки под глазами и дергалась щека».

«Это фото... — зашелестел страницами Объемов, — тридцать второго года, за несколько месяцев до прихода к власти».

«Мне было пятнадцать лет, я стояла с цветами на Парадном дворе в Граде, а он говорил из окна. В тот год была ранняя весна, яблони и груши в садах вокруг Града цвели. Он, наверное, видел из окна. Теплый ветер засыпал двор розовыми и сиреневыми лепестками. Мне было совсем не холодно».

«Вы помните, какие это были цветы?» — задал странный вопрос Объемов.

«Белые гиацинты. Отец дал мне букет. Он хотел, чтобы я их подарила Гитлеру (у нее прозвучало: «Хитлеру»), но он тогда не спустился на площадь».

«Вы... по отцу немка?» — предположил Объемов.

«Он был наполовину судетский немец, наполовину словак, — ответила дама. — Меня зовут Алгбета».

«Василий, — представился Объемов, — жду рейса на Москву. А вы?»

«В Амстердам. Оттуда в Йоханнесбург, это в Южной Африке, и обратно».

«Не ближний свет», — уважительно заметил Объемов. Какое-то у нее *алфавитное* имя, подумал он, и сложное происхождение. «Южная Африка — прекрасная страна», — продолжил светскую беседу.

Спрашивать, кем был озаботившийся букетом белых гиацинтов для фюрера отец Алгбеты, он не решился. Точно не Юлиус Фучик. В общих чертах Объемов знал историю возникшей в тридцать девятом году, когда вермахт вошел в Прагу, независимой Словакии — союзного Третьему рейху марионеточного государства, а потому догадывался, почему эта дама летит в Южную Африку. Она была *с той стороны*.

«Южная Африка давно не прекрасная страна, — ответила Алгбета. — Я прожила пятьдесят пять лет на ферме в Северном Трансваале. Сейчас это провинция Мпу...маланга, кажется, так. Я лечу в Йоханнесбург, чтобы оформить передачу местной общине земли и того, что осталось от фермы. Они ее год назад сожгли, а моего мужа Юхана убили. Он успел уложить двоих из старинного трофейного винчестера. Дед Юхана добыл его у англичан в битве при Кимберли сто лет назад во время Англо-бурской войны. В подвале был огнемёт, только Юхан не успел его заправить горючей смесью. Дочь сейчас живет в Голландии, но ей не дают гражданства, потому что мы не урегулировали имущественные отношения с правительством Южной Африки. Они недавно приняли закон о... Как это по-русски? Компенсация за утраченное имущество для белых. Ее дают в том случае, если белый южноафриканец отказывается от всех претензий и разбирательства дела в международных судах. Тогда что-то

выплачивают. Вырученных денег нам, пожалуй, хватило бы на полгода жизни в Словакии. В Голландии — нет, там все дороже».

«Могу только посочувствовать, — вздохнул Объемов. — Это называется *перестройка*».

«Возможно, — не стала спорить Алгбета, — но ферму не перестроили, а сожгли».

«Вы помните, — он отложил книгу в сторону, — что произошло с Советским Союзом?»

«Я пережила много перестроек, — сказала Алгбета, слегка, как показалось Объемову, дернувшись лицом при упоминании Советского Союза. — Чехословакия, Словакия, снова Чехословакия, наконец, Южная Африка...»

«Значит, у вас есть опыт. — У него возникла мысль угостить алфавитную даму араком. — Вы знаете, что надо делать?»

«Делать?» — переспросила Алгбета и... продолжила на немецком.

«Нихт ферштейн», — полез в сумку за бутылкой Объемов.

«Люди, не способные собрать силы для битвы, должны уйти, — вернулась на русский Алгбета. — Это не мои слова, — уточнила, видя, что он не знает, как ответить. — Его! — ткнула пальцем в фотографию на обложке. — Он так сказал из окна Пражского Града».

«Какие люди? Куда уйти?»

«В никуда, — ответила Алгбета. — Силу, которую он имел в виду, уже не собрать. Вернее, ее не позволят собрать. Однако она все равно соберется и... уничтожит тех, кто мешает ее собрать».

«Он вам нравится, — повернул Феста обложкой в сторону Алгбеты Объемов. — Вы сожалеете, что у него не получилось».

«Я его ненавижу, — не дрогнула Алгбета под пронзительным взглядом фюрера. — Он разрушил мою жизнь. Но был момент... на площади в Граде. Мне было пятнадцать. Не знаю, как это звучит на русском... *Скрытый оргазм*, да, я его ощутила. Тот теплый весенний ветер с сиреневыми и розовыми лепестками... как будто влетел мне под юбку... С тех пор я в бесконечном полете, — добавила мрачно, — только уже без оргазма. После войны — по лагерям. Потом через Аргентину в Южную Африку. Сейчас из Южной Африки в Словакию, а может, в Голландию, не знаю».

«Кем был ваш отец?» — спросил Объемов.

«Министром почты в правительстве Тисо, — ответила Алгбета. — Коммунисты его расстреляли в сорок шестом. Адвокат мне сказал, что сейчас приговор можно обжаловать в Европейском суде. Если он не совершал военных преступлений, могут даже назначить пенсию».

«Жизнь налаживается, — констатировал Объемов. — Хотите, подарю вам эту книгу?»

«По-моему, вы хотите предложить мне выпить, — усмехнулась женщина. — Это самый верный способ наладить жизнь».

«Как товарищу по несчастью... Я имею в виду перестройку и туман», — спохватился Объемов, свинчивая крышку с бутылки.



Успокоительный запах аниса распространился по воздуху со скоростью перемешавшего лепестки и слова фюрера весеннего ветра, на порыв которого много лет назад столь неожиданно отреагировал юный организм Алгбеты. Он ее согрел, подумал Объемов, растопил ее девство, а потом она угодила... в холодильник.

«Перестройка и туман — это пауза, затишье перед очередным концом, — задумчиво произнесла Алгбета. — Сила не в нем. Она спит в людях. Если он знал, как собрать ее для битвы, значит, появятся и другие, кто сможет. Пусть даже отправная точка будет диаметрально противоположной. С кого он начал? С социал-демократов, душевнобольных, педерастов, евреев? Кто их уничтожил? Немцы и другие белые европейцы. Законы в Европе сегодня устанавливают те, кого он уничтожил. Белые в Южной Африке пострадали первыми. На очереди — белые в Европе. Суть в том, что уничтожение первично, а отправные точки вторичны. Зло можно победить только более сильным злом, чтобы потом его победило еще более сильное зло. Он был всего лишь звеном в этой цепи. Звеном, но не цепью».

«Сбегаю за стаканами». Объемов вспомнил, что видел прозрачную гусеницу из одноразовых стаканов у агрегата с бесплатной водой.

«Почему — вы? — возразила Алгбета. — Здесь есть... кому сбежать!»

Пока Объемов смотрел по сторонам, она подошла к молодой, цвета тлеющих углей, негритянке. Он не слышал, что говорила ей его новая знакомая, видел только ее прямую спину и вздрагивающий серебряный хвост на затылке, где прежде (Объемов в этом не сомневался) элегантно смотрелся пробковый шлем. Однако негритянка, к немалому его удивлению, поднялась с кресла, упруго зашагала в сторону водяного агрегата.

«Летит вместе с вами?» — проводил он взглядом девушку. Ему казалось, она не идет, а прыгает как мячик.

«Понятия не имею, куда она летит, — пожалала плечами Алгбета. — Знаю только, что скоро они будут посылать нас за стаканами!»

У впечатлительного Объемова, помнится, возникло странное ощущение, что он скользит в стеклянном лифте внутри новой — многоэтажной — реальности, прекрасно понимая, что открывающиеся внутри бесчисленных, как в Вавилонской башне, этажей картины жизни — это миражи, ложь! Иногда там мимолетно мелькало что-то похожее на согревающую правду, и он пытался зацепиться за эту неуловимо носящуюся в воздухе, как сиреневые и розовые лепестки над Пражским Градом, обманчивую правду, колотил по кнопкам на панели, но лифт не останавливался. Боже, ужаснулся Объемов, неужели из этого строительного материала создан наш мир? Есть ли в мире сила, способная растопить (не обязательно посредством скрытого оргазма) вселенскую ложь?

«Лехаим!» — провозгласил он народный еврейский тост «За жизнь!», когда негритянка принесла стаканы.

Объемов хотел и ей плеснуть арака, однако, взглянув в строгое лицо Алгбеты, понял, что делать этого не следует. Темнокожая красавица при-



несла, наверное, десяток плотно вогнанных друг в друга стаканов. Алгбета извлекла два из середины. Ну да, подумал он, нижний негритянка держала в руках, а в верхний могла... плюнуть.

«Лехаим!» — подняла свой стакан Алгбета.

9.

С легкой душой и ясной головой покидал Лиду писатель Василий Объемов. Ранним утром он внимательно изучил карту автомобильных дорог Белоруссии и составил обратный маршрут в свою деревню километров на семьдесят короче того, каким приехал. Позавтракав на шведском столе, Объемов поднялся в номер за вещами, а потом спустился в холл, где, несмотря на ранний час, встретил доктора искусствоведения Анну Дмитриевну Грибоедову и знаменитого молдавского поэта Серафима Лупана.

Анна Дмитриевна недовольно тыкала пальцем в смартфон, а Фима, как всегда свежий и ухоженный, безмятежно покуривал в кресле. В холле нельзя было курить, о чем свидетельствовала табличка с перечеркнутой красной линией сигаретой, но для Фимы на столик возле кресла любезно поставили хрустальную пепельницу. Скользя взглядом по кожаному, с золотой монограммой саквою Фимы, Объемов в очередной раз вспомнил его афоризм: «Жизнь — это результат».

— Какой-то кошмарный бред! — швырнула смартфон на диван Анна Дмитриевна. — Они говорят, что все машины, обслуживавшие конференцию, отозваны в Минск. Дали номер какого-то местного дежурного, а он не отвечает. Сегодня воскресенье, в администрации никого нет!

— Куда вы собрались в такую рань? — поинтересовался, приветственно помахав рукой Объемову, Серафим.

— В Селище, — обиженно ответила Анна Дмитриевна. — Раньше это было большое село, сейчас хутор. Там находилась усадьба графа Тышкевича. Уникальная для своего времени постройка. В одной из башен была обсерватория. Тышкевич сконструировал телескоп, в который можно было разглядеть кольца Сатурна. А еще он работал над *машиной времени*, определял точки, из которых можно попасть в будущее. Он считал, что Земля плывет сквозь время, как сквозь невидимое море, а прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, только на разной глубине этого невидимого моря. Усадьбу хотел приобрести сам Жан-Жак Руссо! Граф Тизенгаузен — родственник Тышкевича — вел с ним переговоры в Париже, но не сошлись в цене. Руссо, как и Вольтер, оказался скуповат. Я была уверена, что усадьба утрачена, остались только ее описания в письмах Тышкевича. Но женщина из кафе сказала, что недалеко от хутора сохранилась часть фундамента и остовы двух башен. Этого же достаточно, чтобы начать восстановление! Подробный план усадьбы наверняка можно найти в архиве Руссо. Я должна все увидеть своими глазами!



— Женщина из кафе? — поставил сумку на пол Объемов. — Когда вы ее видели?

— Вчера случайно встретила в музее на выставке работ Каплана, — пояснила Анна Дмитриевна. — Она даже нарисовала, как туда добраться... Вот смотрите, — вытащила из сумки свернутый лист, расправила на столе. — Это совсем рядом.

— Каплан... Кто это? — Он жадно уставился в нарисованный Каролиной план проезда в неведомое Селище.

— Великий художник, он рисовал в блокадном Ленинграде, — с сожалением посмотрела на него Анна Дмитриевна. — А вообще, он родом из Белоруссии, жил в местечке недалеко от Рогачева... Эта женщина была так любезна, что согласилась меня там встретить и все показать. У нее на хуторе какие-то дела...

— Во сколько? — перебил Объемов.

— Что — во сколько? — Похоже, доктора искусствоведения удивил внезапный интерес к развалинам усадьбы Тышкевича жлоба, не знающего, кто такой Каплан.

— Во сколько вы договорились?

— Она сказала, чтобы я постаралась к девяти, потом она должна уехать.

— Селище... — вытащил из сумки карту автомобильных дорог Белоруссии Объемов. — Где же это? Ага! Селища-2... Анна Дмитриевна, место называется просто Селище или Селище-2?

— Позавчера утром, — отвлек его от изучения карты благоухающий дорогой парфюмерией Фима, — я переговорил с директором издательства «Лумина». Они издают современную художественную литературу, иногда даже на русском. Это одно из крупнейших издательств Молдавии...

— Молодцы!

Объемов установил, что неприметное Селище-2 находится недалеко от Ивье, куда они вчера ездили. Самое удивительное, что рядом проходило шоссе, по которому он собирался ехать до Молодечно, чтобы потом уйти на Витебск, откуда рукой подать до родного Невеля. Сама судьба звала писателя Василия Объемова в Селище-2.

— Я пыталась вызвать такси...

В голосе Анны Дмитриевны проснулась надежда. Она недовольно косила очками на Фиму и даже пыталась бочком-бочком оттереть его от стола.

— Они сказали, что смогут только через полчаса, а оплатить надо в оба конца. Ждать в Селище согласились только тридцать минут. Якобы больше нельзя по инструкции. Назвали какую-то несуразную цену — я не смогла перевести в рубли. Первый автобус из Лиды в ту сторону отходит только в одиннадцать тридцать. Я точно не успею!

— Мне нужны три твои последние книги, — продолжил Фима, игнорируя маневры Анны Дмитриевны. — Сначала напечатают на русском

небольшими тиражами. Если тиражи окупятся, переведут на румынский. У них налажено, переводчики хорошие, еще советской школы. Где румынский, там и итальянский с испанским и португальским. Я, как член попечительского совета издательства, попросил их подготовить контракт. Они вчера прислали, я утром распечатал на ресепшен. Черт! — Он сверкнул из-под белоснежного манжета сапфирами на часах. — Контракт на молдавском, я хотел тебе перевести, объяснить, что и как. Понимаю, Молдавия в сравнении с великой Россией — ничто, но это шанс, Вася! Меня узнали в Европе только после перевода на испанский. А сейчас включили в издательскую программу Евросоюза, издадут в двадцати восьми странах.

— Ну, мне-то это никак не грозит, — возразил Объемов.

Он давно не слышал волшебных слов: тиражи, перевод, контракт.

— Почему? Ты критикуешь власть, ратуешь за свободу и демократию... в широком, так сказать народном, понимании. Не рвешь пасть за православие, не ругаешь гомосеков...

— Гомосеков? — удивился Объемов. — А... евреев?

— Евреев сейчас можно, — махнул рукой Фима. — Вдруг прокатит, а, Вася? Это же лотерея. Если я просочусь на следующих выборах в Европейский парламент, то обязательно попрошусь в комиссию по толерантности и культуре, кажется, так она называется... Мы с тобой сейчас сядем, выпьем по чашечке кофе, посмотрим контракт, ты дашь мне свои книги, а потом...

— Селище... — Объемов неожиданно вспомнил помятый жестяной, партизанский какой-то указатель «Селишча-2 — 26 км» на грунтовой лесной дороге по пути в аэропорт. — Я знаю, как туда ехать! Анна Дмитриевна, мухой в машину! Я довезу, а обратно вы как-нибудь... Да на автобусе, который из Лиды в одиннадцать тридцать! Он же поедет обратно?

— Подожди-ка, — склонился над картой Фима, — это же совсем рядом с аэропортом в Ивье, где мы вчера были.

— Да-да, Ивье...

Слова товарища как будто не доходили до сознания Объемова. Он не верил в предстоящие переводы и европейскую известность. Мир, где процветал молдавский поэт Серафим Лупан, некогда сочинявший стихи о Ленине, был устроен так, что туда не было пути русскому писателю Василию Объемову, не написавшему о Ленине ни строчки. Какие переводы? Какой контракт? О чем он? Объемов был готов допустить, что результативному Фиме чего-то от него надо, если бы наверняка не знал, что у него нет ничего, что могло бы понадобиться Фиме. Результат Объемова был ноль! Хотя, подумал он, правильно приставленный к цифре, ноль увеличивает ее в десять раз, а неправильно — превращает ее в ноль. Но зачем Фиме мой ноль?

— Я разве тебе не говорил, что за мной прилетит самолет? — спросил Серафим. — Приземлится в этом Ивье, — посмотрел на часы, — через... двадцать минут. Они подождут сколько надо, но я... вроде бы здесь почти все закончил. Собственно, я уже собрался. Поедем вместе



до Ивье, высадим Анну Дмитриевну в Селище, поговорим о контракте. Я попробую выбить для тебя небольшой аванс, думаю, на две тысячи евро они согласятся, — и хлопнул его по плечу. — Ну а дальше как получится...

— Аэропорт же собирались открывать только через две недели? — вспомнил Объемов.

— Это будет пробное открытие, — сказал Фима. — Знаешь, породистую кобылу никогда первым не покрывает жеребец-производитель. Это делает специально обученный ласковый конек, его называют *пробник*. Его задача — разохотить кобылу. Думаешь, аэропорт сильно отличается от кобылы?

— Тогда вперед! — подхватил сумку Объемов. — Ждите с Анной Дмитриевной в холле, я подъеду со стоянки.

— Блин! Не получится! — огорченно ударил кулаком в растопыренную ладонь Фима, перепугав Анну Дмитриевну. — Я с вами не смогу, совсем забыл, мне должны привезти файл с документами от одного господина из Белорусской торговой палаты. Как его... — достал из кармана визитную карточку, — Витольд Аркадьевич Шмуклер. Хочет разливать в Белоруссии молдавское вино и поставлять в Россию в обход санкций как белорусское.

— Разве в Белоруссии растет виноград?

Объемов укорил себя за глупые подозрения в отношении Фимы. Господи, кому я нужен, горестно подумал он. Фима хочет мне помочь по старой дружбе, а я...

— Еще как растет, — раздался скрипучий голос Анны Дмитриевны Грибоедовой. — В имени графа Тышкевича каждую осень собирали по несколько центнеров отличного белого винограда двух сортов — «лора» и «аркадия». Василий Тимофеевич, так мы едем или нет?

— Он просил посмотреть бизнес-план, — с сожалением продолжил Фима. — Если дело покажется мне интересным, водитель заберет меня к этому... Шмуклеру в усадьбу, там обсудим детали. А потом отвезет в Ивье к самолету, так мы договорились... Но кто сказал, — он поднял вверх указательный палец, — что дело показалось мне интересным? Белорусская семга или персики еще туда-сюда, но белорусское вино... Да еще на экспорт в Россию? Нереально!

Фима вырвал листок из блокнота, достал ручку.

— Напишу записку, — весело подмигнул Объемову, размышляющему о двух тысячах евро и недовольно посматривающему на прижимистую, совсем как Руссо с Вольтером, Анну Дмитриевну.

Он не поверил в ее сказку про такси.

— Я по телефону проконсультировался с партнерами в Молдавии, и они сочли проект малопривлекательным. Поэтому... *Ла реведере!* На молдавском языке это означает — до свидания!

Фима отнес записку девушке на ресепшен, взял с кресла свой царский саквояж, и все вместе они направились к выходу.

Первый раз их притормозили на выезде из Лиды. Парень в камуфляже велел открыть багажник, а человек в черном кожаном пальто заинтересованно заглянул в машину. Он скользнул быстрым взглядом по Объемову и Фиме, а у нахохлившейся и что-то пробормотавшей про *последнего диктатора Европы* Грибоедовой проверил паспорт. Похожий на коня в кожаном пальто человек объяснил, что, возможно, их еще остановят, потому что они будут проезжать через зону военных учений.

— Наверное, это был пробник, — заметил Фиме Объемов, когда отъехали.

— Да пусть проверяют сколько хотят, — отмахнулся тот. — Нам нечего скрывать.

Вторая проверка состоялась на перекрестке перед самым съездом на грунтовую дорогу, возле жестяного партизанского указателя «Селишча-2». Там под деревом стоял БТР, а дорогу перегородил шлагбаум. Скучавший лейтенант поинтересовался, зачем они едут в Селище, на что Анна Дмитриевна дала ему гневный и исчерпывающий ответ.

Селище и впрямь оказалось крохотным хутором, окруженным яблоневыми и грушевыми садами. Ветки клонились к земле под тяжестью плодов, как натруженные крестьянские руки. Вместо Каролины Анну Дмитриевну встретила директриса библиотеки из Ивье, которая вчера была на ужине в аэропорту. Объемов вспомнил, что по ее просьбе подписал читателям этой библиотеки последние остававшиеся у него книги. Не везти же обратно? Ольга Ильинична, так звали директрису, сообщила, что Каролина не смогла приехать в Селище, но попросила ее, и она специально приехала из Ивье на велосипеде, чтобы показать Анне Дмитриевне развалины усадьбы.

Остовы двух башен и фрагмент фундамента походили издали на челюсть с двумя подгнившими зубами. Библиотекарша успела рассказать, что при поляках усадьба была в хорошем состоянии, однако в сорок первом ее сильно попортили немцы, а окончательно добил Хрущев, распорядившийся залить бетоном близлежащий источник, куда местные католики ходили за святой водой. С бетоном в стране была напряженка, поэтому не подлежащую восстановлению усадьбу оперативно взорвали, а источник завалили обломками, о чем немедленно известили Хрущева, еще не успевшего отбыть из Гродно. Возмущенная Анна Дмитриевна назвала это архитектурным геноцидом, объявила, что организует в славянских странах сбор средств на восстановление усадьбы. Граф Тышкевич, оказывается, был не только астрономом и путешественником во времени, но еще и панславистом, мечтавшим о единой всеславянской демократической державе-матери. Объемов пообещал ей поддержку Союза писателей России, а Фима — молдавского парламента и ЮНЕСКО.

Объемов полюбопытствовал у библиотекарши, как проехать из Селище в Ивье. Та объяснила, что через поля будет гораздо быстрее, чем по грунтовке, главное же, не придется возвращаться назад.



— Дорога приличная, хоть и малоезжая — завершила она, — ее только местные знают. Я за сорок минут на велосипеде долетела. Сразу за хутором налево, а дальше все время прямо через подсолнухи.

Объемов едва разглядел эту дорогу, травянистой змейкой выющуюся между двух полей с едва не влетающими в окна машины, как летающие тарелки, подсолнухами.

— Помнишь, ты спрашивал меня про Олесю, которая не пришла к тебе в номер? — приспустив стекло, закурил ароматную сигарету Фима.

— Да? — насторожился Объемов. — Хочешь признаться, что она пришла к тебе?

— Неважно, к кому она пришла, — стряхнул пепел на дорогу Фима.

— А что тогда важно?

— Я ей кое-что обещал.

— И не выполнил? — поежился Объемов, вспомнив железный каблук на своей пояснице.

Ему показалось, что вместе с дымом сигареты Фимы в окно улетают его надежды на аванс в две тысячи евро и европейскую славу.

— Она попросила кое-кого подвезти и сказала, где он будет нас ждать. Надеюсь, ты не возражаешь? Стоп! Вот он! Тормози.

— Его подвезти? — испуганно дал по тормозам водитель, узнав в уверенно вышедшем из подсолнухов человеке без вести пропавшего шестнадцать лет назад Лешку — мужа Каролины, пилота ВВС Белоруссии, чью фотографию ему два дня назад показывал борода.

— Она попросила подвезти этого парня до аэропорта в Ивье. Я обещал. Что здесь такого? — пожал плечами Фима. — Ведь по пути.

— Он... без вещей?

Объемов увидел, что спокойно идущий к машине Лешка выглядит точно так же, как на давней фотографии. Окажись сейчас рядом с ним Каролина, они бы смотрелись как мать с сыном.

— Без вещей? — переспросил Фима. — Кто его знает? Есть такие люди, любят путешествовать налегке. Я, кстати, тоже. А он нет! Видишь, у него за спиной рюкзак.

— Далеко везти? — угрюмо поинтересовался Объемов.

— Не беспокойся, — засмеялся Фима, — только до самолета.

— Возьмешь его с собой в замок Дракулы?

Он обреченно наблюдал, как Лешка открывает дверь и садится на заднее сиденье.

— Поехали, — посмотрел на часы Фима. — Нехорошо заставлять пилота ждать.

— Кто ты? — задал против собственной воли глупый вопрос Объемов.

— Я? — удивленно посмотрел на него Фима. — Добрый самаритянин. Помнишь Библию? Хочу помочь парню, оказавшемуся в сложной ситуации. Не бросать же его... в подсолнухах? Ведь если поймут... как пить дать *распнут!*

— Кто он?

— Ты знаешь, — усмехнулся друг. — Помнишь старую советскую песню: «Где же ты, где же ты, человек с рюкзаком?» Исполняла... Эдита Пьеха, кто же еще? Мы нашли человека с рюкзаком, а ты не радуешься!

Оставшуюся часть пути проехали в тишине, нарушаемой глухими ударами подсолнухов по крыше машины. Вскоре они, как солдаты, расступились. Травяная дорога уперлась в бетонную полосу аэропорта для малой авиации. В конце полосы Объемов увидел самолет, похожий на изящное железное насекомое.

Возле него притормозил.

Фима и Лешка выбрались из машины.

Поднимаясь по высунувшемуся из самолета, как язык, трапу, Лешка оглянулся и внимательно посмотрел на Объемова. Неужели, ужаснулся Объемов, и мне суждено испытать... скрытый оргазм? Но обошлось. Староват я для такого, решил он.

— Фима, ты что-то забыл! — крикнул, заметив на заднем сиденье белый конверт.

— Это твое, — помахал рукой с трапа Фима. — Контракт остается в силе!

Трап-язык, обернувшийся по ходу дела дверью, втянулся в самолет.

Загудели двигатели.

Автомобиль отъехал в сторону.

Разогнавшись, самолет оторвался от полосы и быстро растворился в осеннем небе.

Объемов в ужасе выскочил из машины, бросился на землю. Он как будто воочию увидел столб огня и взлетающие вверх обломки своего верного «доджа».

Но ничего такого не случилось. Насмотрелся боевиков, закричал, поднимаясь с земли, Объемов, отряхнул штаны. Он открыл дверцу и подтянул к себе конверт, уже зная, что обнаружит там две тысячи евро и контракт на языке графа Дракулы.



Анна ПАВЛОВСКАЯ

НЕОТКРЫТЫЙ КОСМОС

* * *

где кабан игрался в банке
в подкидного дурака
я взлетала на тарзанке
и ныряла в облака

в старых майках маловатых
и открытых на пупке
уходили октябрюта
карасей ловить в реке

что же гамлет или или
черви в мыле мотыли
семерых они словили
а восьмого не смогли

я смотрю на эту рыбу
отпустить или забрать
эта рыба тоже типа
чья-то дочка или мать

светит огненное око
ведьмы прыгают из книг
из прекрасного далека
показали мне язык

смысла темная изнанка
раскрывается в мозгу
и качается тарзанка
на далеком берегу

* * *

Я всегда жила на разрыв аорты,
И теперь разбиты мои когорты.

Убегаю вдоль ледяной реки,
А за мною — белые ходоки.

Не просядет дух, как земля в могиле,
Наплевать, что сердце мое разбили.

Посажу себе сокола на плечо —
В небе очи есть у меня еще.

Поднимусь над руслом своей тоски:
Позади — снега, впереди — пески.

* * *

где слётки звезд упали с папиросы
из темноты забытых праотцов
я улетела в неоткрытый космос
в стеклянной банке из-под огурцов

за мной текли неоновые рыбы
немых урбанистических дождей
за мной неслись бумажные колибри
последних непрочтенных новостей

и поднимаясь вверх над городами
в ознобе сна уткнувшись в звездный шарф
моя душа взлетала как цунами
и плакала как первый астронавт

по счету отвалившихся ступеней
на отблеске вселенской немоты
я прибыла к созвездию растений
где говорили травы и цветы

по срезу слёз святейших баобабов
бобов волшебных и дремучих чаг
я прочитала горестную сагу
о разобценьи кошек и собак



о белых птицах в услуженьи бога
несущих души в кружеве крыла
о мертвых стерегущих под порогом
родной очаг от медленного зла

мне было проще жить в священной роще
и с ветвью золотою говорить
чем на земле отыскивать наощупь
послания мерцающую нить

* * *

давай проснемся мы уснули
давай не плакать не страдать
давай изюмины июля
из черной буки воровать

давай напьемся словно черти
над нами чокнется звезда
мы будем жить до самой смерти
тебя я брошу никогда

мы воспарим легчайшим духом
в крови взыграет алкоголь
и я себе отрежу ухо
и сбрею волосы под ноль

* * *

Когда ноябрь широкой грубой кистью
Замазывает небо дочерна,
Как пьяный трагик, я прощаюсь с жизнью,
Пишу сонеты и схожу с ума.

Я вижу крон фасетчатый узор,
Травы застывшей завиток овечий,
И утренний прозрачный невермор
Иголками проходит по предплечьям.

Свет прибывает поездом Люмьеров,
Сжигая все сомнения дотла,
Но для меня прощанье не премьера,
Я этот кадр уже переросла.

Прости меня, я знаю твой секрет, —
 Манок надежды, говорок сердечный...
 Я выдыхаю ворона в рассвет
 И ухожу в дурную бесконечность.

* * *

над лесом красная полоса
 заката кровавый путь
 шаман не может закрыть глаза
 шаман не может уснуть

сова сорвется в ночной полет
 гадюка скользнет во тьме
 все что родится и что умрет
 он знает в своем уме

и наклоняясь воды испить
 он шепчет в речную муть
 вода не может глаза закрыть
 земля не может уснуть

* * *

...Это, Господи, я, черновик твой, Господь.
 А. Кобенков

я из касты шаманов из связки кастальских ключей
 отпирающих двери и зренье незрячих очей

распустился подснежник во сне пролетела сова
 это я написала закатною кровью слова

я одною рукою за цоколь сжимаю луну
 а другою погружаюсь в земную холодную тьму

сквозь меня протекают сигналы космических рас
 андромеде стихи посылает седой волопас

сквозь меня прорастает бессмертник растет сквозь меня
 купина с золотой сердцевиной святого огня

почему же тогда растворяясь в небесной волшбе
 никогда не могу я помочь ни тебе ни себе

* * *

я едва сохраняю рассудок в тепле
мне одной непонятная жизнь на земле
своим смыслом не светит не катит
не гипофизит не христарадит

кто придумал что есть этот призрачный мыс
что у бога задание тянуть тебя ввысь
что стоишь ты сосной корабельной
чтобы парус держать запредельный

улетай мой космический белый фрегат
мотыльком на свечение божьих пляд
раскрути как рулетку сансару
как сказал машинист кочегару



Михаил ТАРКОВСКИЙ

ЧТО СКАЖЕТ СОЛНЫШКО?

Повесть

*Светлой памяти
Наталии Валерьевны Моралёвой
посвящается*

Рыбник

Уму непостижимо! Первая осень в тайге, да еще с братом...

Как сейчас помню предотъездные дни: Старшой избегался-иссобирался до такой низкой и сизой облачности в лице, что даже монументальный Таган, серый кобель западносибирской лайки, сидя на цепи и сдерживая предпромысловую дрожь, несолидно поскуливал на метания хозяина со шлангами и канистрами.

Облачность на лице Старшого грозила колючей крупкой. Он пробежал к тракторенку, жгуче дыхнув на меня черемшой, а дальше все походило на какую-то панику, запой, громождение ящичков, канистр, мешков из так называемой «стекляшки» — мягкой пластиковой плетенки. Плоская, как лапша, нитка если порвется и расплетется, то необыкновенно противно цепляется за углы ящичков, железяки и оказывается неожиданно крепкой, пружинящей.

В телеге такой мешок, туго и бугристо набитый капканами, навалился на железную печку, свежесваренную, с зубастыми необтертыми углами, с синей окалиной и заусенцами. Мешок зацепился, и когда на берегу его рванул Дяя Стас, здоровенный старшовский шуряк, то выдралась дыра с мочалом ниток. Вывалился капкан и волочился на привязчивой жилине. Мой брат в ней запутался, а Старшой с грозовой синью в очах рыкнул: «Помощнички!» — и тут же улыбнулся, но как-то постепенно, мутно-солнечно, начиная с глаз. Он помог брату выпутаться, а капкан бросил в лодку, тот не долетел и, гулко ударив в борт, упал в воду. Старшой его достал и положил на бортовую доску-протопчину. Синеватый чуть в копоть и чуждо пахнувший фабрикой, он холодно горел в осеннем серебряном свете. На сальной от смазки тарелочке кругло лежали капли. Сомкнутые дуги молчали.



Все наконец оказалось загруженным в деревянную длинную лодку, и мы с братом, не веря счастью, уже сидели на носу среди груза — я на железной печке, а брат на сундуке — и восторженно вдыхали приятный осенний воздух. Десятками запахов говорили эти берега, травяной прелью, полынной и тальниковой горечью. Когда лодку догонял ветер, нас обдавало масляной гарью мотора, а из сундука несовместимо сочился запах рыбного пирога.

Едва Старшой оказался за румпелем, лицо его окончательно разъяснилось, и последнее рваное облачко раздражения уже не делало погоды: сухое и крепкое лицо ровно и одухотворенно горело осенним солнцем.

В перекате, на меляке, буквально под бортом торопливо занырнул-исчез крохаль*. Вытянув шею, я увидел его совсем рядом и поразился, как, помещенный в тонкий пласт воды, он, плоско изменившийся, уверенно и тягуче-гибко выгребал крыльями и как, преобразенные изумрудной водой, ярко горели на них белые зеркалаца.

Таган сидел в самом носу, нервно и величественно вдыхая ветер. Мы ехали в каком-то тихом восторге, и только в узком и скалистом месте, где начался порог с пенным косым валом, стало неуютно и захотелось слиться с лодкой, сравняться с бортами, обратиться в какой-нибудь плоский бак или рулон рубероида. Брат нарочито громко зарассуждал об осенних запахах, которые богаче весенних именно из-за «этой передрелости», а потом вдруг спросил, нравится ли мне Николь. Я пожал плечами. Во-первых, она мне совершенно не нравилась, а во-вторых, вся эта Николь нисколько не шла окружающей обстановке. Особенно с ее напружиненными кудрями и идиотическим именем.

...На третий день к вечеру мы были на месте. Часть груза предполагалось увезти вверх, а часть оставить здесь — на базе, состоящей из просторной избы, бани и снегоходного гаража. Особенно впечатлил нас лабаз для рыбы и прочей добычи на четырех ногах. Ноги его были обернуты полиэтиленом.

— Чтоб мыши не залезли! — догадался я.

И мы с братом захохотали, представляя, как смешно срываются мыши, перебирая лапками и пища от возмущения.

Молодость есть молодость. Старшой сосредоточенно подсчитывал, сколько батареек и пулек пойдет в какую избушку, и помощи от нас не требовал — подозреваю, даже хотел, чтобы мы не мешали. А мы и не лезли: привыкшие к плоскому Енисею, мы никак не могли оторвать глаз от волнистых гор, от реки, какой-то необыкновенно ладной, совершенной в каменных своих стенах...

Уже стемнело. Почернели берега. Река шумела с пространной задумчивой мощью, каждый камень, каждый скальный обломыш давал пенный завиток течения, и шум складывался из сотен таких завитков и стоял сплошь. Мы прогулялись вверх до ручья и, развернувшись, остановились.

* Крохаль — род рыбацкой утки.



Старшой копался у груза. Мелькал льдисто-голубой налобный фонарь, и в нарождающемся туманчике мутно-дымно продлялся, клубисто креп и длиннел его луч. Старшой что-то доставал, перекладывал. Потом вдруг побежал вниз к лодке, и оттуда остро пахло бензином. Видно, поставил наливать бензин для генератора и замешкался, разбирая груз, а он перелился. Потом ушел в избушку. Все это выяснилось, когда мы подошли.

Картина была следующей: край брезента откинут с сундука, а рядом на бочке картонный ящик с рыбником.

— Опа... — поежившись, сказал брат. — Ну чо? Всё вроде сделали. Доехали. Да, Серый?

— Ну, я думаю, да.

— Эх, давно ли я так вот мечтал? С братом... Слушай... — Он с силой втянул воздух. — М-м-м... Я прямо чувствую эту осень. Знаешь, у некоторых вечно... «надо втянуться, присмотреться». Будто бояться, что не сдюжат. А я уже знаю — сдюжу! Потому что мое!

— Утром точно заморозок будет! Звезды такие... Прямо мороз по коже.

— Ну. Праздник. Знаешь... Эта даль, эти запахи и... этот пирожнице. И звезды... Пирог и звезды! Угощайся, друга.

— По-моему, нельма.

— Ну. Обалденный. Все-таки Тетка Светлана первоклассно стряпает. Тут еще со стерлядкой!

— Да ты чо? Давай его сюда.

— Не жрамши с утра.

— Да понятно. Старшой-то перехватил, поди.

— И не раз. Он в лодке из термоса пил. Ну, давай!

— И из фляжки тоже, хе-хе. Не обидит себя. Хрящики классные.

Совсем стемнело, подстыло, и тянул ночной хиусок* из горного ручья. Дым от костра и избушки совсем положило на берег, и он смешался с туманом. Пахло теплом, жильем и речным берегом. Отяжелелые от впечатлений и ужина, мы с братом не спеша поднялись к избушке, чувствуя, как подбирается к телу молодой сон...

Раннее сонно-темное утро выдернуло меня из будки мощным рывком Старшовой руки и громовым окриком: «Ну и как рыбничек?» Я тут же был посажен на цепочку и одновременно отлуплен. Братец было ломанулся наутек, но Старшой настолько грозно вскричал: «Рыжик, падла, стоять!», что тот упал как подстреленный и пополз, прижав уши. «Будешь по ящикам шариться, козел?! Будешь?!» Рыжика подцепили, и он тут же, кругло поджав задок и пустив хвост промеж ног, юркнул в кутух**.

Бил Старшой больно, но грамотно — толстым прутом по окорочкам. Ляжки горели. Я посмотрел на Тагана. Тот очень тихо сидел, высунув нос из будки и почти слившись и с ней, и с местностью, а когда Старшой, словно нам в укор, отпустил его, невозмутимой трусдой и будто по делу

* Хиус — ветер с верховья. Часто хиусом называют просто стылый и пронзительный ветерок.

** Кутух — укрытие для собак вроде будки.



отбежал в лес. Таган умудрялся сохранять невозмутимость в любых обстоятельствах и даже в случае наказания умел выражать своим видом полную правоту и еще и выставлять хозяина в несдержанном и дерганом виде.

Теперешняя невозмутимость Тагана была абсолютно фальшивой, ибо означала, что мы негодяи, а он молодец и ни в жисть не съел бы рыбник, хотя вся его заслуга заключалась лишь в том, что он с вечера был посажен на цепь, чтоб не удрал с утра шариться по тайге и нас не увел. И я абсолютно уверен, что окажись он на берегу, то моментально отобрал бы у нас пирог, сожрал его, а виноватыми оказались бы мы, семимесячные щенки-первоосенки. А он бы царственно сидел в кутухе и нам бы его ставили в пример.

Капканы на нас

Хочу теперь остановиться на таком важнейшем, краеугольном явлении в собачьей жизни, как постановка капканов на собак. Именно так и никак иначе. Беду лучше предупредить. Лучше небольшая неприятность сразу, чем полная непоправимость потом.

Вечером Старшой нас отвязал и как-то особенно приветно-заманисто и демонстративно-наглядно стал вдруг ставить капкан под кедрой — сделал из кольшков загородку, оставив узкую тропку для алчущего. Поставил капкашек, еще один, еще, а к дереву вглубь сооружения положил настолько великолепный кусок рябчиного задка, что я неуправляемо облизнулся. Старшой тайно приговаривал, мол, видишь, нельзя-а-а сюда, и вроде как все-таки: ну, попробуй, попробуй, ну? Потом то же самое сделал у елки в прошлогодней такой же печурке*, и я увидел, как сглотнул Рыжик, глядя на вторую половинку задка. Таган не смотрел и был непроницаем.

Покормили нас как-то подозрительно неизобильно, хотя каша была хороша: овсянка с отличной вареной щукой, с разлившимся нутряным жиром и хайрюзовыми головами. Думаю, Старшой сам бы ее с удовольствием попробовал. Кстати, однажды он сварил себе и нам по одинаковой кастрюльке рыбы и запутался, где чье. Кончилась крупа для заправки «собачьего»: где-то мы встряли весной со Старшим, на каком-то острове, еще маленькие... С мыслями-воспоминаниями о том походе я и заснул.

А проснулся ночью от обострившегося запаха рябчиной гузки. Меня буквально прошило радостным открытием: бывает, мы себе напридумываем на ровном месте запретов, а они... Вот давай, Серый, рассудим: ведь нас наказали за то, что мы сбросили с бочки и открыли ящик. Он был упакованный, и это означало, что не про нашу честь. Согласен полностью.

* Печурка — домик-укрытие для капкана, стоящего на земле. Если капкан поставить без укрытия, его завалит снегом. Печурки делаются из кольев, щепок, воткнутых в землю около ствола дерева.



За то мы и получили. По первое число. Тут же другая история: рябчик лежит на полу, как говорят охотники, и без упаковки, а значит, является предметом общего пользования, как бы выразился грамотный Рыжик. От этого открытия... прямо темнота расступилась. Надо тихо-тихо, чтоб не разбудить Рыжика... Почему-то в таких случаях не хочется, чтобы видели. Не потому, что затеваешь недоброе, а потому, что опасаясь припозориться, если неправильно управишься. Только поэтому. В общем, я осторожно подошел к печурке и наступил...

Я думал, что без конца упоминаемые мною в этой истории капканы — это такие же обожаемые Старшим железяки, как пилы, цепи, ключи, винты-болты и прочие в кавычках дразня человека, а значит, и наши. И тому, что капканы сейчас как-то слишком плоско растопырены, не придал ни малейшего значения. Я наступил на самый краешек дужки, и капкан наклонился, лапа с него соскочила, и он подпрыгнул и хлопнул дужками так, что искра вылетела и запахло кремнем (знаю этот запах — видел, как Старшой показывал сыну Никитке такую искру). Я отскочил как ужаленный, не ожидав такого выпада — эффектного, смешного и бесильного одновременно: ясно, что капкан мне ничего не сделает — какого размера я и какой он? Только пугнуть, нашуметь. И я замер, прислушиваясь, не разбудил ли Рыжика или, не ровен час, Тагана. Было тихо, и я, осторожно ступая, вернулся в свой кутух.

Но сна не было. Снова попытался вспомнить, как чуть не перепутали вареную щуку... Таган рассказывал такую же историю, только с мясом. Два одинаковых котла. Тоже не было крупы, где-то их льдом заперло... «Льдом-льдом», передразнил я сам себя. Какой лед и какой сон, когда у тебя все мысли вокруг этого капкана? Ты — собака! Не сдаваться. Трудное начало — признак удачного продолжения. Не впервой! Главное — не наступать на край капкана, чтоб он не скособочился и не складал на все Хорогочи*.

Я снова подошел к печурке и наступил точно на середину следующего капкана — на его ровную гладкую тарелочку. Острейшая боль обожгла лапу, но страшнее боли была неожиданность. Оглушительный визг вырвался из моей пасти. Я попытался сбросить капкан, попытался бежать, но держало крепко: капкан был привязан к колышку. Попытался грызть — не ожидал, что металл такой мерзкий, холодный и кислый, хотя Старшой и выварил капкан в пихте. В отчаянии укусил лапу! Почему капкан не отпускает? Страшней всего непонятное! Ладно бы тяпнул и отпустил. У нас-то ведь: удар — укус. По крайней мере, первый, предупреждающий. А этот держит. И чуть дернешься — такая боль, что в глазах мутнеет.

Из избушки не спеша вышел Старшой с налобным мертвенным фонариком. Несмотря на мои крики о помощи, которые я показательно усилил при его появлении, он не торопился и даже замешкался под на-

* Хорогочи — название реки. Переводится с эвенкийского как «глухариный ток».



весом избушки. Зная пристрастие Старшого к механизмам, я решил, что он ищет какое-то приспособление, какой-нибудь очередной капканный ключ-освободитель на две-тысячи-пятьсот-четыре-на-семьсот-семь-хром-ванадий. Но как рухнуло сердце, когда он подошел и я увидел в его руке знакомый прут. Самое дикое, что Старшой присел на корточки рядом со мной и еще несколько минут, которые показались вечностью, объяснял, что нельзя-а-а так делать, что, мол, вот посиди, посиди и что это лучше, чем пойти на варежки. Так и сказал. На варежки. Потом отстегал меня и сжал пружину крепкой кистью. Подобрал лапу, я пристыженно унесся в кутух.

Заснуть не мог часа полтора: очень болела лапа. Наконец задремал, но тут же проснулся от визга. Визг так же длился минут пять, пока не подошел Старшой и все не повторилось. Я не выдержал и, опустив хвост, убежал в лес. Вернулся через часок, когда рассвело и Старшой разбирал сеть на вешалах. Накрапывал дождь. Собаки на редкость непамятозлюбные, и, пока я гулял, настроение поправилось. Если час назад поведение Старшого и осознанная тягучка с моим освобождением казались верхом предательства, то теперь я обрадованно завивлял хвостом. «Что, капканщик, набегался?» — полугрозно спросил Старшой, и я уткнулся ему в колени. «Ну все-все...» — говорил Старшой справедливым голосом. А потом с улыбкой, с облегчением: «Ничо, все нормально будет... Заживе-о-от лапа... заживе-о-от».

Вот тут-то я и проснулся по-настоящему от щелчка и легкого взвизга. В воздухе так же пахло кремнем от капкашка, который своротил и расстрожил Рыжик, смущенно скрывшийся в соседнем кутухе. Я уже не спал окончательно, но разговаривать не хотелось и я притворился спящим. Подозреваю, что Рыжик делал то же самое. Сна не стало вовсе. Не потому, что мне хотелось услышать, как попадет Рыжик. А просто не было. С огромным трудом я нагнал на себя полудрему и вдруг услышал шевеление, трусцу по утоптанной земле вокруг избушки и удаляющийся шорох по мху, прихваченному ночным морозцем. Чуть светало, и я увидел, как Рыжик осторожно, как-то особенно мелко рыся, приблизился к печурке и аккуратно поставил в нее лапу, потом, видимо, другую (еще было плохо видно), а потом просунул внутрь и высунул обратно с чем-то в зубах, а потом оглянулся и, быстро отбежав, повалился на мох. Раздалось аккуратное чавканье.

Вскоре проснулся Старшой и, первым делом заглянув во вторую печурку, процедил грубое слово, подошел к Рыжику, проговорил: «Л-л-ладно. Я те устрою. Суконец». Меня порадовало, что он правильно определил нарушителя и не подумал, что это я второй раз полез: доверие.

Вечером Старшой наставил еще кучу капканов, присыпал пером и положил очень пахучей привады. Ночью раздался оглушительный перещелк капканов, топот Старшого и звуки погони. И истошный визг Рыжика. Я от греха отбежал на бережок.

Клятва

Рыжик так и не попался. Тогда Старшой взъярился, схватил Рыжего в охапку, притащил к печурке, ткнул лапой в капкан и оставил сидеть орущим. Я, по обыкновению, удалился на бережок.

Потом мы довольно быстро развезли груз по береговым избушкам и вернулись на базу: лили дожди. Ни зверя, ни птицы мы не видели. Единственное стоящее и поучительное происшествие называлось «банки с повидлом». Точнее, «разбитые банки с повидлом». Размок картонный ящик, и Старшой при разгрузке разбил несколько стеклянных банок. Как сейчас помню — две с повидлом: яблочным и сливовым. Одна с томатной пастой. И одна с кабачковой икрой. Икра казалась беззащитно-бледной в стальном отсвете небес. А осколки с зеленоватыми гранями — особенно жестокими и досадными.

Мы с Рыжиком стояли рядом, катастрофически не зная, что делать с этим нелепым месивом. Таган сказал очень уверенно:

— Да спокойно можно ись. Ничо не будет. Вообще не обрежешься. Смотрите: мастер-класс. Короткий ход языка. Вот так вот. И вся недолга. Хорошее повидло, кстати. Вот так вот. Р-р-рээ, р-р-рээ...

— Кхе-кхе. Дядя Таган... Вы, это... Не увле... — пролепетал Рыжик, — разрешите отработать прием?

— А? — с недоумением прервался Таган. — Ну давайте...

Оказалось, можно, абсолютно не рискуя поранить язык, съесть все повидло просто очень аккуратно облизав каждый осколочек. И пасту тоже. Да. И икру. Хорошо, когда с юности везет с наставником.

...Настала ясная погода, и в первый же утренник Старшой повез нас за птицей. Глухарь по осени вылетает на бережок добрать мелких камешков. В его желудке они перетирают кедровую хвою.

Раз уж зашло про желудки: до чего красиво устроено все живое! Люблю смотреть, как Старшой разделяет глухаря... Прошу запомнить эту фразу! Она покажет, насколько причудливо преломляется слово собачье по отношению к человеческому. Так вот, люблю смотреть, как он работает: руки двигаются быстро и необыкновенно точно, и кажется, все — и печенька, и сердце, и кишочки — само разлетается по кучкам. А посуда — чашки, тазы — вроде такое женское, кухонное, а, попадая в рабочие руки, будто мужает. Старшой топориком на чурке отрубает крылья, и мягкое пуховое перо остается на изрубленной, иссеченной плоскости вмятым, влипшим в тонкую расселинку от лезвия. Вот по перу разрезает крепкую грудь, раздвигает пупырчатую шкуру, и лилово открываются две могучие мышцы-пластины в желтой обкладке жира. Вот в несколько движений шкура с пером снята и, как ложкой, вычерпнут пятерней плотно уложенный фиолетовый ком кишочков. И вот Старшой берет и разрезает тугой темно-красный желудок — жгутно-утянутый мясной узел с перевязью белой жилы, разрезает его по самой жильной скрутке, и нож, углубясь, нет-нет да и чиркнет сухо по камешкам. Камешки — белый прозрачный



кварц, маленькие, как рисинки, овальненькие с вмятинками, точечками. Лежат в кедровой хвое, чудно настриженной глухариным клювом. Стенки желудка ребристые, в мелкую насечку, как — вынужден применить сравнение — кошачье нёбо. И все это круговое нёбо — лилово-малиновое от ягодного сока и будто бархатное. Малиновый бархат. Зелень хвой...

«А ну, нельзя смотреть! Давай чеши отсюда. Кому говорю! Но!» — это нас, собак, гонят с кухни, от разделочных столов и прочих важнейших мест с роковой какой-то силой. Голодные глаза никому не нравятся. «Подбери слюни!» — лучшая награда за такие наблюдения.

На утренники собак и берут, и не берут. Не берут, чтоб не орала из лодки на всю реку на глухарей. Правда, привязанные у избушки и оставленные, они еще пуще орут, и тишайшим утром изводит охотника хоровой отчаянный лай, слитый эхом в одну запевную ноту. В лодке ли, у избушки — собак привязывают часто. Цепочек не напасешься, поэтому привязка — обычная капроновая веревка с петлей. Петлю натягивают на наши морды так, что те становятся особенно клиновидными, кулькообразными, а глаза — раскосыми, черные же углы рта оттягиваются необыкновенно тонко и глупо. Уши прижимаются, и получается комично-китайское, лисье выражение, у Рыжика особенно смешное: у него крепкие бакенбарды, стоящие торчком, — а без них голова совсем узкая и маленькая.

Привязки так и лежат в лодке и у будок-собачниц, или, по-нашему, кутухов. Я специально остановился на привязках, потому что к ним привязано, простите за каламбур, одно неотрывное от собачьей жизни понятие — отъедание. Но не в кормовом плане, не будьте наивными: это нам не грозит.

Итак, стекляннейшее утро после наизвезднейшей ночи. Иней по рыжим листьягам, по берегам-причалам из сыпучего темно-розового камня. Потом, когда выйдет солнце, седина оплавится. Листвяги оплачутся, и красные причалы станут малиново-мокрыми.

Но вот Старшой позвал, и мы, сшибая друг друга и Старшого, снарядами впрыгнули в лодку, да так радостно, что я даже выпрыгнул обратно на берег и снова запрыгнул в лодку, за что был обруган и получил пинка. Пинок был бесполезный ввиду моей скорости, так что ногу Старшой выбросил вхолостую и еле удержал равновесие. Все равно как заряжающий пнул бы летящий снаряд. Камни были заледенелые, и Старшой чуть не упал, как-то неудачно извернулся, и у него вступило в спину. За что я был обруган дополнительно. Снаряд — это огромная пуля, для справки. Матчасть знам...

Таган решил и здесь показать мастер-класс, успев пробежаться по берегу и вернуться секунда в секунду с нашим отплытием. Впрыгнул он виртуознейше — движение не описать, но всё в нем: мощь и грация, мягкий тугой топот, изгиб тела, поджатие задних лап в момент пролетания над лодочным бортом.



Нас прицепили кульково на веревки, и мы двинулись. Прежде на носу царил Таган, а теперь туда определили меня. Чтобы лучше видеть, слышать и обонять, я старался залезть подальше-повыше, пытаюсь лапами удержаться на наклонном бруске носовила*, синем от изморози и скользком. Привставал, и дрожали поджилки на задних лапах, а мне все казалось, что надо еще выше вдвинуться-ввинтиться в осенний воздух. Старшой сбавлял газ и сдавленно, чтоб не шуметь, рычал: «Ты чо там мостисся? Чо мостисся?» И грозил шестом, но дотянуться не мог. Я пуще вытягивался и перебирал дрожащими лапами по носовилу и, чем больше перебирал, тем выше возносился над упругой рекой.

Старшой сделал резкое движение румпелем, лодка рысканула, лапы, уже протопившие пятно на дереве, соскользнули, и я полетел в воду. Вместо того чтобы остановиться и вытащить меня, Старшой продолжал невозмутимо волочь меня вверх по шивёрке. Я бултыхался, хрипел, и когда казалось: все, задушил, он остановился и вытащил меня — жалко поху-девшего, трясущегося. Облепленного мокрой шерстью, холодящей, липнущей, тяжелой. «Ну чо? Понял, как на носу сидеть?» А я чо понял? Мне б отряхнуться. И вот — круговой фонтан искрящейся пыли во все стороны! И мокрый Старшой машет руками: «Ты, дождевальное устройство, я те чо — грядка?» А смысл науки таков: привычка моститься на носу может стоять собаке жизни — в серьезном пороге ее уже не выудить: хозяин не бросит румпель. А болтанка такая, что сорвешься в два счета.

Поворот открыл первозданнейшую длинную гору с отвесными столбами-перьями и щеточкой редколесья поверху. Выходило солнце и налило таким густым и ярким светом посеребренные лиственницы, что и в душе все зазолотилось. А еще говорят, у собак черно-белое зреньё! Рыжик засиял вовсе медно, и вдруг я увидел, как он... Будто шутя. Будто между делом чавкая, жамкая, кусая... Комично пыжа голову вниз... Будто пытаюсь укунить себя за шею и смешно разевая рот, мусолит веревку-привязку. И уже почти переел ее. В эту же секунду раздался окрик Старшого, совмещенный с ударом шеста по Рыжиковой спине. Для справки: шест — универсальный инструмент управления судами и собаками.

Несмотря на алмазность утренника, никаких событий, кроме моего купания и отъедания Рыжика, не произошло. Видно, утренник был чересчур образцовым, и это смутило глухариное руководство. Возможно, показательный блеск выглядел слишком внешним, искусственным и направленным на внешний эффект. А может, птицу смутил небольшой ветерок. Старшой не унывал и, пойдя назад самосплавом, кидал спиннинг. Рыжик очень смешно наклонял голову и крутил ей, глядя на цветные камни, проносящиеся под водой, и насмешил Старшого, взяв на ленка, который неожиданно высоко выпрыгнул, когда его тащили.

* *Носовило* — так сибирские лодочные мастера называют форштевень. Шпангоуты именуются упругами, а центральная донная доска — донницей.



Окончательно пригрело. Река вдруг оглубела и расширилась перед скальным сужением. Старшой достал из рюкзачка термос, копченого сига в газете. Мы оживились.

— Чо занюхтили?

Таган отвернулся и еле заметно слотнул. Рыжик тоже отвернулся, но мгновенно голова его возвратилась, как на резинке.

— Слюни подбери! — рыкнул Старшой и, увидев большой взмыр* под берегом, схватил спиннинг и начал бесконечное метание блесны, тупее чего может быть только высмотр сетей.

Мы совсем разомлели на солнце, и Таган даже несколько раз ловил клонящуюся свою голову, а потом положил ее на лавку и замер, прикрыв глаза. Только пошевеливались в разные стороны уши и ходили ходуном резные клапанки на мокром черном носу. Несильный порыв ветра сдул с лавки газету, и она упала под нос Рыжику. Рыжик ее понюхал и вдруг, замерев над ней, задекламировал:

— Хм. «Во-ло... кон-ный Интернет...»

— На волах, что ль? — проворчал, не открывая глаз, Таган.

Это было хоть какое-то развлечение.

— На конях, — в тон ему бросил и я, очень уж хотелось мне заслужить его уважение.

— «Узи у Зины недорого».

— Чего? — сонно спросил Таган.

— О! Вот это интересно! — взбодрился Рыжик. — Слушайте. «Комплект обуви для собак. Четыре ботинка. Предназначен для всех сезонов и любых поверхностей. Используются технологии, и-ден-тичные производству высококачественной трековой спортивной обуви для человека. Незаменимы для ездовых и тянущих пород собак, так как имеют манжеты с застежкой “элькро”, надежно фиксирующие обувь на лапах. Подошвы из известных патентованных материалов “вибрам” и “грип-трекс”».

— Из грибов, что ль, делают? — сострил я.

— Да лан тут колхоз ломать. Наверняка хорошая штука. Мне Николь рассказывала. Короче! «Не проскакивают и надежно защищают от наста, льда, веток и острых камней. Делают процесс переобувания комфортным. Конические манжеты надежно держат обувь на лапе».

— Швами еще хуже натрешь! — пробурчал я.

— «Незаменимы, когда есть породный боковой коготь».

— Прибылой палец, что ль? — Таган презрительно фыркнул.

— Наверно.

— Дак его, наоборот, удаляют. А то лапу порвешь лоскутом... И — мяу. Совсем охренели... Нормальное почитай чо-нибудь.

— Между прочим, в Голландии коготок у собаки не дадут без ее согласия состричь! Кх-кхе. Так вот... Они, ну ботинки эти, «также при-

* *Взмыр* — так енисейские жители называют вспучивание, что появляется на воде от игры рыбы, помощнее, чем круги; выворот воды.



годятся... (мне казалось, что Рыжик даже поддразнивает Тагана и что он зря это делает) они также пригодятся для повышения мобильности... пожилых собак, — Рыжик быстро глянул на Тагана, — и собак с проблемными лапами, — и прочитал с особенным выражением: — Яркая, со светоотражающими вставками обувь делает вашу собаку нарядной и заметной в любое время суток».

— На хрена заметной?! — не поверил я.

— «Охлаждающий инно... вационный жилет двойного действия помогает собаке сохранить оптимальную температуру тела при любой температуре окружающей среды... и организует теплообмен с телом собаки. Достаточно смочить жилет водой, отжать и одеть на собаку...»

— «Надеть» вообще-то по-русски, — сказал я.

— Задницу им бы отжать! — поддержал Таган.

— «Рюкзак для собак “Полисад-пак” с карманами для двух бутылок воды...»

— Прекрати! — взвизгнул я.

— Да вы чо?! — буркнул Старшой.

— «Каждой собаке, — заходился от восторга Рыжик, — после прогулки-тренировки-охоты и прочей активной деятельности нужен отдых и местечко, где никто ей не мешает предаваться сладким снам и воспоминаниям, где можно удобно вытянуть уставшие лапы или, наоборот, уютно свернуться клубком. Предлагаем потрясающий лежак для ваших питомцев!» А чо, нормально! «Туалет для питомцев, — вскричал Рыжик, — представляет собой эстетическое приспособление... с выдвижным ящиком и лопаткой в комплекте...»

— Их бы самих этой лопаткой... по комплекту, — еще ниже проворчал Таган и закрыл глаза.

— «Легко переносится благодаря улучшенной декоративной ручке. Теперь туалет не надо прятать в ванной или в другом укромном уголке. Его можно размещать в любом месте, и он везде будет вызывать восхищение своим удобством, красотой и функциональностью. А уж как котя будет рад! У него будет свой укромный уголок, скрытый от посторонних взгляда...»

— Ай-яй-я-а-а-ай! — закричал Рыжик, потому что Таган молниеносно хватанул его за окорок и улегся, возмущенно ворча:

— Я т-те устрою лежак...

Рыжик, пряча глаза, скулил.

— Одурел, старый?! — рывкнул Старшой на Тагана, и тот втянул голову, зажмурил и плоско вжал глаза.

Старшой погладил Рыжика, который беспомощно перевернулся на спину и стал лизать Старшому руку. Видна была выступающая грудина и два завитка шерсти на уровне передних лап — на границе рыжего и бежевого. И передние лапы — сложенные и болтающиеся. А Старшой говорил образцово-воспитательным низким голосом:

— Рыжик. Ну Ры-ыжик. Ну ла-а-адно тебе, ла-а-адно.



Приближались пороги, и Старшой спустил их на моторе, а ближе к избушке стащил с наших шей петли. Если туда петля надевалась «по течению», смешно уменьшая, удлиняя и косоглазя голову, то теперь, когда петлю протаскивали против шерсти, — мешали уши и шкура собиралась складками и комично давила на лоб, на глаза. Рыжик топырился и только натягивал петлю, затрудняя освобождение.

При подъезде к берегу мы отработали «выпрыг с носа» — важный элемент пилотирования, вызывающий в адрес начинающих собак массу нареканий. Река наша горная, мелкая и особенно каменистая у берега. Старшому надо быстро причалить в точное место, заглушить и поднять мотор и, перебравшись на нос и выпрыгнув, удержать с берега лодку. Меж двух камней и целил Старшой. Мы заходились дрожью на носу и, зашедшиеся, мечтающие пронестись по берегу, изготовились к прыжку. Когда уже было рядом — сиганули, оттолкнувшись от лодки и сломав ей курс так, что она наехала на камень, а на нас обрушился целый камнепад эпитетов...

Ночью я снова влетел в капкан, а Рыжик снова ухитрился безнаказанно сожрать приваду. Он запустил* два капкана, сдвинув их вбок лапой и не то стряся, не то как-то еще рассторожив. «Нда... — сказал Старшой с задумчивым холодком. — А я смотрю, ты умный. Не знаю...»

Следующее утро выдалось седым, хмурым, с промозглинкой и со сквозной какой-то серебряностью. В первом же повороте на длинном галечнике гнутыми головешками сидели глухари, штук семь. Они были настолько замершими и непохожими на живых существ, что когда, черные, медленно покачиваясь и вертикально задрав головы, пошли к траве, то их зачаровывающая медлительность буквально разорвала наши глотки восторженно-возмущенным лаем. Пахло от них невозможно — почему-то печенкой, переваренной хвоей и какой-то кислинкой! Старшой выпустил нас, и мы, подняв брызги, рванули на галечник. Глухари взлетели и, рассевшись на прибрежные листья, замерли черными почками.

Боюсь, не описать то чувство дела, которое меня объяло с головой, когда я облаял первого в жизни глухаря, и которое объяснило мое предназначение, одарив проблеском одного откровения... При всем азарте я шкурой ощущал, как внимательно смотрит Старшой на мои движения, как присутствует, оценивает, осознает происходящее, подправляет негромким словом и что-то сам себе помечает. Я понял, что мы — очень важное звено, связывающее Старшого и его семью с окружающей нас огромной тайгой. Что вместе мы представляем необъятный организм, многократно превышающий в размерах Старшого и состоящий со Старшим в странных и старинных отношениях. Будто шевельнулись какие-то ваги, жердины мощнейшие между глухарем и камешком, Старшим и мной, мной и глухарем. Когда я думаю об этих вагах, сизых гудящих сушинах, меня аж мутить начинает и что-то во мне защитно сбивается, ограждая

* *Запустить* — закрыть, захлопнуть. Более широко — привести в нерабочее состояние.

от лишнего знания, от которого я замру, окаменею иль вовсе на куски разлетится моя бедная собачья голова.

О существовании этих длинных и гулких сил, простирающихся во все стороны тайги, реки и неба, говорил особенный, подправляющий и одобряющий вид Старшого. Так же он шел с неводом, так же оглядывал возведенный сруб, так же ехал зимой в город, и стрела зимника была в тысячу раз больше его тарахтящей машинешки.

Этот новый образ Старшого мы ощущали, и когда он выпускал нас из лодки, и когда забрел в лес и шел к нам и мы слышали, как осторожно ступает он по траве, по мерзлomu, кровельно-грохочущему мху, в который нога человека проваливается, оставляя печатные дырки с вертикальными рваными стенками. И когда он подходил, прячась за стволы, отстаиваясь за елкой, и выглядывал, шатаясь-двигаясь телом, а потом стрелял и подбегал, чтобы в пылу мы не истрепали, не раздербанили глухаря... и разговаривал с нами совсем другим голосом — словно что-то невидимо-новое нарождалось, строилось, струилось, и мы были в центре надежды.

Но чем яснее становилось, что именно Старшой этим невидимым управляет, тем незначительней, незаметней он помогал происходящему и будто только присутствовал, тем сильнее оно само работало и простиралось в сложнейшие дали точно так же, как уходил-простирался в небо мачтовый листвяк с черным силуэтом на выгнутой ветви.

Потом еще были глухари. А потом Старшой решил, как обычно, «разок шваркнуть пиннинг» и помаленьку с этим «пиннингом» ушел до мыска... А мы бесились, рыча, и носились по нежно-желтой сухой траве, очень прямой и вертикально-острой, и пропахли ей невозможно, а потом помчались вверх в хребет, откуда кисло-печеночно нанесло птицей, и взмыли на высоченную гору с гранеными столбами. А потом выбрались на покрытую ягелем бровку, поросшую крепкими кедриками и остроконечными пихточками, среди которых особенно чудно гляделись сухие — пепельно-серые и будто костяные. Мы замерли, затаив дыхание, хотя далось это нелегко: бока ходили ходуном и языки жарко свисали из разинутых пастей. Замереть было от чего...

Темно-синие горбатые сопки, о существовании которых мы и не подозревали, с тучевой грозностью восстали со всех сторон, а внизу с какой-то поразительной, счастливой наглядностью открылся поворот с лодкой, широченный серп галечника и крохотная фигура Старшого. Поразила река, плавно ползущая под уклон сизо-серебряной шкурой, в водоворотах и шершаво-свинцовых пятнах ряби. Ее тягучая плоскость меняла угол в каждый точке и, устремляясь меж каменных мысов к порогу, неумолимо и мощно ускорялась, растягивалась пятнами и гравюрно темнела усами складок от каждого камня. Далеко внизу пролетел глухарь, казавшийся сверху особенно сизым. Летел он, очень часто и книзу маша крыльями, мощно и коротко вспархивая, а потом мгновенно замирая в парении. Застыл — и новая череда взмахов и долгое парение на острых, плугообразно выгнутых крыльях. Даль была такая совершенная и настолько насыщенная



ная, что дух захватило от пережитого, и мы долго стояли рядом... в одной волне, в одной... счастливой поре, ощущая с небывалой силой, что мы братья. И что все, открытое нам — от дальней горы до фигурки Старшого, — тоже наше, и мы, объятые одним делом, нужны и себе, и дали, и, главное, Старшому.

Переполненные, мы заговорили наперебой обрывками мыслей, чувств:

— Вот это вид!

— Здесь даже ветер по-другому дует!

— И пахнет... — сказал Рыжик. — Ой как хорошо! — И глянул на меня в упор: — Ты вообще понял?

— Что понял? — насторожился я.

— Что он без нас не может...

— Старшой-то?

— А кто же еще? Серый... — отдельно сказал Рыжик, — Серый, ты понимаешь? Мне раньше казалось, что мы без него пропадем, а ведь оказывается, и ему без нас... мяу.

— Да? Тебе тоже так показалось, Рыжий? Ведь вот как бывает! Еще недавно кто мы были? Щенчишки... А теперь у нас свое дело. Давай, брат, ты знаешь. Давай вместе как залаем за это!

— Давай!

И мы дали.

— Да лан, не ори! — сказал я, отдышавшись, кедровке, усевшейся на сушину.

— Да ей завидно!

— Да, Рыж, действительно, надо сейчас что-то очень важное сказать друг другу... И вот этому простору... Смотри, Таган, по-моему, норку гоняет.

— Да где?

— Да вон, в курье* за лодкой!

— Точно! Без нас, главное!

— От дводворец! Хе-хе.

— Ну. Да, кэшно, это важно, когда у тебя есть любимое дело, понимаешь. У нас есть все. И все так начинается...

— Мы собаки! И нам надо сказать...

— ...свое слово.

— Сказать себе и друг другу, что будем собаками до конца... Давай троекратно залаем за наше собачье дело, нашу охоту.

— Промысел!

— Промысел! Разницу чуешь?

— А как же!

— За нашу тайгу — что будем беречь ее, охранять.

— Ав-ав-ав!

* Курья — каменистый залив.

— В такой денек да в таком месте — чо не лаять?

— Ав-ав-ав!

— Ав-ав-ав!

— Брат! Перед этой тайгой... Давай пообещаем выполнять наше собачье дело, как выполняли наши отцы и деды... так сказать, прасобаки. Быть верными и бескорыстными.

— Да! — с жаром согласился Рыжик. — И не забывать! Что мы не просто собаки! А то щас много развелось... В городах есть собаководные, которые живут в благоустроенных, понимаешь, квартирах, едят магазинную курятину, которую делают из кур, которых кто-то за них облаивает! Которых за их хозяев кто-то добывает. А мы не прячемся за спины, понимаешь, мы на переднем краю... Помнишь, Старшой говорил, что у балконных лаек лапа ластой? А у нас — комком!

— Да чо ты все время себя сравниваешь?! Сам будь кем надо! Как Таган! Как, помнишь...

— Помню. Дай скажу!

— Нет, дай я!

— Ну говори!

— Нет, ты говори!

— А чо я хотел?

— Не знаю! Забыл? Ха-ха-ха!

— Давай просто полаем!

— Давай! Ав-ав-ав!

— Да! Так вот пройдет год, и еще много будет ошибок, а они будут! Обязательно будут... И я подумал, когда-то Таган так же стоял на этом просторе.

— И я подумал!

— Мы оба подумали! И мы сейчас стоим здесь... Я подумал! Пройдет год, и на следующую осень мы будем так же здесь стоять. И я хочу, чтобы нам было не стыдно за то...

— ...что будет в этом году!

— Да! В таком неизвестном...

— ...что сердце аж сжимается от неизвестности, до того все прекрасно!

— И мы должны всегда помнить, что это наша даль...

— ...и что у нас лапа комком! — крикнул Рыжик и залился на всю округу.

Промысел начался

Потом все заварилось плотно и ярко, сливаясь в алмазно-сине-рыжее месиво льда, воды и закатов, и не помню, сколь раз надевали на кулек Рыжиковой морды петлю, сколь раз сдирали обратно против шерсти и сколь раз сбивали мы с курса лодку во время швартовки. Потом добыли оленя, в котором нам понравилось все, кроме того, что он не стоит под собаками, и про которого Таган сказал: «Нич-чо так бычок. Но сохат есть



сохат!» А потом вернулись уже по снегу, Старшой вытащил лодку и промысел начался.

Из приизбушечных событий ярких запомнилось два. Утром в сумерках с той стороны прилетел глухарь и с грохотом взгромоздился на елку над избушкой. Мы взлаяли, а Старшой в трусах и калошах вышел и добыл глухаря из «тозовки». Нас дико насмешило все: и дурак глухарь, сослепу вломившийся в наше расположение, и Старшой в трусах и с «тозовкой». Хохотали, пока Таган не рявкнул:

— Э, кони, хорош ржать! Вы бы с евовное отпахали в тайге, а потом бы ха-ха ловили.

Таган разговаривал рублено и резко. И слова будто обранивал. Не в смысле — браниться, а в смысле — ронять. При таких собеседниках что ни скажи, а дураком будешь. Допустим, Таган обронит:

— На востоке соболь пошел.

— Правда? — пискнем мы.

— А чо, не правда? — буркнет Таган возмущенно-презрительно, да так, что ты виноват по уши, раз не веришь и переспрашиваешь. И ба-совито с рычинкой добавит: — Раньше в это время здесь по р-ручью Аян, покойничек, по пять соболей в день загонял... Правда, я гр-рю, тогда и собаки были... Аян рассказывал: Дяа Вова, старшовский отец, одних токо щенков до пяти голов на промысел брал. А оставлял одного! — И, видя наши полные смятения глаза, Таган говорил с напором: — Но зато это собаки были... Хрен ли лаять...

Досадливо-разочарованное «а щас...» уже и не требовалось. Хотелось слиться с подстилкой.

Когда Таган заговаривал про Деда Вову, у него немедленно появлялось выражение «одного токо»: «одного токо омоля по три ванны на замет брал», «одной токо кислицы по сорок ведер сдавал» или «одних токо веников по семьдесят дружек заготовливал». Дружка, кто не знает, — это пара веников, связанных веревочкой.

Таган за словом в карман не лез. Если кто-то говорил: «Да брось ты», он рявкал: «Как брось, так и подними», а если не соглашались, мол, ну коне-е-ешно, то передразнивал: «Конюшня».

Старшого он уважал, у них были свои долгие отношения, и то, как они общались — полунамеками, в касанье, — отдельного слова стоит. Сидели у костра возле избушки, Старшой помешивал «собачье» в тазу и что-то говорил негромкое лежащему у ног Тагану, а тот чуть пошевеливал хвостом и чуть прижимал уши. А Старшой клал руку ему на голову и поглаживал-почесывал выпуклый шов на собачьем лбу. Ребро жесткости, как выразился как-то Рыжик. Мы умирали от зависти — привязанный Рыжик аж зевал со скулиной. Есть такое собачье проскуливание в зевке. Открыть рот будто для зевка, а дальше зевок растянется то-о-онким, очень высоким скулежом, и выходит, скулинка заменяет зевок и вроде должна уже в лай перейти. Ан нет — в зевок и возвращается. Это происходит, когда мы нервничаем. Такое «а-а-а-а».

Закругляя до поры тему Старшово-Тагановой дружбы, скажу, что понимали они друг друга с полуслова и на развилке лыжни Таган всегда знал, куда пойдет Старшой, хотя для порядка и оборачивался. А как Старшой смотрел на Тагана в работе! Когда, примчавшись с огромной скоростью, тот с налету совал нос в соболиные следы, взрезая снег, или свирепо вгрызался в подножие кедрины, так что летели корни, пахнущие грибами и прелью! Этим любовался не только Старшой. Рыжик же просто сглатывал.

Как я говорил, первым событием был глухарь и выход Старшого в трусах, а ко второму плавно перехожу через кутух. Старшой сделал нам новый двухквартирный кутух — длинную будку из бревешек с двумя входами и перегородкой — живи не хочу. У каждого своя площадь, но надо знать собак: мы тут же влезли вместе в правый отсек, сначала я, потом Рыжик. А потом в левый — сначала Рыжик, потом я. Рычали, толкались и так и жили то вдвоем, то порознь. Попеременке.

Иногда Рыжик ложился рядом с дверью избушки под навесом, за что Старшой его звал «теплопопым», считая, что Рыжика привлекает тепло из-под двери. Хотя, возможно, ему хотелось оказаться первым, когда Старшой вынесет объединенную грудину глухаря или рыбы кости. Рыжик належал себе даже преддверную круглую вмятину в грунте, где, свернувшись клубком, то прислушивался к маневрам Старшого в зимовье, то дремал, а то вдруг начинал, напряженно вздев морду и натянув углы рта, чесаться и стучать лапой по бревну или косяку. На что Старшой отвечал неизменным: «Кто там? Наши все дома». А когда приоткрывал дверь выпустить жар, то Рыжик вставал и вдвигал в избушку сначала морду, потом шею, а потом и сам вдвигался и стоял, виляя хвостом, долбя им по косяку, на что Старшой говорил: «Избушку срубишь».

Толкаться у двери зимовья под навесом мы оба любили и однажды, играя, весело заедаясь и толкаясь, своротили пустой ящик. По нему Рыжик залез на лабазок и взял кусок масла с дощечки, на которой лежал еще и примерзший малосольный сиг. Рыжик-то схватил масло, но дощечка упала и грохотнула. Старшой выскочил и все понял, хотя Рыжика и след простыл. Старшой положил кусок привады на то же место и пододвинул поудобней ящик. На следующий вечер Рыжик лежал, лежал, а потом внезапно и ни слова не говоря сорвался и мелкой самоуглубленной трусдой подтрусил к ящику, встал на него задними лапами и, оперевшись передними о полку лабаза, аккуратно взял приваду. К ней Старшой привязал крышку от бидона, и она грохнула. Рыжик отпрыгнул и, слыша, как Старшой, соскочив с нар, нашаривает калоши, удрал подальше.

Третье событие произошло не у избушки, а в тайге. Был у нас длинный и нелегкий день, ходили по путику-тупику*, возвращаясь своей лыжней. Едва Старшой развернулся в сторону избушки, Рыжик учесал

* Путик, дорога — ряд капканов или других ловушек на пушного зверя.



домой. В стороне от лыжни Таган облаял глухаря, и мы задержались, а возвращаясь, не доходя до избушки обнаружили Рыжика, попавшего в капкан. Как сейчас помню: второй номер, Старшой ставил их на лису, росомаху и песца, когда тот подходил с тундры. «Оголодал! — прорычал Старшой. — Полтора километра не дотерпел! Заблюдник...» Когда он попытался освободить брата, тот стал истерически кусаться, а Старшой снял суконную куртку и, накинув ему на морду, освободил лапу.

Это из неприятного. А конечно, самым главным и долгожданным событием стали наши первые соболя.

Самого первого облаял Таган. Когда мы с братом подбежали, все вокруг кедров было истоптано, и захода соболя я не понял, как и картины вообще. Соболишка попался тайкий (люблю это слово) и никаких признаков жизни не подавал. Движения воздуха были таковы, что запаха зверька я не ощущал. У меня было два выхода: ничего не поняв, залаять вслед за Рыжиком заодно с Таганом либо не торопиться и разобраться самому. К тому же у меня обостренное чувство чужих заслуг и мне не хотелось ни к кому примазываться. Хотя, как выяснилось, одно дело — принципы, другое — чувства. Подошел Старшой и, чтобы нас затравить, выстрелил рядом с соболем по ветке.

Зрение у собак на третьем месте после нюха и слуха. Но когда я увидел качнувшиеся ветви и перескочившее по ним темно-бурое существо мягкого, густого и немислимо породистого облика и таких великолепно-спокойных, царских и внимательно-гибких движений, то рот мне расперло комком взрывного лая. Будто там лопнуло что-то. Будто раскрылась дождавшаяся часа капканная пружина. Понимаю неуместность сравнения и использую только для того, чтобы показать разевающую силу этого лая. Его распирающую неизбежность. Дальше к хоровому лаю добавился еще один звук. Сначала мне показалось, что это придыхание Тагана, межлаевая одышка, или что у него в гортани застряла гнилая мягкая щепка, но потом оказалось, что звук идет сверху, будто у самой кедров засорилось смолистое горло. И когда я понял, что это ворчит соболь... я потерял голову. И если первый раз мне взорвало пасть пружинной от «нолевки», то тут была неистовая «тройка». Добавьте головку с круглыми светлыми ушами, пролившийся наконец режущий запах и это немислимое шевеление в тяжких и крупных пучках кедровой хвои. И протяжно-пружинный стон отрикошетившей пульки. И отстреленная веточка с тремя кистями хвои, к которой мы с Рыжиком бросились как дураки. И наше визгливо-жалостное влывание на перепрыгивания соболя, и Рыжик, кинувшийся лапами на ствол и откусивший кусок коры.

Там вверху нечто огромно-таинственное и неистовое царило, некое диковинное существо размером с кедром, шевелящее хвоей, придыханно ворчащее, замирающее, воющее пулькой, обманно роняющее ветви и настолько вездесущее, что вылетевшая из-под зубов Рыжика кора тоже казалась частью его безумия. И оно ходило ходуном, и ког-

да Старшой особенно неожиданно выстрелил — собралось и выдало нам вытяжку, кристалл, образец, смоляную капль, сгусток темной молнии, и Старшой кинулся, чтобы мы с Рыжиком не порвали ее пополам и не умерли от разряда. Потом долго и изумрудно умирали соболиные очи, светились диковинно на царском меху — сложнейше-коричневом с переходами, со сказочным переливом в палевость, с намеком на рыжину и затемнением по хребту. С головешечно-черными мохнатыми лапами и ярко-оранжевым горлом, поразительно созвучным острому тревожащему запаху. Мы все прыгали, пытались ухватить добычу, и Старшой давал нам легонько пожамкать-лизнуть, крепко держа и оставляя меж сжатых кистей оконце соболиного тела — морды, уха. А мы, потрясенные, прихватив и потрепав добычу, фыркали и вновь заливались восторженным лаем.

На другой день счастье подвалило уже именно! Я наткнулся на соболя накоротке, и он влез на высокую и тонкую листовку и сидел, изогнувшись и кругло сложившись. Его было отлично видно, на этот раз желто-рыжего, освещенного солнцем на фоне синего неба. Когда я все лизал и пытался судорожно прихватить добытого соболя, Старшой, сдерживая мой пыл, говорил со мной особенно негромко и внимательно. В его «молодец-молодец» звучали настолько серьезные ноты, что снова забрезжили связи-жердины и снова замутило от ощущения прозрачной и ноющей ваги внутри меня...

Были еще соболя, скрывшиеся в корнях, которые мы разрывали черными от земли мордами, были зубы и розовые десны Рыжика в темных кусочках мусора; помню вытоптаный дотла снег и длиннющие, уходящие вдаль шнуры корней и как они вспарывали подстилку, когда Старшой их дергал. Была лежачая дуплистая, покрытая мохом трубакедрина, в которой затаился соболя. Таган стоял у выхода, влаивая и крутя головой, и Старшой вырубал топором дырки, как в дудке, тыкал в них палкой, и мы видели в окнах диковинно-сказочный проползающий мех...

Однажды мы загнали соболя в огромную зеленоватую осину, гладкокожую, с буграми-наплывами вокруг сучков, уже сгнивших и глядящих дуплами. Осина была необыкновенно литая и гулко дуплистая изнутри. Старшой прорубил в комле дыру, открывшуюся кромешно и близко, и запалил бересту. Медленно и пахуче разгорелся огонь, и повалил дым сперва из одного дупла, потом из другого и третьего. Соболя вылез и сначала пополз вниз головой, распластавшись полностью, и, цокотя коготками, спускался рывками-перебежками, и свисал хвост, загнувшись на спину. Старшой добыл соболя, и, когда уходили, я жарким ртом куснул снега и оглянулся: гудела тяга в осине, густой белый дым валил из многочисленных дупел в разные стороны и под разными углами и коренастое дерево напоминало какой-то старинный людской агрегат.



Рыжик

Когда узнаёшь, что состоявшийся, знающий дело пес вдруг еще и стихи пишет, неловко становится как-то и неустойчиво. Есть образ, к которому ты приладился, с которым понятно и крепко, и вдруг вся собака... откатывается на слабую точку. Личность, привыкшая побеждать, вдруг сознательно становится беззащитной, уязвимой пред белым светом, ушлым на критику. Так и охота спросить: зачем?

Рыжик хоть и не был состоявшейся собакой, но в направлении двинулся, и поэтому неловкость я испытал ужасную, узнав, что он еще и пописывает. Вирши совершенно не шли Рыжему и выражали не его суть, а одну, скажем так, идейную ипостась, причем настолько примитивно... Если бы их прочел некто, съевший собаку в поэзии и не знавший Рыжика, то был бы разочарован: образ лирической собаки не имел ничего общего с той собакой, каковой эта собака была в собачьей жизни.

Тем не менее содержание этих... куплетов, а иначе их не назовешь, помогает понять, что роковой тот поступок, на который мой брат столь безрассудно решился, не имел никакой материальной, или, скажем так, желудочной, подоплеки. Надо полностью не понимать Рыжика, чтобы объяснять случившееся продуктовыми причинами, и я абсолютно уверен, что сама по себе привада как продовольствие не интересовала Рыжика вовсе, а руководила им лишь идея бунта против существующей картины взаимоотношений, скажем так, гражданина и власти и его собственного в ней положения. Поэтому трактовать поступок Рыжика с продовольственных позиций, как это делал Таган, совершенно ошибочно и, я бы сказал, недалекосвидно.

Чтобы доказать сугубо идейную подоплеку этого бунта, я предлагаю обратиться к поэтическим изысканиям Рыжика, которые, не имея отношения к литературе, нужны лишь в доказательство моей версии произошедшего. И прошу не воспринимать мое критическое отношение к творчеству брата как повод выставиться более сноровистым в литературном творчестве: я начисто лишен подобных притязаний и выступаю как летописец.

В таежной жизни бывает, что кто-то напоеет, просыпаясь, какую-нибудь глупость и все повторяют ее до самого заката. Поэтому так важно, чтобы день, осень, жизнь начинались с правильной строчки. Так вот, Рыжик частенько бубнил с утра глупейшую фразу: «Этот Рыжик, в общем-то, рыжовый...» А я целый день ее повторял и, чем сильнее ощущал ее глупость, тем послушней долдонил.

Что он имел в виду? Какую такую «рыжовость»? А может, не рыжовость, а ржавость? Повторю, Рыжик был, что называется, с идейками и критической жилкой. Грамотный, по-своему даже начитанный, он имел самостоятельное суждение по каждому почти случаю, да еще и с пофыркиванием на общепринятое. Имею в виду пофыркивание в общечеловеческом смысле, а не в сугубо собачьем.

По моим наблюдениям, чем грамотней творческая собака рассуждает об искусстве и чем сильнее наращивает читательские ожидания, тем слабее



ее произведения. Если уподобить душу художника котлу, в котором готовится духовная пища, то без конца снимая крышку ты лишь стравливаешь пар и роняешь давление. Это же относится и к строгости подачи: канон на то и канон, чтоб не отвлекаться на форму посуды и собраться на взваре.

И либо Рыжик слишком много рассуждал о законах творчества, либо ошибся с каноном, но все его стихотворство свелось к какой-то бесконечной поэме в духе тюремного фольклора с вечно плохим прокурором и несчастным арестантом. В качестве прокурора и мучителя выступал Старшой, купающийся в комфорте, у которого в избушках чуть ли не полированные стены и прочие излишества и, конечно же, «кулинарное питание и от печки ровное тепло». Причем эти «полированные стены» будто свидетельствуют о некоем буржуазном вкусе, точнее, отсутствии вкуса и тяге к внешнему лоску.

У него в избушках много лака,
Там он развалился и храпит,
А за дверью бедная собака
В кутухе простуженно сопит.

У нее дырявая избенка,
Колко смотрят звезды из щелей,
Вместо двери тонкая картонка —
И лицо в укусах соболей.

Летом были с девушкой в походе,
Гнус в пути довольно сильно грыз,
Кто-то, вечно правый,
Встретил нас расправой,
И хотелось спрятаться за мыс.

Там, где снег в сидячую собаку,
Мы идем-то, в общем-то, пешком,
Ну а кто-то прет на снегоходе,
Да и в общем смотрит бирюком.

Мы ползем за ним в снегу по брюхо,
Едкий выхлоп лезет нам в носы,
Это нам грозит потерей нюха,
И вот-вот отвалятся усы.

С последним куплетом он меня всерьез мучил, требуя выбрать лучший. У него был еще один вариант:

К позвонкам давно прилипло брюхо,
Лезет выхлоп в ухо, горло, нос,
Это нам грозит потерей слуха
И на зренье скажется всерьез.



А я думаю, к его поэме подошла бы вот такая заключительная строфа:

На восходе рыжем и суровом
Из трубы железной вился дым.
Этот Рыжик был с утра рыжовым,
А к закату сделался седым.

Строчка про звезды, «колко» глядящие из щелей, мне нравилась, так же как и аллитерация «тонкая картонка», хотя и то и другое — красное словцо: никакой картонки не существовало, вход в кутух был завешен плотной мешковиной. Да и звезды из щелей не смотрели: бревешки были отлично подогнаны и проложены мохом. Но строки казались самыми удачными. Так что есть правда?

Остальное не годилось никуда, особенно гнус, который нас настолько «сильно грыз», что ниоткуда появлялся целый персонаж, некий таинственный и странный «сильногрыз». А меткое выражение «снег в сидячую собаку» Рыжик подслушал у Старшого.

Не смешно, а нелепо и горько все это, учитывая развязку. И повторяю, куплеты эти не имеют ничего общего с личностью их автора, который, владея прекрасным слухом к чужим успехам и неудачам, обладал полной слепотой по отношению к себе. Впрочем, в этом мы все успеваем.

Видимо, не успев в стихах, он перешел, так сказать, на прозу, точнее на публицистику, начав со всем максимализмом разрабатывать теорию Собачьего, которая имела массу позитивного, но искривилась и свелась к окрестностям вопроса. Рыжик разрабатывал не содержание Собачьего, а «держал границы», например занимался составлением словарика выражений, оскорбляющих собачье достоинство: собачий холод, собачья жизнь, насобачился, плавать по-собачьи и так далее.

Услышав разговор охотников про «собачки от стартера», полез в справочники, а потом изыскался:

— Слышал новости? «Собачка — деталь храпового механизма». Это, наверно, когда Старшой храпака дерет в избушке, а мы на улице зубами стучим!

Придумал словечко «Собы», казавшееся ему особо удачным, и оно, дурацкое, вошло и в мой обиход. Удивительно как бывает. Один придумает что-то в пылу самопоиска, да тут же отгорит и десять раз предаст, а другой все примет и потихоньку-полегоньку понесет сквозь всю жизнь, наполняясь по сердцу и дивясь как дару. Так и у меня вышло, когда я, глядя на окружающих и расспрашивая их о прошлом, осознал нашу собачью особость, те главные качества, на которых веками зиждилась негордая наша порода. Они просты, как все исконное. Это три камня: верность, способность к бескорыстному служению и непамятозлобие.

В Рыжиковых же Собах ничего, кроме того, что мы особенные, не было и дальше деклараций и щенячьей игры в слова не пошло: Рыжик впал даже в своего рода ересь. Слово «особенность» у него означало ко-

личество собак у охотника. «Индекс особенности промысловиков Балаханского района к концу XIX века колебался в пределах двух-трех особей на русского охотника и пяти-шести на енисейского ясачного остяка и тунгуса...» Особь, пособие, соблазн, собутыльник — все Рыжик трактовал и переизобретал. Подсобка — небольшая молодая собака. Соблюдение — облудение собак, то есть приобретение ими человеческих качеств. Подсобник — коврик. Вершиной были перлы вроде междоусобицы, что означало пространство меж собачьих усов.

— А как же соболь? — спросил я.

— Х-хе, — сказал Рыжик и стал тянуть время. — Ну как же, как же... э-э-э... Пр-с-сь, — вдруг догадался брат и продолжил очень солидно: — Ну как же? Со. Боль. Собачья боль. Ну... вечная обида на несправедливость. Вроде как ты нашел, догнал, облаял, а приперся Старшой, добыл-подобрал, пинкаря наподдал и в свою котомку бросил. Это как в кино оператор: отснял — и до связи. А все хрящики режиссеру. От так от! Да...

И вдруг открыл:

— Ты понимаешь, мы операторы! Операторы скаковой... меховой... Не! Во: нюховой погони. Операторы нюховой погони! Х-хе! Звучит? Хватит нам дедовским строем жить! Надо в лапу с эпохой! Собь наша держится за любовь к миру и любовь к самому себе! Даль — ни больше ни меньше!

— Какая даль?

— Владимир Даль, тундрятина!

...Уже стояла середина ноября, все глубел снег, и мы уже не могли догнать соболя. Снег этот треножил и изводил, наводя на мысль, что самое интересное позади. Это не означало, что надо обязательно плестись за Старшим: по старой лыжне еще можно было убежать вперед, но шаг в сторону — и уже прыжки и язык на плече. День сжался, ночи подступали все морознее, и мы лежали в кутухах, укрыв хвостами носы, так что на бровях к утру козырьком серебрел куржак, придавая росомаший вид. Выбегая из кутуха, Рыжик то и дело поджимал ногу и заскуливал. Приходили поздно, не в силах догнать соболя, за которым брели, пока хватало сил. Таган такой ерундой не занимался, четко знал и снег, и свои силы и гонял только парные (свежие) следы на самом коротке и шагом. Мы же убегали и приходили в темноте, чаще так и не догнав соболя, а если догоняли, то лаяли часов до трех-четырех ночи, сокрушаясь, почему не скрипит на лыжах Старшой. Нам в голову не приходило, что он не в состоянии столько отмахать по тайге.

Вскоре снег и вовсе оглубел. Самое обидное, что соболь это понимал, наглел и, бывало, прыгал с кедры и убегал по снегу, зная, что его не догнать. Работа все больше сводилась к тупому бредению за Старшим и попыткам нескольких натужных прыжков в сторону и обратно.

Был еще урок, который добавил раздражения Рыжему. Учил он знанию одного из важных законов собачьей жизни. Я бы его назвал «зако-



ном притяжения избушек». Как-то раз мы уходили в хребтовую избушку на малый круг. Уход с зимовья — целое дело: Старшой кучу всего убирал, проверял, выливал воду из ведер, убирал лестницу от большого лабаза. На полдороге к Хаканачам* Рыжик погнал след соболя, который вывел его в обратную сторону. След был старый, Рыжик бродил, бродил, потом выбежал на нашу дорогу и, вместо того чтобы догонять, вернулся на базу и сидел там три дня, пока мы не пришли. Притяжение избушки вернуло его с полпути и не пускало на наши розыски. Таган сказал, что это и его «столь раз ловило», и меня «ишо не раз поймат».

Рыжик особенно переживал и страшно обиделся, что его «забыли». Снег подваливал. Брату все сильнее хотелось действия, чего-то острого, интересного, и, как натура нетерпеливая и впечатлительная, он маялся, и все чаще проявлялась эта нервная скулинка в зевке. Раздражало все.

— Он перестанет валить-то (это про снег)? Честно говоря, остопузбло. Таган еще этот. Бе-бе-бе... Задутый в хлам. Сам от себя тащится.

Но больше всего доставалось Старшому.

— Меня, например, возмущают некоторые вещи. Как он все время повторяет одни и те же шуточки: «Избушку срубишь» или «Наши все дома». Я Тагана специально спрашивал — он говорит, тот уже много лет это прогоняет. Меня просто раздражает, как он снегоход заведет и стоит, стоит рядом... Особенно в мороз эту тягучку тянет: дымина, давно ехать, а он все стоит. Себя и нас травит. Или как торчит над душой, когда мы едим: «Ешь, ешь, крупу подбирай, одну рыбу и я могу».

Я пожимал плечами. Мне не приходило в голову раздражаться. Как есть, так и есть. Не то что я такой послушный, покорный. Нет. Просто так устроен. Себя хватает. Да и спокойней.

— Да ты какой-то равнодушный... — с горечью говорил Рыжик и пытался развеселиться зубоскальством.

Читающий все, начиная от рваных упаковок и инструкций и до философских трудов, придумал свой способ подшучивать над Старшим. Поскольку наша жизнь очень сильно завязана на Старшого, то привычен вопрос: «Где Старшой?» И допустим, Старшой ладит переправу. «Где Старшой?» — «Диодный мост через ручей намораживает». Или: «Где Старшой?» — «На лабаз иерархическую лестницу ремонтирует». Или: «Генератор идей дергает». — «Ха-ха-ха!..» При всей глупости, выражения привились, и лестницу мы так и звали «ерархической», а мост — «Диодным». «Хе-хе, Диодный промыло!» Шуточки не спасали, и раздражение в конце концов привело к тому, что Рыжик предложил мне совершить поступок, который... В общем, все по порядку.

— Я не знаю, чо ты страдаешь, — сказал как-то ночью в кутухе Рыжик. Сказал негромко и подавая, что я, а не он извелся. — Я все продумал. Токо идти на тупик надо, где меньше попадает, где вообще может зря провисеть. Он нам еще спасибо скажет. «Все равно кукши с кука-

* Хаканачи — название реки.



рами* склюют. А тут хоть вас накормил. Седни поздно пришли, сварить не успел. Устряпался с этим снегом. Валит и валит...» — говорил Рыжик со старшовскими интонациями. — «Молодцы, чо скажешь. Сами о себе позаботились, не все батьке за вами сопли вытирать, хе-хе».

Я даже рассмеялся, а удовлетворенный эффектом Рыжик сменил тон на серьезно-штабной:

— Смотри. У него на тупике шестьдесят ловушек. Допустим, полста капканов и десять кулёмок**. Кулёмки — хрен с ними, не берем, там привада высоко, не дотянемся. Только время потеряем. Тем более полста капканов — это во... — Он провел лапой по горлу. — По двадцать пять кусочков на рыло. Куда с добром! Ну чо? — подвел он торжествующе-гордо. — Делаем?

— Рыжак, ты чо, сдурел? Ты чо, не понял ничего? Это труба. Нельзя. Он тебя всяко-разно вычислит.

— В смысле — меня? А ты чо, типа, сам по себе? Ты такой честный? А я, значит, плохой?

— Да нельзя этого делать!

— Да тебе кто сказал-то такое? Чо за туземные правила? Еще про обязанности скажи! Я, например, себя совершенно не чувствую... обязанным ему. Во-первых, он, смотри, в тепле, а мы в будках. Во-вторых, как он питается и как мы? Ты думаешь, нормально до ночи не жрамши бегать, а потом брюхо набивать так, что пошевелиться не можешь? Бочка и бочка. Смотреть дико... И все одно и то же: каша и рыба, каша и рыба, — говорил он с напором. — Ты вообще в курсе, какой рацион должен у собак быть? Ну вот то-то! А он-то о себе не забыва-а-ет! — пронизательно протянул Рыжик. — То рожки, то макарочки! Все эти соуса, кетчупа! Гречка, сечка, рис, пшенка, манка, овсянка! Да! Эта еще... как ее?... Ну как? — раздраженно забил хвостом.

— Полтавка?

— Да нет! Перловка! Перловка. Ну.

— Горох еще.

— Ну, горох. Фасоль еще. А картошечка? С салцем! Тьфу! Лук только зря он везде пихает. — Рыжик совсем раздражился. — А тут таз этот грызешь-выгрызаешь...

Бывало, остатки каши замерзали в тазу, и мы их грызли, пытаюсь добраться до труднокусаемой области, где соединяется донце с бортиком. И так и глядела оттуда мерзлая каша со следами зубов.

— А соболей этих как он нас жрать приучал?! — не унимался Рыжик. — Меня первый раз чуть не вывернуло. Такой духан у них... Бэ-э-э. А еще по рации... — Рыжик заговорил с грубой манерностью, растягивая слова. — Еще с таким довольством рассказывал: «Не-е... (Он снова стал очень похоже изображать Старшого.) Я своих приучэ-эю... Сначала морду воротят. А морозцы придэ-эвят — как миленькие хряпать будут... хе-хе. Ни хрена... Голод не тетка...»

* Кукара — кедровка.

** Кулёмка — деревянная ловушка на соболя.



И он еще добрал раздражения:

— А теперь прикинь: сколь он километров за день проходит, а сколь мы? Я в книге читал: «Промысловая собака пробегает в день расстояние, в десять раз превышающее дневной переход охотника!» О как — в десять раз! Это не хрен собачий!

— За базаром следи!

— Да чо ты мне тут? Надоело все! Ложь эта бесконечная... Собачье-несобачье... А главное, ему навалить на наши заботы! И ты хорош: «Наше, Собачье!» А сам за что стоишь? Помнишь, как мы клялись-стояли над скалами? Ты говорил — верность! Пусть они как хотят там! Чо хотят! А мы как пятьсот лет в той же шкуре бегали, так и бегаем! — Рыжик сменил тон на предупреждающий: — А снег оглубеет — мы вообще поплывем! Только уши одни останутся. А он на снегоход — и алга! А от него вонючка сам знаешь какая. Погоде-е-е, — завел он умудренно, — я на тебя посмотрю, когда настоящие морозы придавят! Кто нам тогда за вредность доплатит? Так что нечего тут в благородство играть... Доигрались, что нас скоро на хасок поменяют. Видал вон, Коршунята чо творят?!

— Ну, — согласился я, — последнее время он наше Собачье ни в грош не ставит — с Коршунятами тут миндальничал.

Коршунятами звали наших соседей по участку, из тех, про которых говорят «палец в рот не клади». Они пытались заработать на всем и строили планы купли иностранных собак для катания богатых туристов. Кличка Коршунята — производное от фамилии Коршуновы. Не люблю говорящих фамилий, но тут бессилен. Так что извиняйте.

— Дак про то и толк! — с жаром подхватил Рыжик. — И не то что не ставит — а просто попирает. Просто па-пи-рает, — сказал он совсем по-тагански. — И кстати, вот Николь — она молодец. Она говорит... Ну чо ты морщишься? — наморщился на меня Рыжик и почесался, застучав по будке.

— Наши все дома! — сказал я, и мы захохотали.

— Хорош ржать, жеребятня! — рыкнул Таган.

— Да все. Все, дя, — сказал Рыжик и тихо добавил, покачав головой: — Еще один. Задрали... — И продолжил обычным голосом: — Дак вот Николь... Да ты чо опять?

— Да имя чопопалошное... — сказал я, щадя Рыжика и переводя неприязнь к манерной сучке на ее имя.

— Нормальное имя. А чо? Лучше, как у вас: Соболь и Пулька?! Припупеть как оригинально! Дак она грит: вот в городе, да, там территория с фигову душу, у нас участок в десять раз больше. У них там ни леса не растет, ни мяса не водится, ни рыбы — ничего, а живут распрекрасно! А тут вечно попа в мыле и каша мерзлая раз в сутки.

Рыжик вдруг заговорил с примирительно-справедливой интонацией:

— Причем я не предлагаю брать путик, где попадает. Берем самый пустой. Где соболь раз в пять лет забредет, да и то сдуру. Заморыш какой-нибудь. Все равно пропадет привада. А это его труд, между про-

чим. И наш. Ты поди этого глухаря найди, облай, потом добудь, обработай. На кусочки поруби. Проволочки к ним привяжи. Ни хрена себе! И все этим тварюгам. Кедровкам этим, кукшам... Не выношу, как они орут. Дятлы эти... Долбят сидят! По башке себе долби. Ду-пло-гнезник... — презрительно обратился Рыжик к воображаемому дятлу. Он все больше набирался мощной тагановской интонации. — Ага. А привада через месяц выбыгает* — и с нее толку нуль. Все равно ее обновлять наа. Он нам еще спасибо скажет. Мы, так сказать... обеспечим своевременное обновление приманки, что положительно скажется на результатах промысла. Не-е... — И он оглянулся, будто обращался уже не ко мне, а к какой-то пространной и заинтересованной аудитории. — Я считаю, тут надо четко. Или-или. Так что думай. А то вечно будешь... х-хе... на подлайке... По попе лопаткой получать. А он твоих соболей будет на аукцион толкать... А ты мерзлую сечку грызть. Или... полтавку. И зубьями клацать. — И добавил с грозным холодком: — Так чо? Со мной или как?

— Не, Рыж. Я не то что «или как». Я против. И тебе скажу — не ходи никуда. Беда будет.

— О-о-о, понятно, — потянул он презрительно. — Я думал, ты правда брат. А ты так... Временный напарник. Я думал, вместе — значит вместе. На хрен ты тогда все эти сопли разводил над скалами?.. — И вдруг сказал резко и собранно: — Ладно. Разберусь. — И добавил, вставая: — Кашку жуйте. Счастливо оставаться. Да, и надеюсь, ты Тагану не станешь передавать наш разговор?

— Чо, сдурел, да? Ты в курсе, что там есть капканы с оцепами** — вздернет так, что лапу вывернет из сустава! И в мороз нельзя. Влетишь — и хана лапе.

— Да ба-рость ты, — развязно парировал Рыжик, демонстративно отдаляясь от меня. — Такие дела красе-ево надо делать. При звездах. На бордяке. Я вообще шлячу*** не люблю. Когда сырость, снежина этот. Не мое. У меня в снег вялость. Неохота нич-чо. А когда вызвездит с ночи! Это да. Мне Таган рассказывал, есть какой-то Ткач у них, дак тот только ночью работает, с фонарем. Грит, расстояния короче. Вообще мужик! У него литовка в каждой избушке, и он, представь, с осени собакам сено косит на подстилку. Они у него в отличных условиях. Ну и отдача — сам понимаешь! А наш чо? Только орет и шестом лупит. А раньше, Таган говорит, — исторически завел Рыжик, — у бати его, Дяди Вовы, кутухи были в угол рубленные... И кастрюли с полбочки. Понял? И одной рыбой кормил. По пять центнер одного токо налима заготавливал! Дак у него и собаки как глобусы были... Этот пришел — всю... инфраструктуру свернул на хрен!

— Как глобусы? Такие же синие, что ль? Ой, не могу! Надо было тебя Глобусом назвать! А не Рыжиком! Глобус, ко мне! Опеть, падла, отъелся!

* *Быгать* — выветриваться, обезвоживаться, вымораживаться.

** *Оцеп* — приспособление из длинной жердины, наподобие журавля, для вздергивания соболя, попавшего в наземный капкан (чтобы не стригли мыши).

*** *Шляча* — теплая погода с мокрым снегом; слякоть.



Он было улыбнулся, но тут же улыбку свернул и продолжил:

— Да-а-а, не ожидал я от тебя, Серый... такого поворота. Не ожидал... Ты меня знаешь. Мне-то в гордык с тобой работать. А ты вон как. Ну ладно. Только потом не надо примазываться... к чужим достижениям.

Рыжик вылез, побегал и, хватанув снега, вернулся в кутух.

— Удивляюсь на тебя. Не хочешь по капканам, а сам в капкане. Сидишь и боишься вырваться. Ты разуй мозги-то. Я щас тебе открытие сделаю. Хочешь? Ну слушай. С капканами. Можно. Спокойно работать! Я, например, сразу понял. Просто не надо на них на-сту-пать. Все. Не наступай на железо. Спокойно, главное. Подошел. Онюхал-осмотрел. И ставишь лапу. Там места валом. Это соболев — дурак, ему пофиг. Не понимает железа. А мы-то собаки! Запомни: от железа фон холода идет! Все. — Рыжик задумался, помолчал и продолжил философски: — Не знаю... Какая-то в вас несвобода, что ли? Таган, помнишь, рассказывал, что здесь раньше капканы на земле ставили? И мыши жрали пушнину не-щад-но. Потом с Саян, с Каратуза, приехал какой-то Крюков ли, Хрюков, хе-хе... и стал на жердушки ставить — и всё. И все начали жердушки лепить. А чо раньше-то? Где мозги были? Сидели соболев штопали, глаза ломали при лампах. Керосиновых. Я вообще в шоке.

— Да чо ты мне тут про Каратуз? Я те про то, что приваду трогать нельзя! Ты чо такой?

— Да кто сказал-то, что нельзя? Старшой, что ли, этот преподобный? Он кто такой-то?

— Он Старшой.

— Да ладно тебе, — презрительно-успокоенно сказал Рыжик и, протяжно зевнув со скулиной, закрутил разговор: — Отбива-а-аться надо.

Хотя с Рыжим я говорил решительно, внутри все рвалось. Я то собирался идти с ним на преступление, обосновывая тем, что при мне он не влетит. То почти соглашался с его правдой, а то не соглашался, но выбирал братскую дружбу без всякой правды и обоснований. За ночь Рыжикова правда вытекала из меня, и я понимал, что так делать нельзя, и переживал, что почти предал Старшого с Таганом. И гадал — как и дружбу не обидеть, и не участвовать. Даже подумал пообещать, а потом сказать, что лапа заболела. И хотел, чтоб все как-нибудь сделалось — чтоб Старшой решил заменить накроху, велел нам старую съесть и мы бы пошли. Гаже не было состояния: я брата любил.

Однажды мы с Рыжим притащились особенно поздно; Старшой с Таганом давно вернулись в избушку. Мы, бредя сзади, наткнулись на след, поковыляли по нему и, найдя соболев в корнях, много часов пролаяли. Днем было тепло, а к ночи стало на глазах подмораживать. Рваные тучи понесли с северо-запада, открыли закатное небо, и гнутые ветви кедров на его фоне казались особенно черными и пучкастыми, а прозрачно-огненные просветы — пятнистыми от кедровых кистей.

Мокрые шерсть мгновенно бралась панцирем. Пришли во льду, с ледышками меж подушек. У меня кровил, болтался коготь: я его отодрал,

когда рыл соболя в корнях и камнях, и не заметил в азарте, в трудовом упоении. В ощущении своих окрепших лап, наросшей на подушках кожи, толстой и тугой. В восторге от сочетания несовместимого: снега и угластых камней, горной грозной породы, обрывков мха и богатейшего терпкого запаха — земли, корней и плесени... И все крутилась, поглощала мысль — что жизнь сырьем берем! И все стояла перед глазами освещенная закатом сопка с сахарно-розовым от кухты лесом, белая бугристая плешина на склоне — каменные россыпи в чехле снега — и ворчание соболя. И как выкатились на затвердевшую лыжню и бежали, толкаясь и кусаясь.

Старшой обрадованно выскочил — на ворчанье ли Тагана, которого запустил в избушку, или на грохот пустого Таганьего таза, из которого Рыжик бросился выгрызать остатки каши. Старшой громко и радостно выговаривал: «Где шарились, а? Ах вы, собаки! Ах вы, морды!» — и вынес таз с кормом, который давно остыл и ждал в избушке. Накормив, Старшой в виде праздника запустил нас в избушку. Мы мгновенно забрались под нары, где Рыжик начал сопеть, чихать и чесаться, колотить лапой, и Старшой сказал: «Кто там? Наши все дома!»

Никогда не забуду. Тихий бледный свет ночника. На коврике в ногах Старшого Таган. Старшой с ним разговаривает и почти советуется, а тот лишь едва прижимает уши и хвостом даже не шевелит, а обозначает готовность.

Таган лежал на полу, но его подстилка, старый детский матрасик, казалась каким-то тронем. Тихо подпевала печка-экономка, верещала убавленная радиостанция, которую Старшой слушал вполуха, и такой покой стоял в полусвещенной избушке, что на всю жизнь заморозил образом счастья.

Старшой глянул на будильник и добавил громкости рации. Там что-то нудно пикало да далеким фоном шло сразу несколько разговоров.

— Хорогочи! Хорогочи — Скальному! — вдруг неожиданно близко заговорил голос, искаженный до режущее-комариного.

Старшой покрутил тембр и из писклявого обратил в неузнаваемо загустевший, вязнущий и одновременно гудящий, будто Скальный говорил в дупло, а потом вернул к среднеестественному.

— На связи, Скальный! Там Курумкан не вылезал?

— Да нет пока...

— Ясно. — Старшому самому так нравилась тишина и редкое наше единение, что говорить особо не хотелось, но он поддержал разговор: — Ну что? Как делишки? Пробегает соболек?

— Да пробегать-то пробегает, а кобель меня новый замучил. — Скальному было охота, чтоб расспросили, и не торопился все выкладывать.

— Чо такое?

— Да чо-чо? Соболей мерзлых в капкане портить повадился! Задолбался.

— Отметель как следует этим соболем по сусалу.

— Да метелил. Первый раз такой соболь еще попался, котяра, третий цвет, здор-ровый. Так отходил! Потом этого соболя полночи штопал,



глаза сломал. На следующий день еще пять штук... Подбежит, пожамкает и, главное, удирает тут же! Как понимает.

— Да всё они понимают! — с возмущением сказал Старшой. — А рабочий хоть кобель?

— Ну как... Молодой. Шибких достижений нет... В пятую* тут погнал.

— Нда... Как бы убирать не пришлось. Это бесполезно. Только нервы трепать будет.

— Но. Я и сам думаю. Жалко, конечно. Но с такой охотой — не знай...

Тут вмешался совсем близкий голос:

— Хорогочи! Хорогочи — Курумкану, прие-о-ом!

— Отвечаю, Курумкан! Обожди, Скальный. На связи! На связи, Курумкан, как понимаешь меня?

— Да нормально. Нормально идешь. Ты, это... чо, когда подъедешь?

— Подъеду, подъеду, только послезавтра. Как понял меня?

— Понял, понял, Хорогочи!

— Добро. Мне с работой две избушки пройти надо. Продержишься?

— Ну понял, понял. Продержусь. Куда деваться? Я думал, завтра.

Ладно. У тебя, это... лебедка есть? Да. И пила?

— Есть, есть, Курумкан! Веревки есть. Сколь там километров до места?

— Восемь! Восемь примерно!

— Понял, восемь!

— Там, я боюсь, шуги бы не натолкало, сверху открыто все. Там горы. Она шиверой сплошной течет! — сказал он про реку.

— Ладно, ладно. Не кипишись. Вытащим.

— Хорошо, еще рация здесь старая. А батарею? Батарею вез сюда! Тоже там. Не знаю: будет работать, нет? Она, правда, в мешке. Закрытое все. Может, не промокла. Ладно, давай: питание садится. До связи!

— До встречи уже!

— Давай аккуратно там! Я, короче, рацию не выключаю, пусть на прием пашет. Вы меня не орите.

— Ты, это, Курумкан, — вмешался Скальный, — ты выше дыры возьми доски на ребро поставь и наморозь там, ведром прямо лей, лей... Проколет — потом черта вытащите!

— Да ково доски? — вмешался мужик с позывным Сто Второй. — Ты чо, не понял, Скальный? Он же пилу тоже утопил. Ты, это... Курумкан! Ты сходи туда завтра и просто жердей, просто жердей накидай, — кричал Сто Второй, — на подвид опалубки, и намораживай! Все равно тебе делать не хрен, пока Вовка едет, хе-хе. Хорогочи, а руль-то хоть торчит?

* В пятую — в сторону, противоположную той, куда убежал зверь.



— Да какой руль? Полностью ушел. Там метра два. Еще с нартой.

— Да... А мы прошлой весной «армейца» утопили в пропарине, на гусей ездили... В навигатор забили место. Всё. Нашли. Зацепили — а Енисей возьми и пойдё! Так и волокли, пока не остановился. Метров сто, наверное. Как раз на яме. Еще самолет чей-то подцепили.

— На яме, говоришь? — откуда-то издали заскрипел мужик с позывным Горелый. — А слышь, туда пока тащили, стерлядок, случаем, не набилось под капот?

Таган только хрюкнул и покачал головой.

— Ладно, мужики, до связи. Ехать завтра. — Старшой решительно выключил радиостанцию. — Цас пойдете собирать... Да, Тагаш?

И еще сосредоточенно полежал, а потом подкинул в печку и — сказать «выгнал» не поворачивается язык! — попросил нас из избушки. Рыжик не хотел вылезать из-под нар. Я до сих пор не понимаю, было ли это простое нежелание идти на холод или он по правде что-то предчувствовал...

Обычно мы хорошо слышали с улицы, как Старшой утром растопляет печку — стаскивает дверцу-крышку, пихает поленья, ударяя в гулкое нутро печки, и даже запах поджигаемой бересты доносился до наших носов. Потом открывалась дверь и раздавался веселый окрик: «Мужики, как ночевали?»

Ночью настолько крепко и алмазно звездануло, что я зарылся в сено и свернулся в такой тугой калач, укрыв нос хвостом, что проспал и звук печи, и запах бересты, и проснулся от окрика: «Где Рыжак?»

Утро было седым и морозным. Напротив избушки середка реки не стояла, и там трепетно-живо текла ребристая черно-синяя струя. Пар белым пластом висел до поворота. Скалы, кубически расчерченные трещинами, были как-то особенно пятнисто и грозно покрыты инеем. А голые лиственницы стояли меловыми и их выгнутые ветви казались толстыми от куржака. Я выскочил на берег. Таган сидел на льду и замерше смотрел вдаль. Рыжика не было.

На лице Старшого стоял сумрак жесточайшей досады. Он долго орал Рыжика со всех возможных точек, несколько раз стрельнул из карабина. Вздурораженный и вдохновленный предстоящей встречей с Курумканом, своей спасательной ролью, Старшой был настолько возмущен поступком Рыжика, что слова «просто гад», «вредитель» и «паразит» — были уменьшительно-ласкательные обращения.

Потом он сказал: «Да и хрен с тобой» и «Пошел ты!», не буду, мол, даже прислушиваться и оглядываться, но прислушивался и оглядывался весь будущий день. Старшой завел снегоход и, пока тот грелся, плотно укрытый брезентом, крепко увязал нарту, и мы, наэлектризованные предстоящей дорогой, заматались, в какую сторону бежать, потому что база стояла в целом пауке направлений. Старшой съехал на берег и помчался краем, льдом, косо повисшим на берегу, когда вода упала. Он несся в плотном бело-голубом облаке, и мы заходились за ним в неистовом скачке, а потом по извилистой, пропиленной по густой тайге дороге поднялись



на гору. Там Старшой остановился у длинной кулёмки и долго слушал, сняв шапку и вытянув напряженно шею. Слушал пристально, скусывая сосульки с усов, и капли снежной пыли таяли на красном лице.

И потом, останавливаясь у капканов, так же чутко прислушивался. Но не доносилось ни далекого лая, ни скулежа: «Подождите, бегу!» Только, остывая, щелкало что-то в снегоходе да шипела, капая на раскаленное железо, влага талого снега... И так разлетно неслось просторное крѣканье кедровки, что казалось, она где-то далеко-далеко, хотя была совсем рядом. На острой, укутанной в кухту елке сидел шарик с клювом — поражающе маленький по сравнению с эховым обобщающе-таежным криком...

Были старые следы, соболь не спешил бегать по морозу и, видно, лежал. Попала пара штук. В обед приехали в избушку, подростую метровым снегом на крыше. Будто довозведенная, она выглядела монументально. Старшой затопил печку, попил чаю и пошел по береговой дороге. Возвращаясь, он надеялся, что Рыжик встретит у избушки. Рыжика не было. Сторона, с которой мы пришли, наша дорога — выглядели особенно мертвыми, молчаливыми.

На следующий день к обеду мы добрались до Верхней и оттуда двинулись в сторону Курумкана. Ближе к его зимовью навалились будоражащие запахи, с отвычки особенно диковинно-чужие: собак, дыма, корма — всего того, что так остро и едко говорит о жилье.

Собаки Курумкана были привязаны. Курумкан выскочил в клетчатой рубахе — распаренный, лохмато-бородатый. Из двери прозрачно и клубисто валил плавленный воздух. Старшой стоял грозно-заснеженный, белобородый и нещадно воняющий выхлопом. Нас тут же привязали, чтоб не задирались. У Курумкана была жемчужная со светлыми глазами сучка и лохматый кобель — серый, с рыхлой черной остью.

С вечера Старшой с Курумканом напилили досок, утром поехали к снегоходу. Своих собак Курумкан не взял.

Застывшая ломанина треугольников на месте, где ушел снегоход, была в бархатном куржаке. Доски твердо бумкнулись на лед, скользя и разъезжаясь. Курумкан попробовал топориком, как вырос лед, и отскочившая от удара ледышка поехала по льду, и я не удержался и бросился догонять. Старшой пилил лед, из реза бурлила вода с пузырями, зелено заливая заиндевельй лед со следами аварии. Хорошо, что снегоход уходил постепенно и Курумкан успел выбраться.

Мне, если честно, не очень интересна вся эта возня с железками, которые Старшой с товарищами без конца топят, достают и снова топят, все эти таскания то лодки снегоходом, то снегохода в лодке и чувствование ими себя необыкновенно при деле, а тебя — нахлебником. У Курумкана, например, непроходимые пороги, целое ущелье — километров десять. До порогов осенью доехал и уперся. Но не на того напали: за порогами он сделал вторую лодку-деревяшку и там на ней бороздит. Заезжает весной по насту с племяшом на двух снегоходах, один оставляет в гараже, а на другом они выезжают. Какая-то вечная волк-коза-капуста.

В общем, выпилили майну*. Старшой срубил березовый дрын с крепким сучком и, пока отесывал, умудрялся рассуждать, как он любит березу, хотя все ее «держат не за таежную» и признают кедру и листвяк. Топорик стеклянно отскакивал от мерзлого дерева, но Старшой терпеливо обрубал сучочки, которые и не особо мешали. Он, громко дыша, говорил, как любит «эх, свалить березку и переколоть по морозцу» и что обязательно по приезду так и сделает. Сучок на толстом конце он оставил — это был крючок.

Если приблизиться к воде вплотную, белый снегоход прекрасно проглядывался в струистой толще.

— Да ты где есть-то?! — шарил Старшой в майне, подергивая дрын.

Березина, только что еще скользкая, как кость, в воде стала мокрой, теплой и будто мягкой. Наконец нащупали бампер и приподняли снегоход: в прозрачной голубовато-зеленой воде он ярко, в бирюзу, светился белым капотом и был будто увеличенным. Вода неслась стремительно и неровно, и белый капот дробился, дрожал... Приподняли и зацепили кошкой. (До чего меня смешит это название, совершенно глупое: кошка никогда не полезет на веревке под воду!)

Врубили в лед крепкую вагу, к ней подцепили лебедку и подвели доски под снегоход. Их давило течением, и одному надо было держать. Взяли снегоход крючком за бампер и потащили. Несмотря на мою нелюбовь к таким упражнениям — удивительно ладно у них получалось и красиво. Вытащили и снегоход, и сани с грузом, обильно отекающим и тут же берущимся корочкой... В багажнике снегохода оказалась фляжка, и мужиков это страшно насмешило. Открыли капот, что-то выкручивали, потом перевернули снегоход вверх ногами и лилась вода. Развязали груз, поставили снегоход в сани. Поехали. В избушке сняли мотор и еще какую-то коробку. К обеду следующего дня утопший снегоход уже работал, сияя фарой и увешивая сенки синими нитями выхлопа.

Вечером Старшой с Курумканом гуляли. То сидели в избушке, громко базляня, то вываливали, продолжая разговор, моментально менявший направление, как только перед их глазами оказывался снегоход, собака, лыжи или чье-то ружье. Один моментально спрашивал: «Ну как тебе твой снегоход (собака, лыжи, ружье)?» — и начинал рассказывать, какой отличный снегоход (собака, лыжи, ружье) у него самого, причем с полным осмотром, показом и приглашением испытать. До испытания нас, конечно, не доходило, но в один из выходов нас зачем-то отпустили. Хотя до этого категорически посадили на привязки, на что была потрачена уйма времени и слов, куда кого садить.

Насидевшись, мы для начала сорвались и пробегались, а по возврате началось то, чего опасались Старшой с Курумканом. Нам с Пулькой делить было нечего, и, наоборот, нашлась масса общих тем, а вот Таган с Сободем устроили стратегический кризис. Рыча небывало грозно и вздыбив

* Майна — прорубь.



загривки, они минут десять деревянно ходили друг перед другом. С дрожью и замедленной протяжкой в движениях. Никому не хотелось быть покусанным, но Соболю обязан был показать, кто хозяин, а Таган — кто воин. В общем, обошлось. Но за кое-кого было стыдно. Старшой при Курумкане разговаривал с нами показательно грубо, в духе «а ну, нельзя смотре-е-еть, кому сказал — нельзя-а-а!», а выходя в одиночку, слюняво к нам льстил.

Таган отворачивался, а когда Старшой с Курумканом удалились в избушку с чировой* строганиной на дощечке, Таган фыркнул, а Соболю сказал:

— Да расслабься. У моего такая же ерунда. Чуть попадет за кадык — и пошло. То мил, то дебил. Терпеть не могу... Еще запашина этот. Бр-р-р-р...

Утром разъехались. Старшой, мрачней, прогнал через две избушки ходом. У базы скатились на реку вслед за Старшим и, погнавшись за норкой, так и бежали тем берегом, пока не оказались напротив избушки, отрезанные полыньей. Заостряю на этом внимание, чтобы подчеркнуть противоречивость нашего нрава: в самый трагический миг беспокойства за Рыжика мы развлекались с норкой, а потом прозевали полынью. Усевшись на льду и слыша, как Старшой затопляет печку, возится с санями и гремит нашими тазами, мы взорали жалобно и честно, доказывая, что есть вещи, которые даже самые знающие собаки, вроде Тагана, не понимают. Это касается вообще пространственной геометрии: куда огибать, где что зацепится, куда отыграет, заломит и прочее.

Старшой вышел, поговорил с нами, долго махал руками, показывая, куда обегать, а мы виляли хвостами и не могли понять, зачем нас гонят обратно на Курумкан, раз мы домой хотим. Собаку невозможно прогнать или заставить что-то обойти, что от нее на расстоянии, хотя накоротке мы понимаем всё. Много противоречий в собачьем мире. Но главное — не противоречья искать, а Собачье любить.

Старшой это знал и поехал за нами, терпеливо выгоняя полверсты полыньи туда-обратно. Когда приближался, мы только виляли хвостами, а когда подъехал и развернулся, весело вскочили и побежали.

Не считая свежих старшовских разворотов, у базы все было мертво и присыпано тонкой синей пудрой, только клесты набегали возле чайной заварки. Особенно безжизненно выглядел кутух Рыжика с ошейником на гвоздике и цепочкой.

Когда прогрелась избушка, Старшой вдруг сел на снегоход и рванул по путику. Мы с Таганом переглянулись. Мороз, будь здоров какое состояние, отпаханное без передыха, и еще полынья эта — команды нет и можно остаться. Потом я не выдержал, больно тревожно было на душе, и побежал следом. А перед тем как побежать, оглянулся: тяжелым взглядом смотрел на меня Таган.

* Чир — изумительная белая рыба из сиговых.

Уже подходил к концу тупиковый путик, тот самый, который, по мнению Рыжика, плохо «кормил», как вдруг раздался выстрел и краткий взвизг. Меня на мгновение замутило, и подкосились лапы. Потом навстречу пронесся, ослепив фарой, Старшой. «Айда, Серый, айда!» — крикнул он громким и голым голосом. Я побежал за ним, не ощущая ни мороза, ни выхлопа и чувствуя, как нелепо трясется моя нижняя челюсть да и все собачье лицо...

— Завтра гляну, чо там было, — сказал Таган мрачно. — Да понятно, капец лапе. В конце, говоришь, дороги?

— Ну.

— Там сначала россыпья, ну камни под снегом, шапки такие прямо, и голый склон справа, а потом гарь подходит. Еще копанина медвежья, но ее засыпало.

— Да-да. Там.

— Там на земле один капкан единственный. Остальные жердущки. Знаю я этот капкан. Трет-тый номер. Полотняный.

— Ё-о-о-о! — вырвалось у меня.

Капкан был без тарелки, с натянутой на рамку тканью, нитка связывала тряпку с насторожкой. Рыжик такие не знал.

— Но. На росомаху. Это все. Считай, по локоть. И сколько еще отморожено... Считай, четвертый день.

— Да почему его нельзя было... оставить-то? Ну и бегал бы на трех лапах!

Видно было, что Таган не хотел разговаривать. Он и смотрел вбок. И несколько раз делал движение повернуть ко мне голову и открыть рот, но останавливался. Потом все-таки сказал раздраженно:

— Да так не делается потому что! — И передернул шкурой, а потом повернулся и посмотрел в глаза. — Потому что воровитость никогда до добра не доводит. Потому что, если пошел по капканам — затравился, вкус почуял, — все, не остановишь. Бесполезно. Добро б еще работник был. А то тоже... Пятку сколько раз гонял. Облаивался. Я уж молчу, как говорится... А потом — сейчас промысел, самый разгар, куда его? Это просто обуза, понимаешь? Да и кормить троих... Раньше думать надо было. У нас вон Серый был, давно совсем... — И он заговорил медленней и как-то нащупав почву: — Тебя в честь его назвали. Дак Старшой его до последнего дня с ложки кормил. Когда у него лапы отнялись. До самого последнего дня... От так от. — Таган помолчал. — А как у... как убивался потом... — Таган отвернулся и хрипло фыркнул-храпнул, а потом добавил неестественно громко: — Так что гордись.

(Окончание следует.)

Инна ДОМРАЧЕВА

«КОПИЛАСЬ В ВОЗДУХЕ ВОДА...»

* * *

А если б мне, трехлетней, не читали,
Как Катерина всматривалась в камень,
Вылавливая в сумраке детали,
И шлифмашинку трогала руками,

Как выходила с топором к подонкам,
Из карбоната меди вынимала
Тревожных птиц с отчаянием звонким,
Дрожащим в горле хмурого Урала,

Как слышала Данилин крик и чаши
Развоплощенье с судорожным хрустом, —
Дышала б ровно ко всему и даже
К камням, и к людям, и к иным искусствам.

* * *

Уют чужой известной переменной,
Пустой избы, протопленной дотла,
Внутри летящей в стороны Вселенной
Еще вполне достаточно тепла.

И голос сел, и вызов неотвечен,
И все аккумуляторы мертвы,
Когда тепло прижалось к стенкам печи,
Хотя уже почти не держат швы.

Когда ты птиц, в лицо не узнавая,
Имеешь власть свергать в нетопыри,
И распирает бездна ледяная
Веселую гранату изнутри, —

Иной звезды спасение не празднуй,
Не дуй на небо, просто думай впредь,
Во мне горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

* * *

Копилась в воздухе вода,
Почти заканчивалось лето,
И ты спросил меня тогда,
О чем написано все это?

О тучах, сцепками по две
Бредущих в небе без конвоя,
О том, как тяжело голове
И очень жалко все живое.

О том, что слово «размозжить»
Полномасштабно и трехсложно,
О том, что надо как-то жить,
Хотя, конечно, невозможно.

О пьяной сладости пыльцы
Над рабицей чертополоха,
О том, что люди молодцы
И даже держатся неплохо.

* * *

Задевая сумерки плечами,
По заросшим звездами ночам
Человек в лесу своей печали
Бегал и немножко одичал.

Загнанно бросаясь, распростерто
Колотясь на выжженной судьбе,
Человек давно воротит морду
От подобных прежнему себе.

Но пока зарю не прокричали
И контроль над чувствами ослаб,
Лунными латунными ночами
Он встает на пару задних лап.



* * *

Закрой окно, убавь собаку,
Свари черешневый компот,
Считая выспаться за благо,
Собака спряталась в комод.

Запень косяк, сквозит из трещин,
Продень в ушко снежинки нить —
Такие все простые вещи,
Что даже трудно объяснить.

Давай делить их по Линнею,
На камни, травки и зверей.
А день становится длиннее,
И мир становится добрей.

* * *

Разлито в воздухе такое,
Что чувство времени — на ключ,
Когда созвездие покоя
Выпрастывается из туч.

Квартала мрачная децима
Скрипит шлагбаумом строки,
Она почти переводима
На все иные языки.

Здесь осязаются ветра, но
Цвета и контуры не те,
Гуаши с акварелью странно
И тесно на одном листе.

Рассвет истрачен и не встречен,
И так наполнился людьми,
Что страшно выходить из речи
В его тяжелый вещный мир.

Серафима САПРЫКИНА

НЕСТРАШНЫЙ ПОКА ЕЩЕ СУД

* * *

в провиденьи нечаянном
мне чудится в бреду
тоска моя кончается
сейчас я упаду

не удержали нянечки
мой ангел-борщевик
над головой качается
несносен и велик

и радость ядовитая
пришла взамен всему
я ей больна, избита ей
отныне посему

от века и до вечности
от стоп и до виска
от бдений человеческих
храни меня, тоска

гляди глазами мутными
как я иду вразвес
и ад уставлен утварью
из всех моих словес

* * *

Ныне празднуем новоселье
Скачем, прыгаем, в ямку бух
Подосиновик, подосенник
Русский дух, говоришь,
Русский дух
Вот и мы с тобой обживаем
Тьму, покрывшую то да се
Нас рождает земля дрожжевая
Крестит паводок, лес несет
Видит Бог, мы во всем виноваты
Видит Бог, мы сочтемся виной
Новоселье, сырые хаты
Вечный дом долгожданный мой

* * *

сочленения и жилы
вьются по спирали
расскажи мне как мы жили
как не умирали
вопреки законам места
ртуть со знаком минус
царь-царевич, тили-тесто
косинус на синус
слово, выйди на порожек
запечатай уши
что мне делать, святы́й боже
что еще разрушить
пребывай со мною, равви
образком настенным
в оголтелой этой яви
в смерти постепенной

* * *

Внутри меня крошечный ров
Напитанный печалью
Вот так изъятое ребро
Кровило поначалу

Еще до яблони, змеи
 У древа стерегущей
 Валяясь на клочке земли
 Ненужной погрешкой

Та память зла и велика
 Уснем, как должно, рядом
 И повторяем по слогам
 Пожалуйста, не надо

* * *

Ставил блюдечко для смерти
 Руки складывал крестом
 Не жилец на этом свете
 Не мертвец на свете том

Из распахнутой могилы
 Смотрит небо голубо
 Люди падают нагими
 В бесконечную любовь

Пей вино на панихиде
 Палача озолоти
 Аз есмь Дверь, кто Мною выйдет
 Тем и Я смогу войти.

* * *

Долгий список разборчивым почерком
 Всех спасут, никого не спасут
 Вызывают по имени-отчеству
 На нестрашный пока еще суд

По глазам беспризорным, как лезвие
 Вещества обжигающий луч
 Мы идем по порядку, болезные
 Говорим про велик и могуч

А внутри, среди тайного месива
 В капиллярном легчайшем аду
 Происходит иная поэзия
 И иные законы в ходу

Что вместить в ограниченный датами
Тонкий прочерк, условный пролог
И висит как топор, неподатливый
Навсегда выпадающий слог

* * *

Это памятник пластом
Всяк лелеет гроб свой
Перекрестное родство
Не родство — юродство
Эк куда нас занесло
Ни кликуш, ни причта
Негде покрошить весной
Скорлупы яичной
Всяк земельный нелюдим
Не имеет срама
Только мы глядим, глядим
Из гранитных рамок

* * *

Каждая отметина
Что твоя обнова
Эх, петелька-петелька
Эй, христовы вдовы
Говорю вам истинно
Воскресай кто хочет
Перья ясна финиста
Подарил нам отчим

Хлеб надсущенный, буквицу
Скользкую основу
Сокол оземь стукнется
Превратится в слово
Злобное, заразное
Цап-царап по маковке
Было бы что праздновать
Будет что оплакивать

Ирина КУРТМАЗОВА

«ВОТ ПОКИДАЮТ ГОРОД ПТИЦЫ...»

* * *

когда весна вскрывает лужи
когда кровоточит десна
когда тебе был кто-то нужен
а ты ему не нужен на

когда не жаль бездомных кошек
и не мечтаются мечты
когда ты вроде бы хороший
но больше — не хороший ты

когда ты свыкся с нелюбовью
и типа весь такой крутой
приходит бог сидит с тобою
и гладит теплою рукой

* * *

вот покидают город птицы
и жалко птиц
мы перешли с тобой границы
не тех границ
и тело спелое изнылось
столбом не стой
и с нами что-то приключилось
за гранью той



заплаканные ждут аллеи
морозных ласк
и мы с тобою не жалели
пропащих нас
и не жалели мы с тобою
иссохших губ
но только все это любовью
не назовут

так ломит душу на погоду
куда бы деть
мы пили водку а не воду
чтоб молодеть
мы ждали случая не чуда
и чуда нет
ты уходи пока я буду
смеяться вслед

а за окном сентябрь черен
хотя не суть
мы здесь прощаемся ну че мы
еще побудь
побудь пока я не устану
тебя любить
всю водку выпили стаканы
не стали бить

пусть покидают город птицы
не жалко птиц
мы перешли с тобой границы
не тех границ
мы не учли с тобой законы
ах и увы
зато мы живы — ну зато мы
не так мертвы

и на повторе Песня Песней
в ушах звенит
так канонически не вместе
Адам — Лилит
но знай что раз это не сказка
конца ей нет
а посему прощай и здравствуй
на много лет

* * *

мне давно не двадцать я верю смерти
я считаю дни на своем лице
время ловит нас в золотые сети
золотые горы — в конце в конце

твое сердце верит в любовь до гроба
и я знаю будет — одно из двух
а пока сугробы вокруг сугробы
и зима еще переводит дух

* * *

уснули сны у изголовья
зимовья перебитых псов
где бредит вечною любовью
любовь не видящая снов
основ непрочная основа
порочная игра всесил
спи и не вымолви ни слова
ни стога не произнеси

поземка по земле змеится
и ночь кривит беззвездный рот
а нам никак не распроститься
у разминувшихся дорог
и мировой волчок не дремлет
вот-вот укусит за бочок
здесь нечто подревнее древней
любви с любовью сводит счет

а надо всем этим — Всеспящий
превыше неземной зимы
сны видит о ненастоящем
далеком мире где есть мы
там снящаяся человеку
земля лежит в перине войн
и из-под век стекают реки
и вздрагивают его веки
и мир дрожит над головой

Владимир АЛЕКСЕЕВ

СЛОВО О КНИГАХ, НАРИЦАЕМЫХ «РЕДКИЕ», И О СУДЬБЕ ИХ В СТОЛЬНОМ ГРАДЕ НОВОСИБИРСКЕ

*К 50-летию Отдела редких книг и рукописей
ГПНТБ СО РАН*

*Книги — корабли мысли, стран-
ствующие по волнам времени и бе-
режно несущие свой драгоценный
груз от поколения к поколению.*

Френсис Бэкон

*Без книги в мире ночь
И ум людской убог,
Без книги, как стада,
Бессмысленны народы.
В ней добродетель, долг,
В ней мощь и соль природы,
В ней будущность твоя
И верных благ залог.*

Виктор Гюго

1 июля 2017 г. исполнилось 50 лет Отделу редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН. В июле следующего, 2018 г. — столетний юбилей самой библиотеки. Любая круглая дата общественного значения, особенно если ты сам оказываешься очевидцем, свидетелем и участником многих событий, с ней связанных, — прекрасная возможность окинуть мысленным взором прошедшее и попытаться осмыслить свершенное, поразмышлять о результатах движения в близкой тебе сфере жизни, сделать какие-то выводы на будущее. Иными словами, юбилей — это повод для того, чтобы в действительности сделать кажущийся академическим предмет — историю, наше прошлое — практическим, востребованным современностью инструментом изменения в настоящем нашего общего будущего.

Когда летом 1967 г. я начал работать в крупнейшей в Азии библиотеке — ГПНТБ СО РАН, она менее года еще обживала новое здание, Новосибир-

ской области было 30, а Новосибирску в следующем году исполнялось только 75 лет — для города это время цветущей юности, молодости, энергичного воплощения в жизнь самых дерзких мечтаний и планов, время поражающих воображение свершений, творящихся у тебя на глазах: вырастают ОбьГЭС, Академгородок, бурно расширяются левобережные районы... На унылом пустыре возле Октябрьского рынка, неподалеку от керосиновой лавки, чуть дальше оврага, застроенного деревянными хибарами вдоль речки Каменки, еще текущей по своему естественному руслу, одиноко высилось только что возведенное внушительнейшее сооружение — академическая библиотека. Осведомленные энтузиасты горячо убеждали скептиков, что вскоре — не успеешь оглянуться! — здесь будет новый, деловой и оживленный, центр Новосибирска. А пока — пять высоченных этажей видны всем издали, о четырех подземных этажах, на которых разместилось книжное хранилище, знают меньше. Академические начальники тех лет любили говорить с гордостью: «Это только начало, это только первая очередь библиотеки!» — ведь полный ее проект предусматривал четыре таких корпуса, образующих просторный внутренний дворик, где найдут свое место и типография, и мастерская, и столовая для читателей и сотрудников... Город Солнца, Света и Разума, не иначе!

Хотя эти светлые мечты не осуществились (и, наверное, не осуществятся в ближайшем будущем), за эти полвека Новосибирск сумел стать библиотечным форпостом не только русской провинции, но и всей России, местом, вызывающим живой профессиональный интерес у всех коллег. Из Новосибирска уехал в Москву руководить крупнейшей библиотекой страны (тогда она именовалась Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина) директор ГПНТБ Николай Семенович Карташов; город постоянно принимал и принимает участников самых разнообразных по тематике научных конференций, был даже «библиотечной столицей России», когда здесь состоялся многолюдный съезд представителей Российской библиотечной ассоциации; посмотреть новосибирскую академическую библиотеку стремился, меня напряженные планы своей поездки по стране и игнорируя праздничные октябрьские дни, знаменитый ученый, автор впечатлившей весь мир книги о русской культуре «Икона и топор» Джеймс Биллингтон, директор Библиотеки Конгресса США. А британские библиотекари, проводившие здесь вместо запланированной недели две (по причине нарождающегося в Украине сепаратизма), уезжали из Новосибирска сокрушаясь о быстротечности времени, ведь столько еще нового, интересного и полезного хотели в Сибири посмотреть...

Собрание книг — библиотека — в нашем сознании может предстать в образе вечнозеленого, напоенного живительными соками дерева, корнями своими уходящего в глубь времен, а кроной устремленного к небу, в будущее. Такой образ уместен, потому что именно в книге наиболее наглядно, доступно и общепонятно запечатлевается и выражается духовная жизнь человечества в различные эпохи его истории, неразрывная связь настоящего с прошлым и будущим. И именно к этому неиссякаемому духовному источнику припадает человек, направляющий стопы свои на неизведанный путь к какой-либо новой высокой цели.

Очень точно и глубоко определил назначение и суть произнесенного человеком слова, слова, запечатленного им на письме, книг — собрания слов и библиотек — собрания книг Герман Гессе: «Без слова, без письменности и без книг нет истории, нет понятия человечества».

Над входом в каждую библиотеку можно было бы поместить вывеску примерно такого содержания: «Здесь в ваше распоряжение поступают священные сосуды знания». И это действительно так, ведь книги — независимо от формы их воплощения: таблички из глины, свитки из папируса, кодексы из пергамента, бомбицины или бумаги, книги, сошедшие с печатного станка, и даже книги, существующие в цифровой форме, — это священные сосуды, которые многие века и тысячелетия являют нам одну из основных форм хранения человеческого опыта и знания.

Перед входом в крупнейшую в Азии, самую большую в русской провинции библиотеку, расположенную в Новосибирске, неподалеку от станции метро «Октябрьская», на площади пересечения улиц Восход и Кирова, надпись на вывеске гораздо проще и обыденнее; там значится: «Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук». В ней сегодня насчитывается более 15 миллионов томов книг.

1.

Библиотека — совершенно особое явление в людском бытии. Много хороших слов сказано о ней — еще бы, ведь практически большинство значительных свершений в истории и достижений человеческой культуры и науки еще с античных времен стали нам, мимолетным обитателям земного мира, известны и доступны для использования лишь благодаря книге, благодаря собранию книг в библиотеке. Нужно полностью согласиться с теми, кто видел в библиотеке «залог человеческого прогресса», «сокровищницу знаний»...

Но библиотека — это не только собрание отдельных свитков или стоп бумаги, покрытых знаками письменности, скрепленных (или не скрепленных) в книжный блок и в определенном порядке расставленных на полках. Библиотека представляется мне не только как некое здание — старинное или современное; в первую очередь она — это сонм, собрание человеческих душ. Ведь каждая книга — это душа человека, от него отделенная и волей человека же превращенная в книжный текст; каждая книга заключает в себе живую душу своего автора. Любая книга, будь то художественная, научная или техническая, — запечатлевает духовную суть автора. И эта самая человеческая душа, облеченная в книжную форму, «перелитая» в книгу, при ее раскрытии вступает в диалог с читателем. И тогда оказывается не важно время и место создания книги — важным становится тот разговор автора со своим читателем, который ведется через пространство и время. Не важно, что самого автора может уже и не быть на белом свете — его дух, запечатленный в книге, продолжает существовать независимо от телесной оболочки, начиная разговор-диалог с другой человеческой душой — душой читателя.

Слово, проистекающее из души человека, запечатлевшее ее и закрепленное в книге, не исчезает; душа автора и после его физической смерти продолжает жить в общении с людьми. В этой связи самым естественным образом возникают в памяти пушкинские слова, исполненные глубинного, касающегося каждого человека смысла: «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит...» Кажется, что всегда столь вожделенная и соблазнительная для человечества идея личного бессмертия лучше и нагляднее всего реализуется именно в книге.

Наверное, именно в силу понимания такого свойства книги она бережно сохраняется людьми и оказывается несравнимо долговечнее человека. Жи-

вая душа человека, перешедшая в книгу, продолжает свое существование в веках.

Процесс превращения книги в человеческую душу есть величайшее таинство, но важнейший этап такого таинства свершается в тот момент, когда открывает книгу читатель, который своим духом воскрешает к жизни дух автора, в нее заключенный. Тогда библиотека может быть воспринята как материализованное во всеобъемлющей Книге сопротивление человечества безжалостному и неумолимому Времени...

Чудо этого великого таинства особенно остро ощущаемо, когда находишься в здании, где пятнадцать миллионов книг (!), где каждодневно сотни читателей могут вызвать к жизни тысячи человеческих душ, тысячи личностей, запечатлевших себя в книжной форме. Может быть, величие этого каждодневного таинства — причина того, что многие люди до сих пор напрямую или косвенно связывают жизнь свою с библиотекой...

2.

Судьбы библиотек причудливы, как и судьбы людей. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук сегодня крупнейшее книгохранилище провинциальной России, числом книг, общественным значением и профессиональным своим авторитетом сопоставимое с известнейшими библиотеками мира — Российской национальной (бывшей Публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, а еще раньше — Императорской) в Санкт-Петербурге, Российской государственной (бывшей Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина) в Москве, Библиотекой Конгресса США в Вашингтоне, Британской библиотекой в Лондоне.

Сибирская академическая библиотека начала свою биографию в Москве, в тревожный и уже почти на столетие отдаленный от нас 1918 г., как библиотека главного хозяйственного органа страны — Высшего совета народного хозяйства. Декрет об основании библиотеки был подписан железной рукой председателя ВСНХ Феликса Дзержинского 17 июля — в тот самый день, ранним утром которого в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева была расстреляна царская семья...

Организаторами и первыми директорами библиотеки были Л. А. Шлосберг, А. И. Яковлев, Д. И. Ульянов.

Конечно же, имея чисто практические задачи, связанные с принятием оперативных решений и мер по обеспечению хозяйственной жизни Советской республики, библиотека формировала свои фонды в первую очередь как технические. Библиотека в те годы возглавлялась и посещалась видными и влиятельными людьми и не испытывала особых проблем с комплектованием фондов нужными изданиями — ведь ее немногие читатели стояли у руля молодого Советского государства, и не случайно какое-то время директором ее был младший брат «вождя мировой революции» Дмитрий Ильич Ульянов.

С 1927 г. будущая ГПНТБ становится центральной библиотекой советской промышленности.

С течением времени структуры управления государством менялись, библиотека, как шапка Мономаха в Смутное время, «летала» по разным ведомствам, пока в послевоенные уже годы не оказалась головной библиотекой Министер-

ства высшего и среднего специального образования. Автографы и пометы В. В. Куйбышева, Серго Орджоникидзе и других видных деятелей советской эпохи на целом ряде экземпляров книг — живое свидетельство времени и неспокойной судьбы книжного хранилища.

Во второй половине 50-х гг. прошлого века в правительстве встал вопрос о создании в Новосибирске крупного научного центра, который должен был стать основой целой сети научных институтов и исследовательских учреждений на огромных пространствах востока России. Тогда было принято абсолютно верное и профессионально грамотное решение, глубоко соответствовавшее поставленным высоким целям: началом большой науки в Сибири решили положить создание в Новосибирске серьезной библиотеки, могущей стать информационным фундаментом всех будущих научных разработок. И не очень-то нужную для столицы библиотеку, размещавшуюся тогда в здании неподалеку от нынешней станции метро «Китай-город», было решено передать в Сибирь как своеобразный «закладной камень» в фундамент сибирской науки. Кроме того, что московская библиотека должна была совершить небывалое в истории далекое путешествие в Сибирь, ей с 1958 года постановлением советского правительства был дан обязательный бесплатный экземпляр всех книг, выпускавшихся в стране. Обязательный экземпляр, пятый по счету в огромной державе, получаемый более полувека, был надежной гарантией превращения ГПНТБ СО РАН из профильной библиотеки — в библиотеку универсальную...

3.

С конца 50-х гг. начался «великий библиотечный переезд». Действительно, перемещение столь многочисленного книжного фонда на такое огромное расстояние — 3 миллиона книг (именно таков был тогдашний фонд) нужно было перевезти на 3 тысячи километров — беспрецедентное в мировой библиотечной практике предприятие! Все усложнялось тем, что здание библиотеки при начале переезда еще и не начинало строиться, даже место не было определено! Единственный читальный зал находился в одном из помещений Академии наук в центре Новосибирска, на углу улиц Советской и Ленина, там, где многие годы работали Сибирское отделение издательства «Наука» и Институт почвоведения и агрохимии СО РАН. А книжные фонды, прибывающие из Москвы в Новосибирск, размещались в 14 точках города и только что заложенного Академгородка в самых неожиданных помещениях: это был и гараж автохозяйства академии, и клуб воинов, участвовавших в строительстве Новосибирской ГЭС, и подвалы первых жилых домов Морского проспекта. И тем не менее любая заказанная книга — не важно, где и как она хранилась — из многих сотен тысяч, увязанных в пачки или сложенных в мешки, приходила к читателю через несколько часов. Даже сегодня многие крупные библиотеки в более комфортных условиях все еще только мечтают о такой оперативности в работе с читателями...

Наконец летом 1966 г. нынешнее здание библиотеки, спроектированное новосибирским архитектором Анатолием Воловиком, было сдано в эксплуатацию и книги из всех временных мест хранения были переправлены в прекрасно оборудованное (по тем временам) книгохранилище, располагающееся на четырех подземных этажах. А на пяти наземных этажах открылись многочисленные читальные залы, способные принять сотни читателей, которые сразу же потянулись в здание на Восходе, и библиотека стала жить полнокровной жизнью.

В следующем, 1967 году в библиотеке начал создаваться фонд редких книг и рукописей. У тогдашних сотрудников и руководителей библиотеки, причастных к этому начинанию, и у работавших (хотя здесь исторически достовернее было бы употребить единственное число) непосредственно и постоянно с фондом существовало лишь достаточно общее представление о том, каким должен быть он, этот фонд, в чем должна состоять его специфика, каково его будущее.

Впрочем, при его создании было совершенно ясно, что здесь найдет себе место, во-первых, собрание древнерусских рукописных и старопечатных книг и документов, полученных в дар Сибирским отделением Академии наук от выдающегося ученого-историка М. Н. Тихомирова, и, во-вторых, обнаруженные на территории Сибири древнерусские книги, рукописные и старопечатные. Академик М. Н. Тихомиров, занимавший в Академии наук пост академика-секретаря отделения истории в период становления сибирского научного центра, был серьезно озабочен его некоторой однобокостью — представленные в нем науки все относились к точным и естественным. Полнота научного познания окружающего мира заботила знаменитого ученого, и незадолго до своей кончины он составил завещание, в котором передавал Сибирскому отделению Академии наук свою уникальную, крупнейшую среди частных собраний коллекцию древних книг и исторических документов, которая должна была дать импульс гуманитарным исследованиям в СО АН.

Кроме того, с 1965 г. библиотека стала непременным участником археографических экспедиций СО АН под руководством профессора Новосибирского государственного университета Елены Ивановны Дергачевой-Скоп. Участники сибирских археографических экспедиций — преподаватели и студенты НГУ, сотрудники Института истории и ГПНТБ (позднее к полевой работе эпизодически подключались преподаватели и студенты Новосибирской консерватории, Санкт-Петербургского университета, сотрудники Пушкинского Дома — Института русской литературы) — поставили перед собой задачу собирать, описывать, изучать и включать в научный и культурный обиход памятники древнерусской книжности, рукописные и старопечатные книги, которые привозили из отдаленных уголков Сибири. И археографы, и библиотекари понимали, что книги эти, драгоценные памятники далекого былого, нужно по крайней мере хранить по-особому и по-особому организовывать их читательское использование.

Более или менее четкое представление о будущем фонда, его особенностях и перспективах развития складывалось постепенно, вырисовывалось с годами практической работы с книгой, было результатом изучения и осмысления исторического и практического опыта крупнейших собраний подобного рода. Работу фонда — при всей специфике его деятельности, освоенной нами тогда еще в недостаточной степени, — поддерживали дружеским, исключительно доброжелательным и снисходительным отношением руководители библиотеки: Николай Семенович Карташов, Борис Степанович Елепов, Ирма Петровна Иконникова, Маргарита Ивановна Кирсанова, Василий Антонович Шипилов, Галина Андреевна Новикова, Лия Павловна Павлова, Алиса Николаевна Лебедева, Елена Борисовна Соболева. А со стороны коллег, работавших на других библиотечных участках, мы постоянно ощущали неформальную заинтересованность в нашем деле, которое придавало особый статус библиотеке и, очевидно,





наделяло ее сотрудников совершенно особым видением круга их собственных профессиональных функций и обязанностей. Здесь хотелось бы с глубокой признательностью, искренней благодарностью и сердечной приязнью хотя бы перечислить имена тех коллег-библиотекарей и сотрудников других отделов, от кого проистекало постоянное желание помочь в необычном в «новой» библиотеке деле создания фонда редких книг, сочувственно содействовать ему в стремлении обогатить и разнообразить общее библиотечное бытие. Это Василий Николаевич Кузнецов, Людмила Ивановна Дарьина, Николай Константинович Шунько, Ольга Александровна Бухарина, Алексей Ильич Радугин, Яков Герцелевич Ханинсон, Нина Федоровна Починкова, Виктор Николаевич Киселев, Нина Михайловна Уварова, Таисия Федоровна Васильева, Наталья Ивановна Терентьева, Алексей Ларченко, Антонина Александровна Романова, Зоя Васильевна Бородина, Иван Ильич Паболков, Тальмонд Меерович Пачевский, Наталья Ивановна Подкорытова, Петр Трифионович Рудзинский, Анна Ивановна Логинова, Дмитрий Миронович Цукерблат, Лариса Викторовна Босина, Светлана Анатольевна Живаева, Альберт Петрович Зарубин, Виолетта Константиновна Пурик, Наталья Ивановна Подкорытова, Тамара Александровна Миськова, Лариса Яковлевна Федотова, Ирина Иоганнесовна Мосунова, Иосиф Семенович Штильман, Людмила Федоровна Казаринова, Илья Михайлович Катеринчук, Виктория Павловна Федосеева, Зинаида Сергеевна Ветошкина, Анатолий Гаврилович Малявкин, Игорь Григорьевич Каржаневич, Борис Васильевич Модин, Татьяна Александровна Воробьева, Светлана Алексеевна Максимова, Людмила Вениаминовна Шутемова, Елена Борисовна Артемьева... Низкий земной поклон им всем — здравствующим и уже ушедшим, — мы помним их всех, ведь это их заинтересованность, отзывчивость, равнодушие и высокий профессиональный опыт активно и действенно способствовали сложению того собрания уникальных книжных памятников, которым сегодня гордится академическая библиотека Сибирского отделения РАН.

Как только единственное число сотрудников перестало быть непреложным обстоятельством деятельности того подразделения, которое в дальнейшем получило наименование «Отдел редких книг и рукописей», были предприняты определенные усилия для того, чтобы присущая полевой экспедиционной работе атмосфера взаимного доверия, постоянное ощущение общности, важности и актуальности выполняемого дела, духовного единения и своеобразного профессионального братства работников на основе общей любви к занятию книгами, так подвижнически упорно и последовательно насаждаемые бессменным руководителем археографических экспедиций проф. Е. И. Дергачевой-Скоп, стали повседневной реальностью бытия небольшого отдела внутри огромной библиотеки. Это была та самая атмосфера, которая позволяла на протяжении десятилетий видеть цель своей деятельности не только внутри крупнейшей в русской провинции библиотеки, но и осуществлять многие начинания, которые инициировали бы подобную работу с редкими и старинными книгами во многих книжных хранилищах Сибири и Дальнего Востока. Так, на протяжении многих лет велась работа по созданию «Сводного каталога редких, рукописных и старопечатных книг Сибири и Дальнего Востока», в рамках которого были опубликованы описания книжных «редкостей» крупных и небольших собраний Красноярска, Иркутска, Енисейска, Томска, Кяхты, Владивостока, Барнаула, Бийска, Улан-Удэ, Горно-Алтайска и других хранилищ востока России; регулярно изда-

вались многочисленные тематические сборники научных трудов «Русская книга в дореволюционной Сибири», «Книга и литература», «Древнерусское духовное наследие в Сибири», суммарный объем которых составил несколько сотен печатных листов...

Сам же фонд редких книг и рукописей, наращиваемый к Тихомировскому собранию и к территориальным коллекциям, составляемым по результатам археографических экспедиций по Сибири и Дальнему Востоку, начинался с са-краментальных вопросов, которые ставили перед собой все, кто имел отношение к его созданию. Главным из них был вопрос: что же должно быть в таком фонде, какие книги в середине XX в. нужно собирать как особые, редкие? С древнерусскими рукописными и старопечатными книгами, которые мы разыскивали на необъятных пространствах Сибири, все было ясно. А что же должно быть положено в основу других частей фонда, по старинной традиции называемого «фондом редких книг»?

Конечно же, было очевидно: здесь, в Сибири, не надо пытаться создать что-то подобное знаменитым собраниям «редких книг» столичных библиотек, складывавшимся на протяжении многих десятилетий. Они упорно собирали свои уникальные коллекции, вбирая в себя знаменитые частные коллекции, имели под боком в качестве источника пополнения своих фондов лучшие в стране букинистические и антикварные магазины, практически неограниченные финансовые ресурсы, обменные фонды крупнейших книжных хранилищ, целые когорты знаменитых действующих коллекционеров и просто преданных любителей книги, часто объединенных в различные общественные организации. Было ясно, что даже при самом счастливом стечении обстоятельств и самой успешной работе будет создано нечто вторичное, уже имеющееся в других собраниях...

Ближе всего лежал готовый библиотечный ответ на этот вопрос: в фонде должны быть редкие книги. Замечательно, но что же тогда такое «редкая книга»? Что веками собирали наши предшественники-коллеги — одержимые коллекционеры и библиотекари знаменитых библиотек? Чем отличается «редкая книга» от «ценной книги»? Были ли «редкие книги» только в прошлом или же они есть и сейчас? Если да, то где сегодня эта самая «редкая книга»? (Нужно напомнить, что происходило это в середине 60-х гг. прошлого столетия, поэтому еще не было возможности заглянуть в энциклопедический словарь «Книговедение» и проштудировать статью «Редкая книга».)

Подобные вопросы побуждали к размышлению, но однозначных ответов не находилось. Редкая книга — та книга, которую редко встретишь в продаже? В библиотеке? У коллекционера? Редкая вообще, как говорят, «в природе»? И такая книга становится предметом собирательства только потому, что она сохранилась в малом количестве экземпляров, что она редка?

Словом, расхожее понятие «редкая книга» представлялось нам неглубоким, годным только для самой грубой, приблизительной классификации книжных явлений прошлого и настоящего.

Начали проводить мысленные эксперименты. Если до сих пор, размышляли мы, люди выпускают книги, значит, должны быть и среди современных книг те, которые когда-то будут называться «редкими». Постарались «придумать» такую редкую книгу. Ею в нашем эксперименте готова была стать воображаемая многостраничная книга в синеватом картонном переплете, с типографской надписью «Секретно» на обложке и титульном листе (или с грифом «Из части не выносить»), напечатанная строго ограниченным практической потребностью

тиражом (который тоже строго засекречен), под названием «Инструкция по тушению пожара на подводной лодке». Кажется, все параметры издания — тираж, степень распространенности и доступности, курьезность содержания¹ — соответствуют тому, чтобы такую книгу заведомо считать редкой.

Но оставалось ответить на вопрос, который представлялся нам ключевым: нужна ли и зачем нам (не столько библиотекарям, сколько читателям) такая книга, тем более в крупной публичной библиотеке? Думается, что ей место скорее в библиотечке местной пожарной части, где она хоть как-то может быть использована — хотя бы для сопоставления сухопутного и морского пожарного опыта.

Естественным образом приходили мысли об истинном мериле ценности книги. Действительно, ведь человек разумный (не коллекционер, для которого подчас важнее всего состояние переплета или книжного блока) ищет в книге не свидетельства ее редкости. В первую очередь читатель отыскивает в книге то содержание, которое, как он надеется, обогатит его духовный мир, сделает его, человека, несколько иным, изменит его картину мира, откроет ему свет будущего, укажет ему дальнейшие пути существования, его место в этом мире... Нам казалось, что если бы наиболее важным, наиболее высоко ценимым качеством книги мы поставили бы не ее редкость, а ее способность и энергию изменения людей и через людей — их разумом, руками и духом — изменение того мира, в котором существуют эти люди, то такой подход более соответствовал бы природному назначению книги. Истинную значимость, наибольшую ценность при таком подходе обретают те книги, которые совершили и совершают доселе максимальную духовную работу в обществе. И тогда качество редкости перестает быть основным критерием достоинства книги, тогда начинают вырисовываться те признаки, которые наиболее органично присущи ее природе, ее главной функции среди людей — быть действенным инструментом осмысления и последующего изменения окружающего мира.

Так решено было при формировании фонда оставить в его названии привычное и устоявшееся в библиотечной и читательской среде обозначение «редкая книга». Однако целью собирательства решено было сделать не столько редкие, сколько значимые для духовной жизни людей книги и через них постараться представить духовную жизнь разных эпох. И, конечно же, для достижения такой цели более пригодны были не редко встречающиеся книги, имеющие чрезвычайно узкий круг читателей (чем уже, тем более редка книга), а книги, как можно шире охватившие сообщество людей, книги с максимальным диапазоном «духовного окормления».

Самым естественным образом сформировалось намерение начать собирание коллекций прижизненных и первых изданий классиков русской литературы, отечественной и зарубежной науки. Действительно, Пушкин, Толстой, Достоевский, Тютчев, Тургенев, Некрасов, Лесков, Блок, Ахматова, Пастернак — ведь это авторы тех поистине вечных книг, которые, вопреки современным «реформаторам» науки, образования и культуры, продолжают свою титаническую духовную работу по совершенствованию человека. Здесь очевидно имеется и другой, чисто научный аспект такой коллекции: чаще всего в прижизненном

¹ Когда была придумана нами как модельный образец современная «редкая книга» о тушении пожара на море, нам представлялось парадоксальным, а потому и более наглядным, сопоставление двух вечно враждующих стихий — огня и воды; мы и представить себе не могли, что через несколько десятилетий вся страна с ужасом, скорбью и содроганием душевным узнает, как страшен этот проклятый пожар на подводном крейсере...

издании писательского текста, особенно при отсутствии рукописи, проявляется подлинная и наиболее достоверная «авторская воля» — ведь он, автор, как правило, сам наблюдал за печатанием своего произведения².

А собрание отечественных и зарубежных книг, отражающих причудливое развитие мировой и русской науки, — разве не пристало академической библиотеке Сибири сделать духовным достоянием земляков первые и важнейшие издания трудов Ньютона и Ломоносова, Кюри и Татищева, Герике и Мечникова, Декарта и Гевелия, Линнея и Лаксмана³?

А искусство книги⁴? Может ли собрание, имеющее целью представить жизнь людей разных эпох при помощи их вечного спутника, «священного сосуда духовного» — книги, обойтись без наиболее ярких образцов признанных шедевров книжного искусства⁵? А книги личных коллекций (конечно, в академической библиотеке достойнее видеть книги, служившие собирателям-ученым инструментом духовной работы) М. Тихомирова, В. Адриановой-Перетц, А. Клибанова, Н. Шпагина³, А. Крылова, М. Лесмана³? Ведь это их время, всегда особенное, всегда непростое, но всегда освещенное радостью духовного творчества, запечатлено в книгах их библиотек, перекочевавших в ГПНТБ. И эти книги обозначают путь рождения нового знания... А «россика» и «сибирика», наиболее значительные в разных отношениях книги о нашей Родине, о России, о Сибири, — разве все мы хорошо знаем наше прошлое и извлекаем из него максимум пользы для самых разнообразных целей⁶?

Как-то само собой пришло и рабочее обозначение таких значимых книг — «книжный памятник»⁴. Книжный памятник отражает время и продолжает жить и работать за пределами времени своего возникновения, потому что *содержание* такого книжного памятника оказывается важным и востребованным и в иные эпохи.

5.

Новосибирскими археографическими экспедициями была охвачена огромная территория востока страны от Урала до Тихого океана, от Якутии до границ республик Средней Азии. В ГПНТБ СО АН СССР, основном хранилище экспедиционных археографических находок, было создано тогда семь территориальных коллекций, которые крупномасштабно отражали географию нашей полевой работы. Но территориальный принцип сложения собраний древних книг имел и иной, более глубокий, нежели географический, смысл: мы всегда считали чрезвычайно важным сохранить целостный комплекс книжных памятников, которые бытовали на той или иной сибирской территории. Оказалось, что репертуар древнерусских книжных памятников, бытовавших, например, в Томской области, отличается от такового же на территории Бурятии, а они

² Конечно же, реконструируя по прижизненному изданию классического текста «авторскую волю», мы должны постоянно помнить и о неистребимой цензуре, и о таком явлении, как самоцензура. Но это уже вопросы не столько библиотечные, сколько текстологические.

³ Конструктор легендарного стрелкового оружия Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. — автомата ППШ был страстным коллекционером-книжником. Из его библиотеки в ГПНТБ попала коллекция летучих изданий периода Великой Французской революции, собранная русским человеком и переплетенная в 20 с лишним объемистых томов в конце XVIII или в самом начале XIX в.

⁴ Сотрудники ГПНТБ, с 60-х гг. прошлого века используя этот термин как рабочий для своих целей (необычное положение — «Фонд редких книг, а собирают бог весть что!»), были обрадованы, когда позднее он стал общепризнанным, а Министерство культуры даже разработало ГОСТ и обнародовало целый комплекс документов, фиксирующих само понятие и регламентирующих профессиональную работу с книжными памятниками.

оба имеют существенные отличия от репертуара древнерусских книг, найденных на территории Красноярского края, Дальнего Востока и т. д.

Одним из первых осмыслил не только сиюминутное, но и перспективное значение этого направления деятельности СО АН академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.

В статье 1983 г. «Археографическое открытие Сибири» он писал: «Первая экспедиция за древними рукописными книгами, организованная Сибирским отделением Академии наук СССР и выехавшая из Новосибирска летом 1965 г., привезла 38 рукописных и старопечатных книг. Это был неожиданный и большой успех, так как предварительные данные о наличии древних книг были еще не собраны. Экспедиция отправлялась в неизвестность. Уже в этой первой экспедиции 1965 г. Е. И. Дергачевой-Скоп удалось найти рукописный сборник с сочинениями Иосифа Волоцкого — писателя первой половины XVI в.».

6.

После первой экспедиции новосибирских археографов, в 1966 г., когда интереснейшие находки — целый ряд замечательных старинных книг — дали надежду на будущие успехи в разыскании, спасении и включении в научный и культурный обиход средневековых русских манускриптов и изданий, обретающихся в Сибири, из Москвы в дар Сибирскому отделению АН была привезена уникальная коллекция древнерусских рукописных и старопечатных книг и документов академика Михаила Николаевича Тихомирова. Знаменитый историк, крупнейший специалист по средневековой истории нашего Отечества, Михаил Николаевич сумел собрать первоклассную коллекцию древних книг. Она вобрала в себя замечательное книжное собрание В. Ф. Груздева, известного врача-офтальмолога, начавшего собирать книги еще в дореволюционные времена. Коллекция М. Н. Тихомирова включала в себя около тысячи прекрасных и в научном, и в культурно-просветительском плане древнерусских книг; в то время она считалась крупнейшей частной коллекцией такого рода. В этом драгоценнейшем собрании было несколько пергаменных рукописей, множество роскошно оформленных древних книг, списки замечательных древнерусских литературных и исторических памятников, издания начального периода русского книгопечатания, фонд средневековых документов и грамот. Коллекция М. Н. Тихомирова была передана в Сибирь с целью поддержать начавшуюся археографическую работу и помочь сформировать базу будущих научных исследований, фундамент широкой просветительской работы, направленной на изучение нашего богатого исторического прошлого.

Более полувека новосибирские археографы ежегодно своими экспедиционными находками доказывают верность и этого шага знаменитого ученого, и право Новосибирска, считающего себя культурной столицей Сибири, хранить у себя это драгоценное сокровище, равно как и древнерусские рукописи и старопечатные книги, собранные в Сибири археографами (их число уже превысило количество фолиантов, полученных от академика). Сегодня комплекс Тихомировского собрания и полевых сибирских находок, хранящийся в Отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, — предмет особой гордости библиотекарей и богатейший материал для ученых, со всей страны и из-за рубежа едущих в Новосибирск поработать с уникальными древнерусскими книжными и документальными материалами.

Д. С. Лихачев в той же статье «Археографическое открытие Сибири» отмечал: «Принесенное в дар Новосибирской научной библиотеке собрание древнерусских рукописей академика М. Н. Тихомирова позволило новосибирским ученым не только описывать вновь найденные рукописи, но изучать их на широкой основе сопоставлений с другими. И сборник с сочинениями Иосифа Волоцкого, найденный в экспедиции 1965 г., оказался по почерку очень близким одному из хронографов в собрании М. Н. Тихомирова. Это свидетельствовало о том, что в Сибири находятся рукописи отнюдь не местного происхождения и местного значения».

Задача сибирских археографов — спасти от забвения и гибели, сохранить для людей, для отечественной истории, науки и культуры возможно больший пласт книжной культуры прошлого, своеобразного фундамента русской духовности, — всегда казалась целью трудновыполнимой. Тем не менее за время, истекшее с начала регулярной археографической работы в Сибири, приобретены сотни драгоценных книжных памятников русской средневековой книжности, которые сохраняются в Сибири по сей день в старообрядческой среде, и к тысяче фолиантов Тихомировского собрания присовокуплено почти две тысячи древнерусских рукописных и старопечатных книг, собранных на востоке России. Это и рукописи XV—XVIII вв., и прекрасные экземпляры первопечатных русских книг, и старообрядческие манускрипты, содержащие новые редакции и неизвестные ранее тексты литературных произведений, памятники полемических дискуссий, исторические, музыкальные тексты.

Такова знаменитая рукопись XVI в. с Судным списком Максима Грека, еще в 70-х гг. прошлого столетия обнаруженная, изученная и опубликованная отдельной книгой академиком Н. Н. Покровским, — рукопись, которая заставила историков переосмыслить многие факты и процессы русской средневековой истории.

Замечательна рукопись XV в. с паремийными чтениями князьям Борису и Глебу, первым русским святым, еще в XI в. канонизированным православной церковью; удивительно соразмерен путешествующему человеку рукописный сборник XVI в. с «Просветителем» Иосифа Волоцкого и посланием («Словом увещательным») киевского митрополита Илариона, автора «Слова о Законе и Благодати».

Среди найденных книжных памятников оказались и новые списки многих литературных произведений Древней Руси, в том числе «Сказания о Мамаевом побоище», созданного в XV в., «Повести о царице Динаре», написанной в XVI в., «Повести о Петре и Февронии», повести о черниговском князе Михаиле, жития Александра Невского и многих других замечательных древнерусских произведений.

Из экспедиции привезен, например, список сочинения Дионисия Ареопагита «О небесных иерархиях» XV в. А спустя много лет в другом сибирском регионе был обнаружен и приобретен еще один экземпляр этого сочинения, но переписанный уже на рубеже XVII—XVIII вв. Это, несомненно, свидетельствует не только о любви к чтению сибирских крестьян-старообрядцев, готовых даже переписывать нужную книгу, но говорит и об их интересе к сложным и фундаментальным философско-богословским памятникам, демонстрирует их своеобразную образованность и тонкое книжное чутье.

Удалось нам получить и целую крестьянскую библиотеку, переписанную уже в Сибири тремя поколениями одной семьи — Вяткиных. Исследование по-

казало, что оригиналы переписанных сочинений были весьма древние, рукописи содержат ранние редакции тех сочинений, которые интересовали сибирских таежных книжечеев настолько, что они ради вожденных «древлих» книг совершали путешествие в Москву, проникая даже в рукописный отдел Исторического музея.

7.

В Новосибирск из глухих таежных мест были доставлены и стали общественным достоянием многие издания русских первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца, типографов Андроника Тимофеева Невежи, Иосифа Кириллова, Василия Федорова Бурцова, Анисима Михайлова Радишевского и других.

Сегодня в Новосибирске имеется одна из крупнейших в русской провинции коллекций изданий русского первопечатника Ивана Федорова, она насчитывает полтора десятка экземпляров, в том числе два экземпляра первой русской точно датированной печатной книги — московского «Апостола» 1564 г. печатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

Регулярность находок русских первопечатных книг на территории Сибири (не один десяток редчайших отечественных инкунабул, изданий XVI в., «колыбельного» периода отечественного книгопечатания, был обнаружен здесь археографами!) породила теорию, устанавливающую прямую связь между заведением книгопечатания на Руси XVI в. и процессом присоединения и освоения русскими восточных территорий, в том числе Сибири. Эти два события — заведение книгопечатания и начало продвижения русских в Сибирь — кажутся внешне не связанными друг с другом, но при ближайшем рассмотрении они обнаруживают между собой прямую зависимость, и оказывается, что присоединение к Руси новых восточных территорий инициировало поиски новых технологий изготовления книг.

8.

Широко известна латинская фраза, ставшая крылатой: «Habent sua fata libelli» — «Книги имеют свою судьбу». Не только люди, но и неразрывно связанные с ними книги, эти «вечные спутники» духовного существования человека, имеют свою уникальную судьбу.

Как сегодня восстановить судьбу древней книги? Обладая фантазией и воображением, можно представить себе легендарный московский «Апостол» Ивана Федорова и Петра Мстиславца 1564 г., пролежавший всю жизнь (более 450 лет) в каком-то потаенном месте, не бывавший в руках людей, выглядящий абсолютно новым, поскольку с момента выхода его из типографии никогда не использовался по своему прямому назначению. Несчастный экземпляр! Ведь типичная для книги жизнь — это жизнь в людских руках; книга может существовать, работать и функционировать только в паре с человеком! До тех пор, пока она не попадет в руки человека, это бездушная стопа бумаги, покрытой какими-то знаками. Но в руках человека книга, как только она оказывается открыта и читаема, начинает свою взаимную «работу» с человеком. Следы же общения человека с книгой и составляют биографию книги.

Мы особо выделяем наш экземпляр московского «Апостола» 1564 г., привезенный из сибирской тайги, из района Обь-Енисейского канала. В нем

столько владельческих записей, что они позволяют проследить биографию этого экземпляра буквально с момента выхода книги из типографии. Вот она в руках Андрея Федоровича Рылова, скончавшегося через восемь лет после выхода книги, ближнего боярина великого князя Московского, ставшего самодержцем, Ивана Грозного. Следовательно, запись (полистная скрепа), в которой говорится, что книга вкладывается им в церковь святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Москве, не имея даты, может быть датирована: составлена она не раньше 1564 г. и не позже 1572 — года смерти боярина.

На других листах обнаруживается запись эпохи Смутного времени — четыреста лет назад, в 1609 г. книга оказывается в монастырской обители Спаса Преображения. Вклад делается человеком с довольно звучной фамилией — Владимиром Игнатьевичем Татищевым (известный многим историк и государственный деятель начала XVIII в. Василий Никитич Татищев, «птенец гнезда Петрова», как называл его Пушкин, приходится ему внучатым племянником)⁵. А Владимир Игнатьевич Татищев был воеводой в Белгороде — маленьком городке, который, по сути, являлся крепостью; при нашествии поляков на Москву Белгород пал одним из первых.

Владимир Игнатьевич, вероятно, спасаясь бегством от польского войска, появляется в своих удельных вотчинах в ярославских пределах. Значит, тот монастырь, куда он вкладывает книгу, видимо в знак своего избавления от опасностей, может быть ярославским Спасо-Преображенским монастырем. А упоминание в записи игумена Иоасафа, который принимает книгу от Татищева, подтверждает гипотезу о том, что это именно ярославский Спасо-Преображенский монастырь, тот самый монастырь, где в конце XVIII в. Алексей Иванович Мусин-Пушкин, обер-прокурор Святейшего Синода, обнаруживает и откуда вывозит рукопись «Слова о полку Игореве». Действительно, «книги имеют судьбу» — сибирский экземпляр московского «Апостола» был в одной библиотеке со «Словом о полку Игореве», стоял, может быть, на одной полке рядом со знаменитой, погибшей впоследствии, рукописью великого произведения русской средневековой литературы.

А потом, в середине XVII в., какими-то неизвестными нам сегодня путями книга попадает в руки княгини Авдотьи Федоровны Ромодановской — владельческая запись выполнена изящной скорописью того времени, свидетельствующей о прекрасном образовании пишущего.

Одна запись на сибирском экземпляре первопечатной книги совершенно необычна. Она сообщает о том, что дьячок церкви Рождества Христова в Поварской части (это в Москве) Иван Иванов продает церковную книгу «Апостол» «зачисто», то есть полностью получает за нее деньги. Факт появления такой записи-расписки сам по себе труднообъясним. Конечно же, были случаи, когда человек брал церковную книгу (и грех на душу) и продавал ее — соображения могли быть самые различные. Но он никогда и никому не сообщал и уж тем более никогда не оставлял об этом «разоблачающей» записи на книге! А тут он, не боясь ни Бога, ни людского суда, сообщает о своем поступке, выглядящем

⁵ Потомок Владимира Игнатьевича, Василий Никитич Татищев, непременно должен быть упомянут нами добрым словом. В 1720—1730-х гг., когда Василий Никитич был начальником Урало-Сибирских горных заводов, он приложил массу сил не только для устройства новых горнодобывающих и металлургических предприятий на востоке России, но активно способствовал распространению здесь просвещения, открывая при заводах и рудниках школы и училища. По его инициативе на алтайских Колывано-Воскресенских заводах была организована первая в Сибири научно-техническая библиотека, наиболее значительные фрагменты которой сегодня хранятся в Новосибирске в Областной библиотеке и в ГПНТБ СО РАН.

и неблагоприятным, и греховным. Надо было обнаружить мотивы появления этой необычной записи.

Объяснение находится в одном из томов «Полного собрания законов Российской империи». Оказывается, запись дьячком Иваном Ивановым составлена в тот самый год, когда вышел указ Святейшего Синода об изъятии из обращения всех книг, напечатанных до начала никоновской реформы. А в основе этой реформы лежала именно «книжная справа», исправление текстов по «новым», переведенным с греческого языка, книгам. Печатный станок продуктивно работал длительное время, и к моменту продажи первопечатного «Апостола» злополучным дьячком все российские церкви были снабжены уже новыми книгами. Потому-то дьячок, не боясь ни Божьего, ни людского суда, оставляет кажущуюся курьезной запись — он просто выполняет официальное распоряжение начальства.

Куда же попадает такая старинная книга, если она исключается из обихода официальной церкви? Конечно же, она переходит к старообрядцам, для которых только «древляя» книга и пригодна для «духовного окормления». И об этом может поведать нам целый ряд записей и владельческих помет на сибирском экземпляре русской первопечатной книги, в том числе запись, свидетельствующая о коллективном владении этой книгой на рубеже XVIII и XIX вв. целой сельской общины. А в помете начала XX в. ощущается искреннее восхищение читателя древностью книги: «Сия книга напечатана в 1564 году от Рождества Христова. В 1906 г. ей 342 года. До патриархов в России задолго»...

9.

В собрании ГПНТБ в числе многих других хранится рукописная книга, датируемая второй половиной XVI в. В начале 40-х гг. века XVII она оказалась, как свидетельствует фрагментарно сохранившаяся скорописная полустертая запись, «в Якуцком остроге, на велицей реке Лене». В записи нельзя разобрать ни одного имени — только дата и указание места купли-продажи книги⁶. Нынешняя столица республики Саха названа еще острогом, и в 40-х гг. XVII в. это, действительно, было крохотное поселение русских казаков, присылаемых каждые два года из Москвы для сбора ясака с местных жителей. Исторические документы свидетельствуют, что отряд обычно состоял из полусотни казаков под командой пятидесятника. Во время такой своеобразной командировки казаки совершали радиальные маршруты, объезжая якутские поселения и принимая условленную плату мехами с местных жителей за то, что «белый царь», как там называли московского государя, взял их под свою высокую «защитительную» руку.

И вот в контексте такой вполне демократической обстановки, таких типично сибирских реалий интересно взглянуть на принесенную из Москвы в Сибирь книгу. Довольно увесистый книжный том наводит на размышления о том, что, положив в дорожный мешок эту книгу, казак, отправляющийся в тяжелый, изнурительный путь на Север на два года в дикие, неосвоенные края, к «немирным людям», отказывает себе в каких-то жизненно необходимых припасах —

⁶ В советские времена даже милицейские криминалисты (спасибо Гарифу Гарифовичу Равилову) пытались помочь нам в прочтении этой записи, используя самое совершенное оборудование, но даже лазерное исследование и фотографирование полустертой записи трехвекового возраста, увы, не дало результата...

хлебе, соли, топоре, пороховом снаряжении. Ведь все нужно нести на себе, человек берет с собой только самое насущное. В числе этого насущного — книга.

Тогда особый интерес вызывает содержание этой драгоценной книги.

Это оказывается Октоих на крюковых нотах. Но у него есть одна особенность: он писан той крюковой нотацией, которая к XVII в. уже вышла из широкого употребления — чтобы читать эти крюки, нужно было быть незаурядно образованным человеком.

Однако у владельца книги обстоятельства складываются так, что уже в Якутске у него возникает нужда продать книгу. Ясно, что «рынок» невелик: полусотня казаков, начальник — пятидесятник, достигший этого положения долгой, тяжелой, но верной службой, да еще батюшка, священник. И вот среди этих людей оказывается и второй человек, который тоже не может жить без этой книги, он готов заплатить за нее какие-то деньги (мы, к сожалению, не знаем, какие — запись сохранилась фрагментарно).

Здесь можно, конечно, рассуждать о прогрессе в распространении грамотности среди демократических сословий Московского царства начала XVII в. (хотя здесь речь идет не просто о грамотности, а о музыкальном образовании), но, как нам представляется, важнее сделать акцент на существовании у людей, осваивающих Сибирь, неукротимой тяги, глубокой и искренней приверженности к книге...

10.

И еще пример, ярко иллюстрирующий, на наш взгляд, отношение сибиряков, осваивающих восточные пространства страны, к книге. В одном из рукописных сборников-конволютов литературного характера (его скорее можно отнести к разряду энциклопедических сборников), найденном в Томской области, обнаруживается прекрасное поучение о пользе книжной. Конечно же, в нем можно разглядеть первоисточник — похвалу книгам из «Повести временных лет», начальной русской летописи, но тот факт, что именно этот переработанный в XVI в. текст находился, читался, переписывался в Сибири, — дорогого стоит. Вот несколько фрагментов этого поучения, из которых значение книги для сибиряков в прошлые времена становится яснее, объемнее.

Прими книгу и прочитай часто знаемое, а неведомаго иди к мудрейшим себе вопрошати.

Солнечную светлость помрачный облак закрывает, а книжные бо премудрости вся тварь не может скрыти.

Требование мудрости — множество разума.

Подобает ти, книги хранителю, почасту книги приизирати и в них разумевая чести и досматривати, да аще коего не ведаешь, и ты воспроси оу вышшаго себе разумом и учением. Та бо мудрость не по старости дается, аще бо ты возрастом стар, но разумом не исполнен; аще бо иныи человек и млад, но учения исполнен.

Да аще коему человеку есть вера велия чего от кого искати, то оубо желание свое исполнит и искоемое обрящет. А по евангельскому слову просящему дается, а толкущему отвержется, а сотворшему милость и суд ему милостив. Горе тому человеку, иже от Бога данный талант хошет в себе скрыти зависти ради — той оубо не Божий, но дияволий наречется, аще бо последи и даст, но первые чести не олучити.

Аще хоцещи обрести от Бога милость, а от людей честь и похвалу, то не для поминков богатаго приносов, поучай их без приносов.

Убогаго учти и свой разум к его разуму приложи, а Бог тебе противу того невидимо отмерит мерою небесною.

А всякий человек не с мудростию, ни з богатством родился, но наг от матери изшед, нага бо и смерть примет. Тогда убо мудрость плотская вся погибнет, но мудрость духовная в нем, да аще что при животе своем сотворил, — благо.

Небольшой текст этого древнерусского поучения, найденный в Сибири, сумел в предельно концентрированном, почти афористическом виде показать самые важные черты, характеризующие отношения человека и книги.

11.

Собственно библиотечно-археографическая деятельность только сбором и хранением книжных памятников в Сибири не ограничивается. И академик Д. С. Лихачев, археограф и ученый-медиевист, сумел прекрасно это понять и дать этому соответствующую оценку.

Характеризуя научное и историко-культурное значение работы сибиряков, Дмитрий Сергеевич писал: «Новосибирская школа археографов — это явление удивительное в наших гуманитарных науках. Здесь объединены филологи и историки, искусствоведы и музыковеды, — объединены “комплексной темой”. Это только называется “комплексная тема”, а по существу — это многосторонние культурные аспекты изучения целого своеобразного континента, огромной страны, раскинувшейся на территории, равной по площади Европе».

Действительно, книга, вбирающая в себя все аспекты культуры, — это всеобъемлющая «комплексная тема».

Как уже упоминалось, научную значимость и культурно-историческую ценность представляют не только отдельные экземпляры уникальных книжных памятников, привозимых археографами из всех уголков Сибири. С начала археографических исследований в Сибири была выработана методика сохранения отдельных книжных памятников внутри территориальных коллекций, которые не только хранят следы их бытования на конкретной территории, но в совокупности своей позволяют воссоздать картину духовной жизни русских людей, осваивавших пространства востока России. Сейчас становится все очевиднее (и книжные находки наглядно свидетельствуют об этом), что с XVI в., когда началось освоение присоединенных восточных территорий русскими людьми, они стали нести с собой в Сибирь книги. Если прежде Сибирь воспринималась как место каторги и ссылки или же как край «великих строек коммунизма», то после введения в научный и культурный обиход обнаруженного сибирскими археографами книжного комплекса Сибирь предстает как край, в котором сохраняется самобытная, средневековая по типу духовная культура, достаточно широко распространенная здесь и по сегодняшний день. Недаром многие видные русские ученые и зарубежные исследователи постоянно работают с материалами фонда, многие из них принимали участие в сибирских археографических экспедициях.

Конечно же, такая огромная работа — огромная и по территории поиска, и по ее объему — была бы немыслима без самого активного участия студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

По сути дела, именно студенты составляли основную «рабочую силу» сибирской археографии. Университетские преподаватели (в первую очередь Елена Ивановна Дергачева-Скоп, зачинатель планомерной археографической работы в Сибири, чьи первые ученики-археографы ныне уже уходят на пенсию, а она продолжает оставаться в строю!), сотрудники Академии наук и библиотекари непременно направляли и координировали археографический поиск, беря на себя всю основную, самую разнообразную и чрезвычайно сложную экспедиционную работу, научную и организационную, но роль молодых людей, с задором отправлявшихся часто нехоженными тропами в отдаленные уголки Сибири в надежде «добыть» старинную книгу, переоценить невозможно. Без них «археографическое открытие Сибири» было бы иным. Поэтому сотрудники ГПНТБ, хранящие древние книги и организующие их использование, вопреки установившейся в России традиции, активно привлекают к образовательному процессу самые драгоценные книжные памятники и охотно выдают их студентам для занятий. Больше того, читаемые студентам гуманитарного факультета НГУ курсы истории древнерусской литературы, палеографии и текстологии сопровождаются самой подробной демонстрацией «живых» древних манускриптов, к которым можно прикоснуться и на всю жизнь сохранить память о приобщении к прошлому... Для многих выпускников гуманитарного факультета творческий процесс изучения и осмысления добытых нелегким трудом материалов продолжается и за пределами университета — в вузах, в научно-исследовательских учреждениях и подразделениях РАН. При этом фонд древнерусских книг широко используется не только для постоянных исследований в рамках высшей школы; он активно применяется в культурно-просветительских целях при устройстве стационарных и выездных выставок, массовых мероприятий, конференций, чтении лекций.

Археографические экспедиции и сложившееся в Новосибирске древнерусское книжное собрание позволили сформировать уникальную научную школу со своим неповторимым лицом и оригинальным исследовательским направлением, сочетающим комплексный исторический, филологический, искусствоведческий и книговедческий подход к изучаемому материалу. Фундамент этого исследовательского направления формируется с университетской скамьи: студенты НГУ участвуют не только в археографическом поиске, но и в камеральной обработке материалов; многие еще в годы учебы начинают заниматься научными изысканиями.

Количество, научная, культурная и историческая значимость археографических находок на востоке России еще в 1972 г. позволили академику Д. С. Лихачеву сказать: «Находки сибирских ученых столь значительны, что теперь принято говорить об “археографическом открытии Сибири”». Опровергнуто представление о том, что в Сибири не может быть древних русских книг и рукописей, поскольку русские пришли туда в XVII в. Выяснилось другое: русские поселенцы ехали в Сибирь со старинными книгами и бережно хранили их».

Это так, потому что и до сих пор, после более чем 50-летней полевой работы, ведущейся Сибирским отделением РАН и его библиотекой, археографы привозят в Новосибирск старинные книги. Значит, «археографическое открытие Сибири» продолжается, и собрание сибирской академической библиотеки пополняется новыми находками. Вместе с древнейшими на территории Сибири славянскими рукописями — пергаменным Друцким Евангелием

XIII—XIV вв., самой древней датированной славянской рукописью на бумаге «Слова Григория Богослова» 1364 г. из Тихомировского собрания, обретенное на территории Сибири богатейшее собрание изданий русского первопечатника Ивана Федорова, в том числе упомянутый уже «Апостол» 1564 г., первое издание славянской Библии, выпущенное им в Остроге в 1580—1581 гг., книги Московского Печатного двора XVI—XVII вв. и сотни рукописных книг, найденных на востоке России, — являются драгоценным национальным культурным достоянием и показывают тот мощный фундамент — книжность, на котором воздвигнуто величественное сооружение славянской культуры в Сибири.

Кроме древнерусских книг, рукописных и старопечатных, за прошедшие полвека в фонд Отдела редких книг и рукописей были включены замечательные книги и целые библиотеки. Это личные библиотеки выдающихся русских ученых; уникальное собрание «летучих изданий», запечатлевших важнейшие события зарождения и развития революционно-освободительного движения в России XVIII—XX вв. из собрания М. С. Лесмана; европейские книги о путешествиях по России XVI—XIX вв., переданные в дар нашему отделу знаменитым ученым-славистом из Оксфорда профессором Джоном Симмонсом; редкостная коллекция плакатов времен Первой мировой войны; брошюры и сатирические журналы эпохи Первой русской революции 1905—1907 гг.; книги, подаренные библиотеке Лидией Дилекторской, вдовой великого французского художника Анри Матисса, приезжавшей в Сибирь навестить родные места; интереснейшая подборка западноевропейских изданий XVI—XIX вв., отражающих развитие мировой науки; отечественные книги гражданской печати XVIII в. — и многие, многие другие замечательные книжные памятники и их коллекции, всего уже около 100 тысяч единиц хранения!

В нашем фонде читателям доступна библиотека Варвары Павловны Адриановой-Перетц (1888—1972) — знаменитого русского филолога. Еще до Октябрьской революции она стала первой женщиной-профессором Санкт-Петербургского университета по историко-филологическому отделению — второй женщиной-профессором после математика Софьи Ковалевской. Наряду с академиком А. С. Орловым она была одним из организаторов и руководителей Отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге; своим учителем ее считал Дмитрий Сергеевич Лихачев, заменивший ее на посту заведующего отделом. Исследования, проведенные В. П. Адриановой-Перетц в области древнерусской литературы, до сего дня считаются вершиной русской классической филологии, на них учатся новые и новые поколения студентов и ученых. После смерти Варвары Павловны значительная часть ее домашней библиотеки поступила в ГПНТБ СО РАН. Экземпляры книг, испещренные ее многочисленными карандашными заметками, не просто книжное собрание — это своего рода лаборатория ученого, позволяющая воочию увидеть творческий процесс открытия нового.

Такова и еще одна библиотека ученого-гуманитария — профессора А. И. Клибанова (1910—1994). Александр Ильич учился в Ленинграде, был ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН в Москве. Он — автор множества научных работ и книг, в частности по истории христианства, общественной мысли и народного свободомыслия в XIV—XX вв., лауреат Государственной премии СССР. Руководил несколькими этнографическими экспедициями. Дважды подвергался репрессиям, долгие годы провел в заклю-

чении и ссылке. Во время Великой Отечественной войны, находясь в ссылке в далеком районном поселке Красноярского края, не только продолжал свои научные изыскания, но нашел возможность вести преподавательскую работу в краевом центре и даже заведовать кафедрой, каждую неделю возвращаясь на место своего поселения для отметки в местной милиции! Широта научных интересов А. И. Клибанова — от Древней Руси до декабристов — нашла отражение в составе его библиотеки, в середине 90-х гг. поступившей по его завещанию в ГПНТБ.

Эти русские интеллигенты, большие ученые, люди широкой души, позаботившиеся о том, чтобы книги их библиотек не оказались выключенными из культурного обихода, очень сильно повлияли на процессы формирования и развития местной духовной культуры, базирующейся на книжных традициях. Эта обращенность в будущее, обращенность к потомкам с помощью книг — своих, авторских, и книг личной рабочей библиотеки — делает этих людей ярким культурным феноменом нашей сибирской действительности.

А сотрудники Отдела редких книг и рукописей главной библиотеки Сибири стремятся находить все новые и новые, соответствующие быстро меняющимся требованиям времени формы работы и с книгой, и с человеком, обращающимся к книге, — с читателем, а также расширить и разнообразить круг замечательных книг, собранных в отделе, — книжных памятников.



Михаил СПИВАК

КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ КОММУНИЗМ

Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка... В коммуне ли? Развал СССР оставил открытым вопрос: было ли возможно светлое будущее — то самое, неминуемое, наступление которого обещала советская власть к 1980 г.? И как случилось, что в конце следования по маршруту с красивым названием «развитой социализм» двести миллионов пассажиров, машинисты и проводники чудесного поезда оказались не на сияющей станции «Коммунизм», а на мрачном полустанке под названием «Лихие 90-е»?

Смутные времена породили множество противоположных теорий.

Я никогда не искал ответа на вопрос, почему коммунизм так и не наступил. Не получилось, не смогли. Да мало ли причин! Но ответ сам нашел меня — словно хотел, чтобы я его озвучил. Случилось это, как ни странно, в Израиле, будто там хранятся ответы на все — даже на еще не заданные — вопросы. Как бы то ни было, полвека назад коммунистические настроения на Святой земле были довольно сильны. И там были созданы самые настоящие коммуны, в которых отсутствовали частная собственность и капитал. Зато имелось коллективное хозяйство, трудовни и общественные столовые. Коммуны эти существуют по сей день и называются киббуцами.

В киббуце вы не увидите урюмых людей в кирзе и телогрейках, нет там раскисших дорог и поваленных заборов. Проблема алкоголизма отсутствует. Не тот климат, другой менталитет. Сходство с колхозом только в марксистко-ленинском подходе к общественному управлению. С разницей в том, что председатель в киббуце — «один из своих», но не назначенец сверху. Все члены общины равны между собой: один человек — один голос. Любой разочаровавшийся волен покинуть пределы коммунистического рая, и за это ему ничего плохого не сделают, — никакого «железного занавеса». Налицо волеизъявление народа, элементы демократии и плюрализма мнений, о которых с трибуны мечтал последний советский генсек.

Казалось бы, идеальные условия для процветания... а хозяйство убыточное. Без государственных дотаций и льгот — нежизнеспособное. Любопытный феномен, требующий более пристального рассмотрения.

Итак, начало 90-х гг. Киббуц на юге Израиля, который владел заводом по производству водопроводных кранов, курятником, коровником и апельсиновой плантацией.

К слову сказать, еще в советские времена, когда в СССР клеймили сионизм как марионетку западного империализма, предприимчивые израильтяне из того



кибуца штамповали коробки с красной звездой и маркировкой одной из арабских стран и экспортировали свою продукцию в страну победившего пролетариата. Туда же отправлялись апельсины с наклейками «Марокко». Об удачной торговле мне с гордостью поведал начальник сбыта. Правда, потом я выяснил, что столь изысканная коммерция — не результат хитроумных еврейских комбинаций: такую форму торговли предложили советские товарищи, у которых чистые руки, горячие сердца и холодные головы. Идеологической борьбой сыт не будешь, а вот апельсины к столу на Новый год — в самый раз. Да и качественные водопроводные краны в хозяйстве пригодятся... Но вернемся к общественному устройству кибуца и организации труда.

Работа там выполнялась по принципу: «от каждого по возможностям и каждому... поровну». Но потребности всегда бегут впереди возможностей. И это замечательно! Ведь если каждому выполнить все его желания, то человек захандрит, как голливудский миллиардер, и начнет пихать в себя алкоголь галлонами и наркотики.

Кибуцники провозгласили коммунизм, и тут же возник весьма щекотливый вопрос: кому руководить, а кому сортиры драить. Каждый хочет стать директором завода, но мало кто прельстится в кибуцном курятнике испражнения убирать. И ящики с апельсинами по жаре таскать — удовольствие не из самых заоблачных. А кто-то всю кибуцную продукцию продает, заключает договора, ездит на презентации. Кто-то должен составлять бизнес-планы и пресс-релизы. И все живут в равных условиях.

Со временем появляются обиженные. Возникает скрытое недовольство. Почему один с мозолями на руках и полной лопатой пахучих коровьих лепешек, а другой в галстук, облит дорогим парфюмом и в запонках, попивает, как классовый враг, шампанское на подписании договоров и чистые ладошки партнеров по бизнесу пожимает? Где социальная справедливость, где обещанное равенство?!

Попытались установить очередность в руководстве — опять беда. Нельзя быть сегодня бухгалтером, завтра дояркой, послезавтра оператором станка с числовым программным управлением. Стали выбирать людей на длительный срок. Долго ли научиться сидеть в директорском кресле и на звонки отвечать: «Я занят!»?

Ежегодная ротация: откомандовал свой срок — марш в курятник! Можно ли теперь кричать: «ура-ура, да здравствует коммунизм»? Нет, нельзя.

Повар, хоть ты его на котлеты покрути, хоть перец им нафаршируй, не способен разобраться с токарным станком. Ни через год, ни через два года. Электрик не может отличить курицу от петуха. Прачку страшно назначать фельдшером. И мало кому захочется жить в доме, построенном бригадой пианистов по проекту скрипача. А сбор апельсинов — работа сезонная. Так что, товарищу плантатору сидеть без дела, пока апельсины зреют?

— Нет, — говорят ответственные товарищи, — пусть он пока в коровнике поработает.

А плантатор справедливо возмущается:

— Да знаете ли вы, что такое пудовые ящики в сорокоградусную жару таскать?! Я за день все, что наотдыхал, отрабатываю!

Скандал и вопли, кибуцники на общем собрании дискутируют. Умные речи об эффективности труда и благе родного колхоза с трибуны льются, но договориться народ не может, потому что личное благо всегда дороже общественного!



Наиболее активные кибуцные пассионарии продавливают постановление по взбунтовавшемуся плантатору. Обязан, говорят, работать в межсезонье. Кто за, товарищи? Голосуем. Почти единогласно — один несознательный плантатор против. Решение принято большинством голосов, внесено в протокол собрания. Но плантатор стоит на своем. Никаких компромиссов, и плевать ему на мнение коллектива. Обиделся. Стул ногой пихнул, дверью хлопнул. Только его и видели.

Что делать? Совершенно верно — заставить негодяя подчиниться большинству, пугая запретом пользоваться машиной. У кибуцников весь транспорт принадлежит коммуне. Каждый член общины записывается, указывает, для каких нужд ему автомобиль, и в порядке очереди получает доступ.

В порядке очереди — обратите внимание — это и есть дефицит в широком смысле слова. Машин на всех не хватает, и свою купить нельзя. Дефицит — обязательный атрибут коммунизма.

Тут мы подходим к главному. Чтобы запретить плантатору пользоваться транспортом коммуны, нужно иметь власть. А власть у народа, частью которого является пресловутый плантатор. Хочешь или не хочешь, по каждому поводу собирай собрание, устраивай голосование. На таких голосованиях плантатор одерживает победу. Вчерашние враги голосуют за него не из любви, а из шкурных интересов: «Сегодня плантатору руки заломали, а завтра кому?»

Председатель давит с одной стороны, но появляется оппозиция. Первые неофициальные группировки вступают в борьбу за право лоббировать свои интересы. Председатель пугает анархией и ставит вопрос ребром: что делать с распясавшимся плантатором? Члены коммуны понимают, что ситуация тупиковая и бунт на корабле надо давить. Подвергают плантатора остракизму. Победители ликуют, плантатор повержен. Вынесено постановление о его занятости в межсезонье на расчистке коровника. Ликование, аплодисменты, даешь коммунизм!

Но не тут-то было! Плантатор делает ход конем — покидает кибуц и селится в городе. Кто хочет занять место предателя? Ну, товарищи, подходим записываемся! Дураков нема, все помнят, как сами стаей накинулись на одного. Победа большинства оборачивается сокрушительным поражением.

Тем временем кибуцные активы тают. Апельсины выращивать некому, да и навоз убирать сам собой не желает. Победителям становится ясно, что пора спасать их рай. Для этого надо работать и что-то приятное посулить новому плантатору. А чем его купить, если в кибуце не практикуется денежный оборот? На одном патриотизме и высокой социальной ответственности далеко не уедешь. Хоть из-под полы черным налогом плати!

Поэтому пытаются нанять волонтеров со стороны. Желающих мало. Израиль — это вам не сытая Европа, битком набитая страдающими от безделья идеалистами. В Израиле никто задарма вкалывать не станет и никакими красивыми словами их не проймешь. Доллары и шекели — вот мерилло признательности, а вовсе не почетная грамота и похлопывания по плечу.

Приезжали в кибуц отдельные молодые романтики из Европы, Австралии, Северной Америки. Ехали за приключениями и свободой. Дискотеки, пиво, танцы. Черноглазый парень из Австралии влюбился в белокурую норвежку. Музыка, поцелуй. Здоровенный датчанин не поделил миниатюрную канадку с

парнем из Челябинска. Откуда белесому викингу знать, что в Челябинске суровые люди?.. Вот и ходил он на следующее утро с синяком под глазом. Знатный фонарь, от души: «Челябинск — Дания, счет 1:0», наши выходят в финал. Смуглой американке приглянулся атлетической комплекции парень из Украины — женатый. Свободная от предрассудков американка, продукт сексуальной революции, не придумала ничего лучше, как спросить его жену: «Какие твой муж любит позы в постели?» Потом обижалась: за что некультурная жена вырвала ей клочок волос? Столкновение культур и темпераментов...

С волонтерами весело, хотя они явно не инструмент спасения коммунистической экономики. Поэтому приходится кибуцу нанимать работников из города. Те работают честно и хорошо. Только им платить нужно, подвозкой обеспечить и питанием. Дополнительная статья расходов легла тяжким бременем на кибуцный бюджет. Поселение обрастает долгами, как дерево мхом. А еще бывший плантатор, мерзавец, приехал в кибуц таким иностранцем. Друга он навещает, по кибуцу разгуливает и до омерзения любезно с членами коммуны, своими бывшими «единоверцами», раскланивается. Как там апельсины, спрашивает, еще не пропали? ГУЛАГа на него нет и статьи за измену малой родине. Как спастись кибуц от долговой ямы?!

Тут появляется гениальная идея... Она генерируется из воздуха, потому что каждый второй в Израиле — великий комбинатор. Хотя эту идею, полагаю, придумали чиновники министерства абсорбции с коллегами из других ведомств: для спасения тонущего коммунизма в отдельно взятом поселении нужна дармовая рабочая сила! Без нее кибуцу хана. И вот оно — благоденствие! В Израиль каждый день в начале 90-х годов массово прибывали новые репатрианты. Возник вопрос: как провести селекцию, выделить из толпы работоспособную молодежь и заманить в кибуц?

Опять умная голова подсказывает: «Объявите через своих представителей, что набирается студенческая подготовительная группа для тех, кто будет продолжать обучение в израильских вузах. Дескать, учиться будете много и чуть-чуть поработаете. А сделаете все наоборот. Маленькая ложь, но за нее никто не спросит. Дайте новопривывшим жилье в вагончиках; преподавателем языка назначьте воспитателя из детского сада, хватит с них этого. Да следите, чтобы не передали. Вредно это для молодого организма. В течение полугода, пока они не осмотрятся, гоняйте их как вам будет угодно, а потом других наберете». Гениально!

Коммунизм в отдельно взятом поселении был построен только через доставку бесплатной рабочей силы. Главный элемент коммунистической экономики, его несущая опора — бесплатный труд. Без этого рычага коммунизм рухнет в течение двух-трех поколений. Если одно поколение идеалистов с фанатичной верой в «светлое будущее» строит коммунизм, то их дети и внуки обязательно устроят драку за наследство и не оставят камня на камне от мечты своих предков.

Паровоз так и не доехал до сверкающей коммуны, потому что нет такой станции — есть миф о ней, как о рае, которого никто и никогда не видел.

Константин ГАПОНЕНКО

ПРАЗДНИК

Из жизни советской школы

1.

Мне в деталях памятен тот предвечерний час 2 сентября 1978 года. День стоял прекрасный, солнышко клонилось к закату, но светило так ярко, что я вынужден был пересест в тень в своем кабинете.

Учебный день закончился, технички ушли, и тишина в школе казалась невероятной. Я никуда не торопился, было о чем подумать: о том, что мне уже 45, что работаю директором небольшой восьмилетней школы — судьба не самая худшая для людей моего поколения, переживших войну, голод, оккупацию, трудные школьные и студенческие годы. Но что-то угнетало мое сознание...

Дела в школе шли не лучшим образом, и это зависело не только и даже не столько от меня, сколько от внешних обстоятельств. В рабочем поселке молодые учительницы трудно приживались по разным причинам, которые я, наверное, плохо исследовал и в которые, быть может, мало вникал. Приехавшие вскоре уезжали — кто устраивать семейную жизнь, кто улучшать материальное положение: зарплата у молодых учителей была более чем скромная. Но это только одна сторона дела, а есть и другая — с каждым годом уменьшалось количество школьников.

В этот поселок я приехал в 1966 г. В списках значилось более трехсот учеников. Это был шумный рой, а через десять лет число учащихся сократилось почти наполовину. Казалось, жизнь улучшается во всех отношениях: идет строительство жилья, растет благосостояние, появляются новые кадры, а детей становилось все меньше и меньше. Я задумывался над тем, почему это происходит. Беседовал с коллегами, обращался в отдел народного образования, где были толковые специалисты, делился с ними этим наблюдением. Они отмахивались от меня, как от назойливой мухи: да бог ты мой, все утрясется. Люди живут все лучше, и рождаемость будет увеличиваться. Но она уменьшалась.

Еще в большей степени меня тяготили неудачи за пределами восьмилетки. Мои ребята-выпускники уходили в среднюю школу, ремесленные и мореходные училища, еще куда-то. И вдруг обнаруживалось, что тот или иной совершал правонарушения, а то и преступления. Это были пробелы в нашей воспитатель-

ной работе. Я пытался найти их истоки. Разумеется, они были в семье, школе, во всем нашем жизнеустройстве. И это меня очень огорчало, хотя, конечно, большинство выпускников продолжали учиться. Они добивались определенных успехов, становились семейными людьми, нормально работали.

Конечно, были у нас и достижения: успехи в шахматах, в лыжной подготовке. Наши ученики неизменно занимали первые места в районе, где были школы и по 800 человек. В областном масштабе наши результаты были скромнее, тем не менее несколько ребят входили в десятку лучших спортсменов Сахалина.

А еще мы внимательно и глубоко изучали военные события, связанные с историей освобождения города Холмска, вели большую переписку с участниками боев, создали музей боевой славы, за что получили грамоту от самого маршала Ивана Степановича Конева. Озеленили школьный двор. Ежегодно откуда только можно было привозили саженцы. Высеивали семена, полученные из Хабаровска и из барнаульского НИИ имени Лисавенко. Это так или иначе обогащало нашу жизнь. Но мне казалось, что этого мало.

Учебно-воспитательный процесс шел по программе, кроме того, были декады математики, физики, русского языка, литературы, Пушкинские вечера. И все же возникало ощущение, что огромный пласт культуры и литературы проходит мимо нас...

Неожиданно стукнула входная дверь. Послышались шаги, одни — будто козочка вошла: цок-цок, другие звучали глуше, тяжелее. В дверь постучали.

— Войдите.

Дверь распахнулась, молодая особа устремила ко мне и подала руку:

— Здравствуйте!

Я встал, любезно раскланялся, пригласил сесть. Она села. Высокий лейтенант стоял в дверях.

— Проходите, пожалуйста! — пригласил я и его.

Молодая женщина глазами указала на место рядом с собой. Он сел, и колени ему достали едва ли не до подбородка. Я улыбнулся и подумал: чем эта женщина околдовала красивого лейтенанта? Миловидное лицо с правильными чертами и редкими конопушками не таило никаких чар, разве что они скрывались в роскошных завитках золотистых волос, ниспадавших на плечи...

— Слушаю вас!

— Я Майя Борисовна Борисова, — сказала гостя. — Хочу работать у вас в школе.

— Очень приятно.

— Это мой муж Саша.

— Вы знаете, вакансий нет, все места заняты. Единственное, что могу предложить, — вести уроки рисования, музыки и пения.

— Согласна.

— Но вы будете получать такую зарплату, что муж выгонит вас из дому.

Глаза ее сверкнули:

— Мой муж меня никогда не выгонит.

Она сказала так грозно, что я опешил:

— Извините, пожалуйста! Тупеешь тут в деревне, в глуши, во мраке заточенья. И глупость иногда выдаешь за остроту.

— Хорошо, извиняю. Так я готова вести уроки.

— Ну, готовы так готовы! С радостью принимаю такой дар. Будете дважды в неделю приезжать и вести занятия.

— Нет, — возразила Майя Борисовна. — Буду приезжать каждый день. И в расписание, пожалуйста, поставьте мои уроки последними, потому что все-таки важнее другие предметы. Их всегда ставят последними, считая, что их можно вообще не проводить. Хотя это глубокое заблуждение.

«Ого! — подумал я. — Вот это уже серьезно!»

А ей сказал:

— Хорошо, делайте как вам угодно. Буду очень рад. Мы, действительно, серовато живем без уроков изобразительного искусства, музыки, пения.

Она встала, подала руку:

— До свидания, завтра утром приеду.

Я подал руку лейтенанту. Он вышел первым. В дверях она вдруг обернулась, подошла ко мне и сказала:

— Мой муж меня зовет знаете как? «Мое солнышко»! — И показала мне кончик языка.

Я растерялся. Домой я пришел через час. Долго крепился, наконец спросил у жены, которая готовила ужин:

— Слушай, мать, а что если я к тебе обращусь вот как-то так вот — «солнышко», или «голубка», или еще как?

Она удивленно вскинула брови:

— Спиртного не употребляешь, так с чего на тебя накатило?

Я рассказал.

— Ой, отец, они молодые. Вот и хорошо, что он называет ее солнышком. А у нас заботы другие — помочь детям завершить образование да готовиться нянчить внуков: дочери в девках не засидятся.

2.

На следующий день я вел уроки в кабинете истории. Во время перемен до меня доносился веселый шум из большого коридора, но я не обращал внимания. Только после третьего урока дверь моего кабинета открылась и техничка Тамара Степановна, поманив меня рукой, показала на коридор. Я вышел. Она широко улыбнулась и пошла впереди.

По большому коридору бегала стайка ребятшек во главе с Майей Борисовной. Они то останавливались, образовав кружок, то кружились змейкой, начиналась какая-то игра. Майя Борисовна и девочка постарше сплели руки, посадили туда малышку и понесли ее, а следом двинулась толпа малышей.

— Королеву несут, королеву несут!

Посадили девочку на стул, окружили тесным кольцом. Учителя начальных классов и предметники стояли в дверях и глазели на это зрелище. Потом вдруг ребяташки спохватились, куда-то побежали толпой, там построились и маршем двинулись в мою сторону. Они так громко топали, так азартно хлопали в ладоши, что я подумал: «Тут полы не выдержат такого шествия, надо открывать спортивный зал».

Раздался звонок на урок. Майя Борисовна подняла руку и сказала:

— Тихонько идем в классы. На цыпочках.

И все пошли на цыпочках.

После уроков она зашла ко мне и сказала:

- Прошу назначить меня старшей пионервожатой.
- У меня в штате нет такой должности.
- А я на общественных началах.
- Конечно, это я приветствую.

На следующий день я издал приказ и зачитал его на утренней линейке. Майя Борисовна попросила копию, заверенную печатью, сложила бумажку и ушла. К моему удивлению, она появилась в школе после третьего урока с новыми горном, барабаном и барабанными палочками и сказала:

— Мне подарили это в горкоме комсомола. Теперь у нас все будет новое. Для пионерской комнаты нужны стулья. Я, конечно, могу попросить в войсковой части табуреты, но ведь школа не казарма, пионерская комната должна быть обставлена соответствующим образом. Вы не возражаете?

Как мне было возражать! Конечно, пришлось похлопотать. Завхоза по штатному расписанию у меня не было, сам я был и швец, и жнец, и на дуде игрец. Просил того, другого, третьего, чтобы выписали необходимые документы и оплатили стулья. На второй день Майя Борисовна организовала уборку: в пионерской комнате все помыли, протерли, постелили новую скатерть. Стали думать об оформлении, о недостающих тумбочках. Все это пришлось приобретать. Между тем уже буквально на третий день на двери пионерской появилась табличка: «Штаб пионерской дружины имени 113-й отдельной Сахалинской стрелковой бригады».

Да, пионерская дружина носила имя соединения, которое освобождало город Холмск и наш поселок. Об этом у нас сохранились документы, мы часто зачитывали их ребятам, проводили экскурсии по местам боев. Вскоре из воинской части в наш штаб привезли оформленную доску. В списке пионерской дружины старшей пионервожатой значилась Майя Борисовна Борисова. Далее шли фамилии членов совета дружины, его председателя, звеньевых и план мероприятий на первую четверть. Я удивился, насколько оперативно и красиво все было сделано.

— А кто же так оформил?

Она посмотрела на меня и ответила:

- Это мы с мужем.
- Я вам очень благодарен.
- Да не за что, это же наше общее дело.

И действительно, все это стало общим делом.

Пришлось открыть спортивный зал. Во время перемен я частенько заходил туда. Стоял в сторонке и наблюдал, как интересно, живо работала с ребятами эта энергичная женщина. Но самое интересное меня ждало впереди. Однажды она спросила:

— Вы ходите ко всем на уроки, а почему не придете ко мне? Завтра урока пения будет четвертым, приходите.

Я пообещал. В самом деле, почему бы не пойти и не послушать? Я прежде изредка бывал на уроках пения, но они вызывали досаду: растянули баян, спели вкривь и вкось. А тут я обнаружил нечто совсем другое.

Перед уроком Майя Борисовна зашла в кабинет и положила передо мной тетрадку с поурочным планом. Думаю, что такой план можно было бы пред-

ставить в качестве дипломной работы (я не шучу). Стал его читать, но прозвонил звонок. Я поспешил в класс, где Майя Борисовна опробовала портативный магнитофон.

— А у нас сегодня гость — директор школы. Будем внимательны все, — сказала она, от чего мне стало как-то неловко.

Из магнитофона полилась музыка, что-то знакомое... Майя Борисовна нажала на клавишу и подняла руку:

— Кто скажет, что это?

— «Вальс цветов», — ответили дети.

Да, кажется, и я это знал.

— А теперь что звучит?

Мелодию знали все — «Танец маленьких лебедей».

— А вот это что?

Масса рук:

— «Полет шмеля».

Черт побери, они знают уже «Полет шмеля»!

— А это?

— «Шествие гномов».

Ах ты боже мой! Я был удивлен: прошло всего несколько дней, а они уже узнают, называют какие-то мелодии. Вроде бы знакомые нам всем, но мы их пропускаем мимо ушей.

— А сейчас мы послушаем произведение великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Оно называется «Второй концерт для фортепиано с оркестром». Участвуют в нем фортепиано и симфонический оркестр. Постарайтесь представить, что мы с вами в лесу или на опушке леса слушаем разные мелодии.

Я закрыл лицо руками. Полилась музыка. Чем больше я вслушивался в нее, тем ярче вспоминалось мое родное село, родная хата, огород, лето... Над кругами цветущих подсолнухов жужжат пчелы, вот шмель садится рядом. А подсолнухи ярко-желтые, лепестки у них такие нежные. Слышно, как звенит засохший нижний лист одного из подсолнухов, как шелестит лист кукурузы. И откуда-то издалека доносится малознакомый звук, какое-то тоненькое гудение, а потом оно сменяется звоном колокольчиков. Я стою среди этих чудес, босой, в коротких штанишках, ощущаю тепло земли, запахи, несущиеся из ближнего сада, шелест листьев деревьев в ответ на легкий ветерок. А сверху плывут перистые облака. Небо ясное, нежно-голубое. И мне кажется, что это самый счастливый момент моей жизни. Я слышу звуки своего довоенного счастливого детства. Они такие нежные, такие тонкие, я не могу понять, откуда они несутся, но это звуки счастья.

Открываю глаза. Майя Борисовна говорит:

— Мы с вами прослушали гениальное произведение. Теперь, когда будете выходить в школьный двор, где шумят деревья, посаженные вами, вспоминайте эту мелодию. А как услышите ее по радио, включите его громче и прослушайте все до конца. Пусть мелодия запомнится вам навсегда.

Я поблагодарил учительницу, пообещал чаще приходиться на ее уроки.

— Ой, буду рада. Конечно, я подобрала очень сложное произведение, но у меня пока нет популярных записей. Они придут в багаже, и тогда будем

слушать концерты, разучивать новые песни, тем более что впереди 7 Ноября. Мы уже начали подготовку к нему, — сказала она с каким-то вызовом.

Дома у меня были грамзаписи. Но, к великому сожалению, я до обидного мало знал о классической музыке. А фрагмент концерта Рахманинова мне будто подсказал, что прекрасные мелодии — часть моей жизни, прожитой давно, но такой счастливой. Сегодня мне о ней напомнили, стало радостно и тепло на душе. Знать, не зря пришла к нам в школу Майя Борисовна. Если я понимаю это, то поймут и дети.

3.

Учительница третьего класса Полина Иосифовна в конце сентября ушла на больничный. О ней следует сказать особо. Работала она в школе лет шесть. Великий Антон Семенович Макаренко признавался, что стал себя считать профессиональным педагогом тогда, когда научился произносить слово «да» с двадцатью оттенками. Полина Иосифовна чаще всего употребляла одну фразу: «Я кому сказала?». Произносилась эта фраза всегда одинаково, и этого было достаточно, чтобы обеспечить в классе должный порядок. На больничный она уходила по причине хозяйственной. Ее муж Петр заведовал гаражом совхоза. Ничего не стоило для него разработать за рекой значительный клин непаханой земли, посадить там картошку и, пока еще было мелководье, организовать ее копку и перевозку в погреб, который, как говорили сельские знатоки, походил на бомбоубежище. А ту картошку они потом продавали оптом либо военным, либо городским организациям. И имели с этого неплохой доход, который, полагаю, составлял значительную часть их семейного бюджета. Но то, как говорится, не наше дело.

Без Полины Иосифовны уборка и посадка картофеля не обходились. Она брала больничный, поскольку ее тучная фигура давала возможность любому медицинскому работнику найти у нее хоть сто болезней. И тут ничего поделать было невозможно.

Когда эта семейная пара шла по дороге, казалось, что это идут персонажи гоголевской повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Супруг походил на Ивана Ивановича, он был едва ли не вдвое выше своей половины. Зато жена была едва ли не втрое шире самого Петра. Выглядело это комично. Наши герои ссорились, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, но жили вместе и растили двух мальчишек. Это были погодки, учившиеся в 6 и 7 классах, тихони, но имевшие такие же плутоватые глазки, как у отца.

Отец их грешил тем, что часто любил заглянуть в рюмку, хотя супруга выдавала ему не больше рубля на день. На рубль никак нельзя было напиться, но он умудрялся, поскольку у него были, по всей видимости, какие-то дополнительные источники доходов. Говорят, частенько он испытывал на себе тяжесть кулака жены.

Так вот, Полина Иосифовна брала больничный, чтобы организовать копку и приемку картошки. Конечно, она не показывалась из дому. Дом их стоял в стороне от дорог, что там происходило, никто не видел, машины туда подъезжали и уезжали. Домработница, нанятая для такого случая, готовила обед для

тех, кто убирал картошку, перевозил ее и загружал в «бомбоубежище». В общем, в школе Полины Иосифовны не было, и я попросил Майю Борисовну временно заменить ее.

— Ой, с удовольствием, — отозвалась она, — ведь я по первому диплому учительница начальных классов.

Только тут я зашел в свой кабинет, достал из ящика стола личный листок по учету кадров и прочитал, что там написано. Чем больше вникал в прочитанное, тем больше ощущал, как краснею. Боже мой, передо мной была карточка незаурядной личности! Эта женщина с отличием окончила педагогическое училище имени К. Д. Ушинского, затем филологический факультет Областного московского педагогического института имени Н. К. Крупской — тоже с отличием. Более того, в краткой биографии учительница написала, что прошла трехмесячные курсы старших пионерских вожатых при ЦК ВЛКСМ и за стажировку в пионерском лагере «Артек» получила высокую оценку.

Я, когда все это прочитал, почувствовал себя смущенным и подумал: школе необыкновенно повезло, пришел человек с незаурядными данными и особой подготовкой. Теперь я стал смотреть на Майю Борисовну другими глазами, потому что остальные педагоги нашей школы (и я в их числе) не имели такой подготовки. Она училась у лучших преподавателей, методистов, практиков. Теперь мне было понятно, почему за этой женщиной всегда бежал целый рой моих школьников. Они стремились к ней в ожидании чуда, и это чудо происходило!

Утром, встречая школьников и приехавшую из войсковой части Майю Борисовну, я заметил, что одета она по-другому, не как всегда. В ее облике появилось что-то неувлимо строгое. Волосы были подобраны, отчего лицо казалось вытянувшимся, платье украшал беленький воротничок и манжеты. Все было на ней как-то ладно. Я увидел, что в новом образе учительница необыкновенно красива, и понял, в чем ее привлекательность. Она умела взглянуть, умела взглядом пристыдить или привлечь внимание. Я смотрел, как она выводит своих третьеклассников на перемену. Они ее окружали, она их строила. Они состязались, бегали, прыгали, водили хоровод. Пели песни, произносили речевки, и все это спокойно и как-то сдержанно. А то вдруг влетали за своей учительницей в спортивный зал и занимались физкультурой. И столько там было беготни, столько задора, энергии!

Я напросился на урок. Мне любопытно было, как выпускница-отличница филологического факультета ведет урок математики. А урок получился превосходный. Дети тянули руки, отвечали на вопросы, придумывали задачи на ходу, чертили, считали, пересчитывали, состязались друг с другом и выставляли оценки. Это была хорошо организованная забава, от которой все умнели буквально на глазах. Сейчас уже не помню подробностей, но я видел сияющие лица детей и сияющее лицо учительницы. Бог ты мой, она была необыкновенно красива. Я понял, почему этот молодой лейтенант был влюблен в нее, почему все ее любят...

Но неожиданно разразилась гроза. Вернувшаяся с «больничного» Полина Иосифовна пришла ко мне и с вызовом раскрыла журнал:

— Это что такое? — спросила она требовательным голосом.

Я посмотрел. Клеточки сплошь были заполнены четверками и пятерками.

— Я вас спрашиваю, что это такое?

— Что вы меня допрашиваете? Учительница замещала ваши уроки, больше замещать некому. Чем вы недовольны?

— Тем, что она завышает оценки, чтобы меня выставить в плохом свете перед детьми.

— Никто не может учителя выставить в дурном свете, кроме него самого.

— Вы что имеете в виду?

— Ничего, только то, что сказал. Если вы что-то оспариваете, то принимайтесь за работу и делайте то, что считаете нужным. А впрочем, в понедельник совещание, там и выскажетесь.

Мы всегда по понедельникам проводили совещания, подводили итоги недели, обсуждали принципиальные вопросы. На этот раз все смазлось. Полина Иосифовна выступила с заявлением, что новая пионервожатая бросила вызов ей, всей школе и всей системе образования. Ни больше ни меньше.

Я попытался спустить все на тормозах, но Полина Иосифовна требовала объяснений.

— Ну, хорошо. Майя Борисовна, дайте пояснения.

Та охотно встала и, улыбаясь, сказала, что ученики у нее отвечали хорошо и она ставила оценки в соответствии с их знаниями.

— Это что же, по-вашему, и Оля Попсова отвечала вам на пятерку?

— А представьте себе, и Оля Попсова отвечала. Она, наверное, впервые в жизни улыбалась и на опорные слова, которые я задала ребятам, придумала сразу два предложения. Это как, по-вашему? Я оценила это высшим баллом. А почему они у вас не отвечают, это уже надо спрашивать не у меня.

— Хорошо, — со злорадством произнесла Полина Иосифовна, — я вам устрою кордебалет.

Лицо Майи Борисовны смешно сморщилось, она засмеялась и сказала:

— Что ж, осчастливьте Большой театр. Ваше имя станет известно миру. Кордебалет — это вышколенные артисты, которые участвуют в массовых групповых танцах. Кордебалету, как правило, аплодируют громче всех. Вам будут аплодировать Милан, Париж, Лондон.

— Ну ты! — вскипела Полина Иосифовна.

Майя Борисовна перестала смеяться.

— Вы так ко мне не обращайтесь, не нукайте — не запрягли, не зауздали. Еще не родился тот человек, который бы смог меня зауздать.

— Я найду на тебя управу.

— А вы не тычьте.

Я стукнул ладонью по столу.

— Прекратите!

Спор на этом не закончился. Я знал, что Полина Иосифовна способна была накатать, как было принято говорить в наших кругах, «телегу» и дать ход бумаге через горком, обком, через все инстанции, опорочить, оклеветать кого угодно. Она была мастерица в этом, о чем знали все в поселке, потому что иногда она от имени мужа такие «телеги» накатывала на директора совхоза. Доставалось иногда и нам. Приезжали с проверками, причем дотошными, нудными и противными.

Словом, завязалась бы великая война, если бы не счастливый случай. Полина Иосифовна получила вдруг с материка телеграмму о том, что идет тяжба за дом ее мамы. Племянница завладела наследством и присвоила дом вместе с огородом и садом на окраине большого города. Полина Иосифовна немедленно собралась и, оставив мужа и детей, помчалась туда, предупредив, что берет краткосрочный отпуск.

Я сказал так:

— Либо вы увольняетесь, либо я никакого отпуска не даю.

Она уехала и прислала телеграмму, что увольняется. Вскоре муж и дети Полины Иосифовны, продав имущество, уехали следом. Гроза миновала.

Временно уроки вела Майя Борисовна, но она предупредила: если есть возможность прислать учительницу, пусть присылают, потому что обязанности пионервожатой требуют ее постоянного внимания.

Вскоре новая молодая учительница умело повела третьеклассников.

4.

Ура, мы едем на картошку! Кто не помнит эту замечательную пору, когда вдруг отменяются уроки и мы, школьники, мчимся на поле, чтобы там и поработать, и поозоровать, и подышать свежим воздухом! А теперь в осеннюю страду мы везем на картошку своих учеников. Наше дело, во-первых, выполнить план, а во-вторых — не допустить никакого чрезвычайного происшествия.

Директор совхоза всегда встречал нас с распростертыми объятьями, однако ни разу не выполнил нашу просьбу — выделить картофельное поле поближе к поселку. Мы могли бы приходить туда в удобное время, взяв с собой на часок-полтора еще и четвертый класс. Но директор совхоза тянул до последнего, и тогда следовало распоряжение горкома партии: выезжать на поля и срочно выполнять работы.

По утрам были заморозки, поэтому в ожидании потепления мы проводили один урок, затем загружались в два автобуса и ехали километров за двенадцать. Рядки уже были подкопаны, и мы принимались за дело. Восьмиклассники, как самые старшие, старались прежде сделать свою норму, чтобы была видна их работа, а потом уже помогать пятому и шестому классам.

Работали очень хорошо. Тем, кто отставал, помогали классные руководители, старшая пионервожатая. Я был с пятиклассниками, когда услышал крик и поспешил туда. Надо сказать, что, несмотря на строгие предупреждения, на поле всегда находился озорник, который кидал в кого-нибудь картошку и делал вид, что это не он. На этот раз картофелина попала в девочку, а та в ответ тоже метнула клубень, быть может и не по адресу, и угодила в семиклассника Диму Подошвина. Тот подлетел к ней и ударил по лицу. Майя Борисовна незамедлительно отвесила оплеуху Подошвину. Тот схватился за щеку, бросил ведро и ушел к реке.

— Майя Борисовна, вы, по-моему, переборщили, — заметил я. — Он обязательно пожалуется родителям, и те потребуют объяснений.

— Хорошо, пусть приходят, я объясню. Но я вас уверяю, он будет молчать и запомнит, что девочек бить нельзя.

Собрав урожай, мы до прихода автобусов всегда успевали испечь в золе большого костра два ведра картошки и подкрепиться. Мы рассаживались куч-

ками и делились друг с другом яйцом или куском сала, хлебом или пирожком. Майя Борисовна, как всегда, выложила на широкое полотенце свои припасы — помидоры, малосольные огурцы. Подошвин сидел на ведре, картошку не брал, ничего не ел. Я тихонько сказал Майе Борисовне:

— Позовите его.

— Он не пойдет. Пусть мучается.

Утром вожатая сообщила мне:

— После первого урока собираем актив в седьмом классе. Обязательно приходите.

Я пришел пораньше. Мы вкратце подвели итоги работы, а затем Майя Борисовна встала перед классом и сказала:

— Я вчера применила непедагогичный метод воздействия. Не сдержалась, потому что при мне били девочку, а это недопустимо. Дима Подошвин, я приношу тебе свои извинения.

Для всех это было удивительно. Но сказанное восприняли без ухмылок, с пониманием.

— А теперь я предоставляю слово Диме Подошвину, — продолжила Майя Борисовна. — Пожалуйста, выходи.

По тому, как он выходил, можно было представить, как осужденные на казнь идут к эшафоту. Он шел медленно, глядя куда-то в пространство, чтобы никого не видеть. Походка выдавала, что он и пренебрегает вызовом, и в то же время стыдится проступка. Повернувшись лицом к классу, но глядя в окно, он произнес:

— Лена, извини меня.

Для меня было очевидным, что Дима Подошвин влюблен в Майю Борисовну той мальчишеской, неосознанной любовью, которую и сам не замечал. Он устремлялся на переменах туда, где находилась она, старался быть у нее на виду, чтобы выполнить любое ее распоряжение или просьбу. Конечно, Майя Борисовна понимала его состояние. Она сказала:

— Думаю, ты примешь мои извинения, а Лена — твои.

Вожатая обратилась и ко мне:

— Прошу вас считать конфликт исчерпанным.

Я напомнил ребятам, что мы — единый коллектив маленькой школы, что мы односельчане и должны жить дружно и помогать друг другу, а доходить до оскорблений с рукоприкладством недопустимо.

И, надо сказать, конфликтов у нас больше не случалось. Тем и закончился сентябрь. А в начале октября мы всегда проводили Неделю леса. В этот раз в погожий субботний день к нам пришел лесничий, с которым мы поддерживали самые дружеские отношения, а с ним — рабочий. Они делали «болтушку» — разводили водой глину, и в эту густую смесь ребята макали перед посадкой корни деревьев.

Из войсковой части на грузовике нам привезли целую охапку рябиновых саженцев высотой чуть больше метра. Майя Борисовна, сержант и ребята копали лунки, сажали рябинки, утаптывали грунт... Надо сказать, почти все наши деревья приживались, ученики следили за ними. Если саженец засыхал, на его место высаживали новый.

5.

Как-то Майя Борисовна собрала большой актив в пионерской комнате, пригласив классных руководителей, меня и завуча. Председатель совета дружины доложила: в шестом классе у многих двойки по разным предметам. Надо, чтобы сильные ученики взяли шефство над слабыми. Майя Борисовна же попросила нас, педагогов, позаниматься с неуспевающими. Коллективно решили: в течение недели учителя не будут выставлять оценки, дадут ученикам возможность подтянуться. Мы дружно взяли на буксир шестой класс и до парада вытащили его «за уши».

Подготовка к 7 Ноября шла полным ходом. Прежде всего, каждому классу сшили пилотки. Началась отработка строевого шага. Маршировали в одиночку, классами, звеньями, причем с небывалым азартом. Это стало каким-то повальным увлечением. Вот иду я по коридору, а навстречу чеканит шаг юнармеец из пятого класса. Поравнявшись, прикладывает руку к пилотке:

— Разрешите обратиться?

— Пожалуйста, обращайтесь!

— Так я уже обратился, разрешите отойти.

— Нет, подожди, голубчик, у тебя локоток ниже, а должен быть вровень с плечом. Вот смотри.

И показываю, как это должно быть, а он выдает:

— К пустой голове руку не прикладывают.

Уел, пострел! В самом деле, у директора какая голова — конечно, пустая: не прикрыта головным убором.

В школе прибавилось военных. Отрабатывают с учениками шаг, показывают повороты. Все это идет под музыку. Почувствовав усталость ребят, Майя Борисовна переключала магнитофон и объявляла: «Танцуют все!» И все пускались в пляс, пока не раздавалась команда: «Дружина, в две шеренги становись!»

И снова маршировка, репетиция выноса знамени. Впереди идут горнист и барабанщик, за ними чеканят шаг знаменосец с двумя ассистентами. Те, кто в строю, поворачивают головы вслед за знаменем. Тренируются ребята изо дня в день, разучивают песни для марша и торжественного построения.

И вот наступает праздник. Мы проводим всего три урока и встречаем гостей: родителей, представителей совхоза, сельского совета. Почти всю стену спортзала украшает лозунг: «Да здравствует 61-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!» Негромко звучит музыка. Самое почетное место отводится ветеранам войны.

Гости рассаживаются, а кто помоложе — остаются стоять, чтобы лучше видеть происходящее. Приехали военные, пришел капитан, который будет принимать парад. Здесь же с автоматами специальная команда лейтенанта Борисова — она произведет салют, когда станем возлагать венки к памятнику.

Наконец звучит горн, в зал первыми входят старшеклассники, командир отряда докладывает Борисову:

— Товарищ лейтенант, комсомольский отряд на торжественный парад, посвященный 61-й годовщине Великого Октября, прибыл.

— Занимайте свое место, — распоряжается лейтенант.

Для всех отрядов расчерчены места, есть схема движения, исключаящая путаницу. Все отработано и приготовлено лучшим образом. Так входит и ра-

портует каждый отряд, включая первоклассников. Школа построена, лейтенант дает команду:

— Дружина, равняйся! Смирно!

Чеканя шаг, он подходит к старшему по званию:

— Товарищ капитан! Дружина имени 113-й отдельной Сахалинской стрелковой бригады на торжественный парад построена. Лейтенант Борисов.

— Здравствуйте, товарищи юнармейцы! — произносит капитан.

В ответ задорно, голосисто, четко гремит:

— Здравия желаем, товарищ капитан!

— За отличную подготовку к строевому смотру и параду объявляю вам благодарность.

Раздается громогласное, радующее душу:

— Служим Советскому Союзу!

Майя Борисовна предоставляет слово председателю совета дружины. Та кратко сообщает о полезных делах пионеров за четверть. И вот уже звучит новая команда:

— К вносу знамени стоять смирно! Знамя пионерской дружины внести!

Все встают. Военные отдают честь. Знаменосцы проходят и становятся во главе колонны. Майя Борисовна перед строем взмахивает рукой — и на весь зал раздается песня «Орлята учатся летать».

Что может быть отраднее школьного хора — сотня светлых лиц и чистых голосов! Самой природой предопределено ребенку песней выразить свою радость, свой мечтательный порыв. Песня поднимает его ввысь, откуда видны манящие дали.

Майя Борисовна вся сияла, и я подумал: «Верно муж назвал ее солнышком».

Поднялся участник Сталинградской битвы, похвалил:

— Ребята, вы прекрасно исполнили песню. А мы до войны пели песню «Орленок». Нас воодушевлял голос певца Александра Окаемова. Он первым исполнил эту песню по всесоюзному радио, и ее подхватила вся страна. Когда началась Великая Отечественная война, Окаемов попал в плен, где пел в русском хоре. Исполняя ту или иную песню, он подавал знак партизанам о готовящихся облавах и карательных операциях врагов. Но предатель донес на певца фашистам. Александра с товарищем вывели на казнь, поставили лицом к яме. Но Окаемов повернулся к палачам и во весь голос запел «Орленка». Его прошила автоматная очередь. А вы можете спеть эту песню?

— Конечно, можем, — отозвалась Майя Борисовна.

Она взмахнула рукой, и высокий голос запел:

*Орленок, орленок, взлети выше солнца
и степи с высот огляди.
Навеки умолкли веселье хлопцы,
в живых я остался один.*

Я оценил режиссуру Майи Борисовны. Она все предусмотрела, подготовила обращение фронтовика, после которого ребята с воодушевлением исполнили для ветеранов и всех нас эту замечательную песню. Участник Сталинградской битвы

украдкой вытирал слезы. Признаться, я тогда впервые услышал трагическую историю певца Окамова, и мне хотелось, чтобы она пронзила сердца всех слушателей — и гостей, и ребят. Глядя на зал, я ощущал, что это не игра, не забава, это, может быть, самая важная часть нашей жизни.

Едва умолкли голоса, как лейтенант Борисов распорядился:

— Дружина, равняйся, смирно! Нале-е-ево!

Пристукнули каблуки.

— Торжественным маршем поотрядно шагом марш!

И вот уже первоклассники важно вышагивают первыми, остальные маршируют на месте и через интервал подключаются к движению. Во главе каждой колонны — военнослужащий, отличник боевой и политической подготовки. Майя Борисовна поясняет гостям:

— Наши малыши всего лишь два месяца обучаются в школе, но посмотрите, как славно маршируют!

Конечно, кто-то из малышей путает шаг, но это еще больше умиляет зрителей, и они хлопают. Демонстрируют выучку юнармейцы пионерского отряда имени Виктора Лазутина, погибшего в боях за Холмский перевал. Замыкает шествие комсомольский отряд. Им аплодируют особенно громко. Все выходят в коридор, одеваются и идут возлагать цветы к памятнику. Группа военнослужащих производит салют, военные отдают честь. Мы произносим слова благодарности солдатам, павшим в боях за Родину.

Потом все возвращаются в школу, и тут нарушается всякая субординация. Капитана подхватывают под белые руки и ведут в класс, где на столах чай, пирог, пирожки. Там распоряжаются члены родительского комитета и профкома совхоза, хозяйки. В другом классе такая же картина, только ребята постарше приглашают всех гостей, в первую очередь солдат, на чаепитие.

Пирожки съели быстро, военные спешили в часть. Когда мы вышли к машине проводить шефов, техничка Тамара Семеновна сказала:

— Я сегодня почувствовала себя счастливым человеком. Какой прекрасный праздник вы устроили для нас!

Майя Борисовна ответила:

— По-моему, мы сегодня все были счастливыми людьми.

Мне подумалось о том, что этот праздник останется в памяти ребят. Возможно, они забудут какие-то правила, уроки, события школьной жизни, но не этот парад.

6.

Чудесная сказка скоро закончилась. Не прошло и недели второй четверти, как Майя Борисовна позвонила мне домой.

— Приготовьте мою трудовую книжку. Завтра утром зайду, мужа переводят, мы уезжаем.

В школу я прихожу рано. Просьбу выполнил и вписал в трудовую книжку благодарность за прекрасное проведение праздника.

Майя Борисовна зашла ко мне в кабинет в дорожной одежде. На ней была шубка чуть ниже колен, белая шапочка толстой вязки с кистью, светло-коричневый свитер. Брюки такого же цвета, только темнее, были заправлены в сапож-

ки. Эти сапожки на кожаной подошве стучали так же, как и ее каблучки в день нашей первой встречи. Майя Борисовна оставила две тетради.

— Это сценарий новогоднего утренника для малышей. А это сценарий вечера для старшеклассников. Вот ключ от пионерской комнаты. Там все в порядке. Вы посмотрите, а я попрощаюсь с ребятами.

— Может, линейку выстроим? — спросил я.

— Нет, не надо, долгие провода — лишние слезы.

Она улыбнулась, хотела было пойти, но вернулась в кабинет и прикрыла дверь.

— Я уезжаю с большим сожалением. У вас здесь так хорошо! Все мне пришлось по душе. Дети чуткие, отзывчивые...

— Но, помимо чутких и отзывчивых, есть и Подошвин.

— А, мы с ним давно помирились. За одного битого двух небитых дают. У меня здесь все получалось, тут широкий простор для работы. Но мужа переводят, надо уезжать.

Она вышла из кабинета, я оставил дверь открытой, и было видно, как она обходила классы. И детвора выбегала из каждого, останавливалась в дверях и смотрела ей вслед. Всем не верилось, что она сейчас уедет навсегда.

Майя Борисовна вновь зашла ко мне.

— Вот и все, прощайте!

Она подала руку, крепко сжала мою, как и в первую нашу встречу.

— Не поминайте лихом, — тихо проговорила она и опустила глаза.

Мне стало жаль и ее, и себя, и всех нас.

Я спохватился:

— Я вас провожу.

— Ну что ж, проводите.

Она шла медленно, заглянула в учительскую, попрощалась с коллегами, сказала доброе слово техничке. За мной на улицу вышли Тамара Семеновна и несколько мальчишек. Майя Борисовна поднялась на подножку вездехода, обернулась, махнула нам рукой и закрыла дверь. Машина тронулась.

Мы вернулись в здание. Тамара Семеновна с тяжелым вздохом произнесла: «Да!» В этом вздохе отразились десятки оттенков, пробудивших во мне бурю.

Обязанности побуждали меня быть бодрым, жизнерадостным. День прошел как всегда, а затем и новогодние праздники. Тамару Семеновну мы нарядили Дедом Морозом. По сценарию или не по сценарию прошло, это было уже не важно. Ребята весело попрыгали, получили подарки и разошлись по домам. А там пошли новые заботы.

Наши лыжники, как всегда, заняли первое место в районе. Стали готовиться к областным соревнованиям и там выступили неплохо. Шахматисты тоже не подвели. Когда закончился учебный год, мы ударно поработали на полях совхоза, и нас премировали поездкой в Ванино на пароме, тогда это было новинкой. Жизнь шла своим чередом: приходили новые школьники, уходили выпускники. Но каждый раз, обходя школьный двор, я останавливался у деревьев, что посадила Майя Борисовна. Они поднялись, стали плодоносить, зимой на красные грозди рябин слетались птицы.

А потом я ушел из школы, уехал из поселка. Поначалу приезжал туда на 9 Мая, чтобы вместе с односельчанами разделить праздник Победы.

С той поры минули десятилетия и многое угасло в моей памяти, я состарился, но прожитое не отпускает, тербит душу и радостями, и горестями. И когда перебираю в памяти прошлое, то всего лишь двухмесячное пребывание необыкновенной молодой женщины в нашей школе вспоминается мне как большой праздник. Словно яркая комета пролетела через мою жизнь, осветила что-то незнаемое, всколыхнула массу глубоких чувств.

Когда на меня наваливается душевная тяжесть, я включаю диск со Вторым концертом для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. И передо мной встает родное село, довоенное детство, речка Расстовица. Ее светлые струи шуршат лозняком, тихо звенят на перекатах. Но вот оркестр меняет тему, и мы с женой уже ведем своих детей по пестрой луговине. Небо над нами такое же, какое было над моим селом. Только здесь оно упирается в зубчатые горы, окружающие долину со всех сторон. Поэтому тут тепло и тихо, видно, как колышется зыбкое марево. Дети рвут ромашку и клевер, плетут венки, украшают ими свои головки. Несколько венков мы готовим в дар реке Лютоге: спускаемся к воде, дети опускают венки. То ли волны, то ли мелодия покачивает эти венки, и они плывут вдаль до самого моря.

После небольшой паузы я оказываюсь в комнате с внуками на руках. Мы слушаем вечернюю сказку. Внучата прильнули ко мне и молчат. К нам подходит Майя Борисовна, прижимает палец к губам, как будто хочет сказать: сейчас прозвучит что-то самое важное. И в самом деле, гремит далекий гром, затем резким порывом ветра уносит черную тучу, и во всем величии предстает вечерний закат. Все затихает. Звучит грустная мелодия. Жаль расставаться с уходящим днем. Напев становится тише, нежнее, печальнее. Я ощущаю, как по щекам катятся слезы. Звуки замирают, в окошке сверкают звезды.

Мир вам, дети! Завтра красно солнышко разбудит вас теплыми лучами, и новый день засияет ярче ушедшего.



Татьяна ГРУНЭ

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ

О романе Р. Сенчина «Зона затопления»

Последние годы крепко стало подводить здоровье, и уже привычные деревенские дела вдруг превратились в неподъемные: бьешь тяпкой по земле, а отдается в сердце, побежала коз выгнать с огорода — упала, задохнувшись, ограда повалилась — нет сил подпереть даже колом. Огромный родительский дом (рассчитывала в нем жить с дочерью и внучкой) нет сил обихаживать.

Дочь же твердит одно: продавай и переезжай в город.

Нашлись покупатели: молодые парни на джипах в коротких черных кашемировых пальто уже по-хозяйски осматривали участок, предполагая, где будут стоять коттеджи. Мне же предстояло перебраться в крошечную городскую квартирку, скорее всего в студию.

Горюя, вспомнила, как не хотелось уезжать из города после учебы в институте, как завидовала оставшимся подругам, не познавшим тяжелый крестьянский труд, в который, живя в селе, поневоле втягиваешься.

Но ведь тогда это был совершенно другой город. Это по тому городу я скучаю до сих пор, по тем улицам хочу пройтись, в тех кинотеатрах посмотреть те, советские, фильмы, посидеть в тех уютных кафешках. А сейчас, приезжая в город встряхнуться, развеяться, получаю обратный результат: город, воспринимая меня как инородное тело, кажется, выталкивает... А я и не задерживаюсь: приезжая домой, опять себя чувствую под защитой, едва ступлю на деревенскую улицу.

Так я размышляла, прощаясь с домом, в который переехала после смерти родителей и отремонтировала, с огородом, в который столько вложила сил, с баней, где заменила пол и печку... Да мало ли вложено любимым сельским человеком в свой дом, в свое подворье?..

Поэтому роман Романа Сенчина «Зона затопления» для меня не просто книга. А герои его, которым предстоит расстаться со своей деревней и уехать на жительство в город, близки мне и по ситуации, и по возрасту, и по переживаниям. Хотя у них ситуация оказалась трагичней: я смогла бы, даже уехав, когда-нибудь повидать родные места, а они — нет. И это трагедия не отдельного человека, а пяти тысяч. И полусотни деревень.

Подумаешь, трагедия! Повезло людям. Наконец-то смогут жить по-человечески, скажет какой-нибудь горожанин. Да и не один. Большинство так думает. Сколько себя помню, считалось большой удачей устроиться в городе. Но



тогда-то, в советские времена, деревенская молодежь устраивалась на фабрики, заводы, а те брали их под свое крыло: заботились о быте, здоровье, жилье...

А сейчас... Героиня романа Ольга — журналист краевой газеты — ежедневно узнает из редакционной почты о бедах горожан-современников: «Людей выселяли из их квартир за долги ЖКХ в общежития, обманывали при покупке и продаже жилья, увольняли с работы по прихоти начальства; родители не могли устроить детей в детсады; проваливались тротуары, взрывался газ, горели дома, обваливались стены, лопались трубы...»

Но при этом она, выросшая в большом городе, всегда удивлялась, «что люди могут, а главное, хотят жить в глухих деревнях... Человечество стремится к оптимизации, экономии, а вот эти деревушки с сотней-другой упорных жителей тормозят прогресс. Ведь они не просто живут отдельно от большого мира, но и требуют, чтобы им привозили в магазин городские товары, был у них врач, школа, детский сад, рабочие места, которые, по сути-то, государству не нужны».

Как в городе градообразующие предприятия заботились о своих рабочих, так и в деревне — колхозы, совхозы. Богатое сельхозпредприятие, хороший у него руководитель — народ тоже живет хорошо. Но с тех пор, как они развалились или стали маломощными ООО, жители деревень, примостившихся на узкой полоске между рекой и тайгой, стали выживать самостоятельно.

Людям оставалось надеяться только на себя, что в городе просто невозможно. Там человек зависит от поставщиков света и тепла, работы транспорта и коммунальных служб, начальства на работе. Он, как Гулливер, опутан тысячами нитей нерешаемых проблем, никому не нужен и незащищен.

Весь же жизненный уклад деревенского жителя строится так, что не он главный, а природа, и он к ней приноравливается. И чем ближе к природе, чем глуше место проживания, тем больше свободы. Это понимали наши предки. Это желание воли и заставляло их заселять самые глухие места. Например, село, в котором я живу, основали жители города Тары, которые не захотели присягать после смерти Петра I его жене (а тех, кто не успел или побоялся убежать, заживо сожгли).

Неудивительно, что и основатели села Пылево, о котором речь в романе, не побоялись глухой тайги, обосновавшись три века назад на берегу Енисея... Да оставить в неприкосновенности надо было и Пылево, и все тогда же основанные деревни — только за то, что они свидетельство и силы духа, и смекалки, и недюжинной физической силы русского человека. Чтобы гордились ими потомки, восхищались, как безымянный автор школьного сочинения, заставивший пылевских мужиков «глотать слезы»: «Когда-то первые засельники метр за метром отвоевывали землю у суровой тайги, чтобы вырастить хлеб. Поля вокруг были небольшие, словно заплатки. Защищенные от ветров тайгой, они давали хорошие урожаи».

Как же глубоки корни у пылевского крестьянина! Память о предках всегда рядом: на погосте рядом с селом похоронены. Живет он в доме, срубленном когда-то прадедом. Суровая природа закалила его характер, сделав способным выдерживать все сюрпризы, посылаемые природой в виде то заморозков, то засухи, то града. И сельский человек не ропщет, а приспосабливается, научившись выращивать в этом северном крае и помидоры, и перцы, и арбузы.

Вот скажите, обладает хотя бы десятой долей перечисленных умений горожанин? Жизнь таких горожан, как, например, Чащин из другого романа Р. Сенчина «Лед под ногами», — тусклая, бесцветная, неинтересная. На рабо-

те сидит за компьютером, набирая чужие тексты, дома лежит на диване перед телевизором. Ни с кем не знаком, ни с кем не общается. Ест безвкусные полуфабрикаты.

А у сельского человека жизнь наполнена нужными делами. В ней столько запахов, ощущений, эмоций. А еще справедливости. Поработал — вот тебе награда. «Потрудиться сейчас, в последние перед снегом, перед морозами дни, и зима пройдет хорошо, спокойно. Будут шипеть в печах соком березовые поляны, будет вариться мясо выращенных летом свиной, телят, куриц; из подполья будут поднимать на тарелках соленые помидоры, огурчики, грибы, капусту, арбузы, черемшу... Застучат, как камушки, сыпаемые из мешка в железную чашку налепленные в ноябрьские вечера пельмени и вареники... Достанет хозяйка из духовки противни со сдобами, калачами, шанежками с картошкой, творогом, брусникой, укроет чистым полотенцем. Нажарит пирогов, пермячей, расстегаев, икряников...»

В самих названиях — поэзия, как и в отдыхе, которым можно наслаждаться, только если хорошо поработаешь. «Ох, как хорошо, накормив животину, покидав снег во дворе, войти в избу... сесть за стол... а потом долго неспешно есть».

Вот неоспоримое достоинство деревенской жизни: человек ест то, что выращено своими руками или собрано в тайге, — говоря современным языком, экологически чистый продукт. И дети деревенские с детства приучены не только к хорошей пище, но и к тому, что с неба она не свалится, что прежде нужно хорошо поработать.

Ольга, городской человек, жалеет деревенских детей: «Сколько ущербных детей растет в глухомани без музеев, театров, спортивных школ; сколько гибнет талантов, сколько истлевает идей, сил, стремлений, запертых в медвежьих углах страны». Мне, выросшей в деревне, тоже казалось, что обделена судьбой, пока не прочитала воспоминания о детстве москвича, моего ровесника. Как же обескуражили эти воспоминания, в которых не было ни кружков, ни музеев, ни Красной площади, а самыми яркими впечатлениями были мешочек творога, купленный матерью на рынке, и воскресное купание в ванне у родственников, к которым надо было ехать через всю Москву. И это детство советского ребенка, которому доступны были и музеи, и кружки. Сейчас же все эти преимущества города стоят огромных денег. Родители выбиваются из сил, но стараются так занять ребенка этими кружками, чтобы у него не оставалось времени на какие-то дурные компании, которыми кишмя кишит город. Несмотря на все старания, ребенок в городе, открыв дверь квартиры, уже в опасности: его окружают чужие люди! А в деревне все свои, все знакомые. И двор — часть твоего дома, и улица. Да и вообще, полезней помахать лопатой, чем гириями в спортзале (хотя и в деревне при каждой школе есть и спортивные секции, и кружки по интересам). Главное-то — в воспитании характера. А он как раз хорошо выковывается вот в таких «медвежьих углах». Работая в школе, я удивлялась стойкости, выносливости, умению держать удар судьбы коллег, приехавших к нам из северной зоны района. Вроде бы один район — а люди другие. Школы, в которых они работали, позакрывались, деревни разъехались, но с какой любовью они их вспоминали!..

Да и я теперь ни на какие городские блага не променяю свое деревенское детство. В семь лет я могла одна бродить по примыкавшему к селу апрельскому лесочку, смотреть на облака, отражающиеся в лужах, и дышать, дышать идуцими из земли ароматами весеннего пробуждения!

Деревенский человек — философ. Привычная физическая работа не мешает ему размышлять. Вот Ирина Викторовна, одна из пожилых обитательниц Пылева, за хозяйственными делами размышляет про ненадежность такой красивой эмалированной посуды: «Клюешь на ее красоту, чистоту, а потом горюешь». И возникает ассоциация с такой красивой, комфортной, на первый взгляд, городской жизнью «со всеми удобствами». А на деле-то получается, что хоть и неказиста деревенская жизнь, а прочнее, как та алюминиевая кастрюля, что живет у нее в обиходе уже сорок лет. Даже оставшись одна (дети разъехались, мужа умерли), Ирина Викторовна продолжает жить размеренной, наполненной делами жизнью, не прося, не клянча, а, наоборот, отдавая, обихаживая дом, животных, землю.

И Наталья Сергеевна «лето проковырялась на огороде, до заморозков успела все, кроме капусты, убрать, просушить, засахарить и засолить». А когда поняла, что умирает, «стало обидно, что капусту не успела убрать».

Деревенский житель живет в своем автономном мире. За забором его усадьбы — целый деревенский мир, уклад, отшлифованный тысячами, а потому в нем нет ничего случайного и лишнего. Он может жить автономно в этом мире, где каждая постройка имеет свою функцию, каждый участок земли облагорожен. Тем, что у него есть, он волен распоряжаться по-своему. Сельский человек не верит в удачу, зная, что только трудом может добиться достатка. Он понимает, что глупо завидовать соседу, а если тот что-то хорошо сделал, надо у него просто поучиться, взять с него пример: «Если... наличники у Гусиных покрывались свежей краской или скашивалась крапива вдоль чьего-то забора, — это сразу бросалось в глаза, и потом мысли долго возвращались к этой мелочи: “Надо своему сказать, чтоб подбил ограду... крапиву срезать... надо краску достать да тоже покрасить — облупилась...”»

Настоящее богатство — стабильность. Крестьянин твердо стоит на ногах, потому что знает: завтра курица снесет яичко (вот почему сказочные дед с бабой предпочли простое яйцо золотому), корова даст молока, а в огороде он накопает свежей картошки!

Сибирское село тоже строилось аналогично подворью — автономно. «Большакову двести с лишним лет... живут своим миром, не мотаясь за каждой мелочью в Колпинск, наоборот, кажется, сторонясь его... Избы в селе были в основном высокие, просторные, каждая усадьба, как крепость, обнесена глухим забором, защищена стенами-срубами. Все — и бани, и сараи, и амбары — крепкое, надежное. Достаточно мелких ремонтов, подновлений, и такая усадьба-крепость может простоять вечно».

Вот так. Не менять, а подновлять жизнь деревни. В романе рассказывается о генеральном плане такого обновления сел — а села-то уже были обречены на затопление. Так вот, там предусматривалось, на мой взгляд, поверхностное обновление: парки, коттеджи, фонтаны. Сразу видно, что занимались этим планом городские люди. Это, может, и хорошо, но для села не насущно. В таких отдаленных селах две основные проблемы: нехватка рабочих мест и товаров потребления. И то и другое в связи с удаленностью. Я помню, как решались эти проблемы в моем селе, тоже достаточно отдаленном. В селе был маслозавод, построенный еще до революции, куда мы носили молоко, а получали взамен масло. На мельнице мололи зерно. На кирпичном заводе делали для местных нужд свой кирпич. Хлеб покупали в местной пекарне. Колбасу — в колбасном

цеха при столовой. В деревнях и селах, о которых речь в романе, можно было построить свои рыбозаводы, консервные заводы для переработки даров тайги, пимокатни, мебельные цеха, пилорамы, комбикормовые заводы. (Конечно, не огромные заводы — заводики величиной с избу.) Все, в чем нуждается сельский человек, должно быть в шаговой доступности. И почему только горожане могут рассчитывать на сервис? Сельский житель в нем нуждается не меньше: распилить и расколоть дрова, почистить снег — все это сейчас могут делать умные механизмы. Каждому сельчанину купить их не под силу, а вот сельское ЖКХ вполне может приобрести. Ни одно из этих небольших предприятий не нарушит баланса природы, не угробит ни реку, ни тайгу...

Своего рода пересадкой души стало переселение крестьян в городские квартиры, когда хозяева вдруг стали квартирантами. Эти тесные квартирки, в которые они попали, символизируют западные ценности общества потребления, где во главу угла ставится комфорт. Прежние представления не вписывались в эти тесные конурки, и их пришлось нести на свалку, как привезенный деревенский скарб. Ясно, что жители затопленных деревень растерялись: ведь теперь они не хозяева своей земли, вообще не хозяева своей жизни.

«Советское при всех его минусах и плюсах — было естественным продолжением русского, а вот постсоветское пришло откуда-то из другого пространства, это явление иной, небывалой еще природы», — сказал Дмитрий Быков. Вот почему все эти постсоветские годы создается впечатление, что вдруг вымерла настоящая серьезная литература. Премии получают писатели — упрощенцы, натуралисты, примитивисты.

Немного грешил натурализмом в начале творческого пути и автор «Зоны затопления». Но за эти годы прошел огромный путь от бытописателя («Минус», «Афинские ночи») до народного заступника, защитника «униженных и обиженных», продолжив традицию таких писателей, как Валентин Распутин.

Сейчас уже, через четверть века с начала проекта «демократизации», всем стало понятно: надо возвращаться, подобно блудному сыну, домой. Надо думать о том, как сохранить самое большое наше богатство — эти села, где еще жив русский национальный характер, русский национальный уклад. Не надо искать национальную идею — ее надо изучать. Эти внешне неказистые люди — крестьяне, спасшиеся сами на островках своих деревень от губительного потока проводившихся реформ, могут спасти весь народ.

Роман «Зона затопления» можно назвать оптимистической трагедией. Ведь только потеряв свои деревни, прежние их жители смогли по-настоящему оценить то, что потеряли, стали интересоваться историей своей малой родины, гордиться этой историей. Верю, что наша страна скинет навязанные ей постулаты общества потребления и станет обществом сбережения: истории страны, ее природы, традиций, искусства. Ведь забори у народа все перечисленное — и станет он населением...

Осенью я отказалась продавать дом, а зимой приехала в гости внучка. Ей тут нравилось все: и прогулки по заснеженной улице, и беготня наперегонки с собакой, и катание с горок во дворе. Однажды вечером перед сном она мне сказала: «Давай мы с тобой будем жить тут всегда».

Тамара ДРАНИЦА

ЗАМЕТКИ ОБ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ РЕАЛИЗМЕ АЛЕКСАНДРА МОСКВИТИНА

Александр Морисович Москвитин родился в 1954 г. в Улан-Удэ. С 1970 по 1974 г. учился в Иркутском училище искусств на декоративном отделении. С 1974 по 1975 г. работал в Иркутских творческо-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. С 2000-х гг. живет и работает в Москве. Член Союза художников СССР с 1987 г. Участник многих областных, региональных и всероссийских выставок.

В современном кризисном пространстве культуры существуют две автономные территории искусства: одна из них оккупирована уже выходящими из моды художниками-актуалистами, фиксирующими химеры и гримасы текущего момента, на другой — мирно обитает элитная прослойка современных реалистов, выстраивающих фундамент новой гуманистической актуальности искусства. Существовая в обществе потребления с его неустойчивой моралью и нестабильными теоретическими категориями постклассической эстетики, реалисты не скрывают своих корневых, мировоззренческих ориентиров, зафиксированных в опережающих духовные и социальные явления времени «несвоевременных мыслях» философов старой школы. Новый экзистенциальный реализм Александра Москвитина сосредоточен на осмыслении пограничья тварного, физического мира и мира духовно-энергетических сущностей жизни. Пути преодоления рубежей между очевидным и ирреальным художник находит в напряженных размышлениях о двух духовно-философских началах:

эсхатологическом (Николай Бердяев) и спасительно-софийном (Владимир Соловьев), выбирая путь синтезирующего единорства между разрушительной динамикой бытия и созидющим космическим импульсом жизни. В символических «реализмах» А. Москвитина нет ясных, понятно и исчерпывающе сформулированных ответов на сакральные вопросы, которые задает себе художник: в парадоксальном переплетении явлений и событий А. Москвитин усматривает трудно разрешимую проблему единства противоположных духовно-физических начал жизни, содержание которой, по умозаключению Нильса Бора, важнее устаревающего со временем решения.

Жизнь Александра Москвитина сосредоточена между двумя географическими точками — Москвой и Иркутском, культурная атмосфера и художественные традиции которых во многом предопределили стилевое своеобразие его искусства. Гораздо шире почти безграничное сюжетно-тематическое евразийское пространство художника, по своим временным параметрам не совпадающее зачастую с

привычным профанным течением времени. Ностальгирующий по прошлому, А. Москвитин невозмутимо-бесстрастно шествует по «дикому полю» поставангарда в направлении неизвестного будущего, в которое вписана информация о прошлом. Ранние, неоклассические по исполнению, идилии «аборигенского» цикла и существующие вне времени, отрешенные в своей бессобытийной, непроявленной рефлексии городские сюжеты и портретные композиции 1980-х годов стали своеобразным предисловием к иной, зрелой творческой проблематике, содержание которой зашифровано в названии иркутского вернисажа художника — «Предвечные смыслы». Две стихии — природная и человеческая — ранее не ведающие разлада, в современном формате духовно-мистического и профессионального опыта художника вступили в напряженный метафизический диалог, ищущий ускользающие смыслы жизнестроительства. Мифологемы, «историзмы» и философы художника пронизаны драматическим осознанием, что «нет больше того общества, которое некогда было учреждено богами» (Джозеф Кэмпбелл) и что от былых архаических гармоний остались только «острова» неокультуренных, диких ландшафтов, таящих в себе смутные воспоминания об «утраченном времени».

В пространстве «предвечных смыслов» смыслообразующее значение имеет «космологический» цикл произведений, созданный на основе характерного для художника метода созерцания сырого природного материала с последующей реконструкцией впечатлений и ассоциаций. Выстроенные из неких первичных блоков материи, величественные в своей наготе скалы или заросшие диким лесом гористые ландшафты, сквозь тенета которых угадывается первобытный геологический каркас, выступают хранителями памяти: всеобщей («Вечность», «По тверди небесной», «Памяти цивилизаций») и персонифицированной, обращенной к пред-

кам художника и рано ушедшим из жизни друзьям («Остров памяти»). Водопады, камни, деревья, байкальские марины, соединяющие стихии воды, земли и неба, существуют в свободном одиночестве, недоступном для утратившего свое природное естество человека («Монахиня»), но открытому таким же одиноким провидцам, отшельникам и странникам («Старец»). Конфликт человека и природы, которая «выше кошмарных законов цивилизации и общества» (Николай Бердяев), принимает форму необратимого процесса отчуждения в историческом портрете «Страсти по Чингисхану» и в батальной сцене «Битва золотых воинов». Антропоцентризм этих композиций имеет странные, экстатические барочные формы, созданные из неизвестного, скудно окрашенного и агрессивного материала. Изобразительное пространство этих «воинствующих» сюжетов, утративших свойственную «пантеизмам» академически равновесную структуру, изливается на плоскость холста лавиной безостановочного, хаотичного движения почти натуралистически трактованных тел и фигур. Сходные барочно-агрессивные трактовки произведений имеют между тем неодинаковые контексты. Если агонизирующая, «внеэстетичная» телесность «Золотых воинов» фиксирует некую фатальную конечность, то неистовый пафос портрета барона Унгерна в «Страстях по Чингисхану» символизирует отчаянный бунт против энтропии, жажду духовного освобождения и одновременно заключает в себе реальную, историческую правду образа: «Такой тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. В этой смуте он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны и со спадом ее также неизбежно должен был исчезнуть...»*

Сбивчивые стилевые ритмы Александра Москвитина — своего рода при-

* Врангель П. Н. Записки. Ноябрь 1916 г. — ноябрь 1920 г. В 2-х тт. — Т. 1. — Минск, 2003. — С. 11.

емы «человека играющего», маскирующие серьезность творческих намерений художника и провоцирующие обратную реакцию зрителей. Подобно отсутствующим в искусстве А. Москвитина понятиям «сегодня» и «потом», его художественная речь не эволюционирует, образуя сложно-сочиненную замкнутую систему, в недрах которой старая стилистика может самым неожиданным образом актуализироваться в новом художественном пространстве. Так, например, иконописные элементы обратной перспективы в портретной композиции «Настя и Варвара», призванные «сакрализировать» портретную ситуацию, проявились позднее в стилистике иконостаса Михайло-Харлампиевской церкви.

Непрогнозируемые для внешнего наблюдателя художественные метаморфозы А. Москвитина: межвидовые и межжанровые аббревиатуры, плоскостно-декоративные и рельефные трактовки, перепады цветовых температур от теплых натуральных до холодных и «редкоземельных», реалистическая стилистика и закрытые поля бессознательных абстракций — свидетельствуют о поиске (возможно, неосознанном) выходов из ограниченного рамой

изобразительного пространства в иное, реальное измерение жизни. Результатом неумной творческой любознательности художника, игнорирующего подчас законы «нормативной лексики» искусства, стали эскиз монументальной композиции, посвященной морякам-первопроходцам Сибири, декоративные и портретные керамические рельефы и «исчезающие» образы: раставший ледяной «Троянский конь» и ледяные арт-объекты на Байкале (проект «Табун ветров»). Обозреваемые художником множественные миры и фрагменты жизни испытывают взаимное притяжение и напоминают экзистенциальный «поток падающих звезд, который, не зная, откуда и куда направляется, проходит сквозь существование» (Карл Ясперс). Осколки и фрагменты этой множественности существуют в пределах единой, не умопостигаемой высшей субстанции, управляющей чередой авангардных разрывов с настоящим и возвращений в прошлое, подобно каждой новой волне, которая всегда возвращается на старый берег и снова откатывается в свою первородную стихию, в которой затерялся еще один не написанный художником «остров памяти».



АВТОРЫ НОМЕРА

Алексеев Владимир Николаевич родился в 1943 г. в Москве. Окончил филологический факультет Уральского государственного университета. Один из организаторов Отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, его руководитель с 1967 по 2010 г. Кандидат филологических наук, доцент кафедры древних литератур и литературного источниковедения гуманитарного факультета НГУ. Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Новосибирске.

Гапоненко Константин Ерофеевич родился в 1933 г. в селе Трушки Киевской области. Летом 1951 г. приехал на Сахалин, где окончил среднюю школу, затем педагогический институт. Работал учителем, завучем, директором школы. Краевед. Автор нескольких очерковых книг. Лауреат премии Сахалинского фонда культуры и премии губернатора Сахалинской области. Живет в Южно-Сахалинске.

Грунэ Татьяна Михайловна родилась в селе Иткуль Новосибирской области. Окончила Новосибирский педагогический институт. Работала учителем русского языка и литературы, директором школы. Живет в селе Скала Кольванского района Новосибирской области.

Домрачева Инна родилась в 1977 г. в Свердловске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Публиковалась в журналах «Урал», «Волга», «День и ночь», «Сибирские огни» и др. Живет в Екатеринбурге.

Драница Тамара Григорьевна родилась в 1948 г. в Улан-Удэ. В 1979 г. окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР. Искусствовед, старший научный сотрудник Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева. Живет в Иркутске.

Козлов Юрий Вильямович родился в 1953 г. в Великих Луках. Окончил Московский полиграфический институт. Прозаик, лауреат ряда литературных премий. Произведения переведены на многие иностранные языки. Главный редактор журнала «Роман-газета». Живет в Москве.

Куртмазова Ирина Александровна родилась в 1982 г. в Актюбинске. Окончила Оренбургский государственный университет, специальность — графический дизайн. Работает по профессии. Занимается поэтическими переводами. Публиковалась в «Литературной газете», журналах «Пролог», «Вайнах», в коллективных сборниках. Автор двух поэтических книг. Живет в Новосибирске.

Павловская Анна Славомировна родилась в 1977 г. в Минске. Окончила Институт журналистики и литературного творчества. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия» и др., в ряде антологий, в том числе «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)», «Русская поэзия. XXI век», «Лучшие стихи 2013 года». Автор книг «Павел и Анна» (2002), «Торна Соррьенто» (2008). Лауреат ряда литературных премий. Живет в Домодедове.

Тарковский Михаил Александрович родился в 1958 г. в Москве. Окончил Московский педагогический институт. Работал полевым зоологом, охотником-промысловиком. Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник» и др. Лауреат литературных премий «Ясная Поляна» (2010), им. А. Дельвига (2015), им. В. Шукшина (2016) и др. Живет в поселке Бахта Красноярского края.

Сапрыкина Серафима Олеговна родилась в 1988 г. в Волгограде. Окончила философское отделение Кубанского государственного университета, магистратуру СПбГУ по специальности «религиозная философия». Публиковалась в журналах «Знамя», «Зинзивер», «Сибирские огни», «Кольцо А», «Наш современник» и др. Лауреат премии журнала «Зинзивер». Живет в Санкт-Петербурге.

Спивак Михаил родился в 1973 г. в Кемерове. Писатель, сценарист, член Союза журналистов России. Заместитель главного редактора литературного журнала «Новый Свет». Публиковался в журналах «Крещатик», «Огни Кузбасса», «45-я параллель» и др. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Канаде.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 18.12.2017 г. Дата выхода № 1 за 2018 г. в свет 26.01.2018 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.